

КИРИЛЛ ПИГАРЕВ

**ЖИЗНЬ  
РЫЛЕЕВА**

*Советский писатель*

1942

КИРИЛЛ ПИГАРЕВ • ЖИЗНЬ РЫЛЕЕВА



*Кондратий Федорович  
Рылов*

КИРИЛЛ ПИГАРЕВ

**ЖИЗНЬ  
РЫЛЕЕВА**



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА 1947

Редактор С. Г о л у б о в  
Художник И. Н и к о л а е в ц е в  
Техн. редактор С. С и м о н о в

А01914. Сдано в набор 30|IX-1946 г. Подписано к печати 14|I-1947 г.  
Печ. л. 16. Авт. л. 14,93 Уч. изд. л. 15,12 Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
Зак. 276. Тираж 30 000. Цена 9 р. 25 к. в хром-взаде 10 руб.

Типография изд-ва „Московский рабочий“. Москва, Петровка, 17.



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

У подполковника Федора Андреевича Рылеева от брака с Анастасией Матвеевной Эссен было несколько детей, но все они умирали в младенчестве. 18 сентября 1795 года супруга Рылеева снова разрешилась от бремени. Родился сын. По старинному русскому поверью, если дети в семье «не живут», то следует пригласить в восприемники к новорожденному ребенку первого встречного; это, дескать, приносит счастье.

При появлении на свет нового члена семьи Рылеевых кто-то из домашних припомнил это поверье. Мальчик родился в поместье отца, селе Батове, Петербургской губернии, Софийского уезда. Когда ребенка понесли в церковь крестить, то первыми встречными на пути оказались отставной солдат и нищая. Их пригласили в кумовья. Маленький Рылеев в честь своего крестного отца был назван Кондратием. Старому солдату дали на водку, и крестник никогда больше не видал его. Кондраша «выжил»...<sup>1</sup>

Мать Рылеева была тихой, мягкосердечной женщиной. О побочной дочери своего мужа Аннушке она заботилась так же, как и о собственном ребенке. «Радуюсь душевно, что ты, милая моя другиня, здорова, — писал ей однажды муж. — Молю всевышнего спасителя, да продлит дни твои и здравие, не для меня единого, но и для бедной Аннушки. Ты великодушно ее усыновила... она и я за нее несказанно тебе обязаны. И, ежели по благости божией, суждено ей при жизни нашей быть пристроенной, то я теряюсь даже, воображая, какие небесные награды от создателя уготованы будут тебе»<sup>2</sup>.

Федор Андреевич Рылеев был человек нрава крутого и вспыльчивого. Ожидая для жены своей небесных наград за ее добродетели, сам он зачастую давал волю рукам. Иногда, расшумевшись сверх меры, он запирали свою безответную «другиню» Настасью Матвеевну в погреб. Кондраша со страхом и недоумением взирал на подобные вспышки отцовского самовластия. Жестоким деспотом был Федор Андреевич для своих крестьян и дворовых. Доставалось от него и сыну. В объятиях матери укрывался мальчик от розог, расточаемых родителем ни за что, ни про что — за шалости, вполне невинные и извинительные в любом ребенке. Он плакал, уткнувшись головой в материнские колени, и — кто знает — не в этих ли детских слезах от боли и обиды впервые закипало в нем еще не осознанное чувство ненависти к человеческой несправедливости и произволу?

Безрадостные воспоминания сохранил Кондратий Рылеев о своем детстве. Не более радужными красками были расцвечены в его памяти и годы отрочества.

На шестом году отроду его отвезли в Петербург и определили в первый кадетский корпус. Зачисленный туда 12 января 1801 года «волонтером», Рылеев вскоре был переименован в «кадеты малолетнего отделения».

Училище это, известное ранее под названием «Сухопутный Шляхетный кадетский корпус», помещалось на набережной Невы, напротив существовавшего тогда Исаакиевского моста. Обширное здание корпуса примыкало к дому, некогда принадлежавшему князю А. Д. Меншикову, любимцу и соратнику Петра I. Основанный в 1732 году для подготовки молодых людей дворянского звания к военной и гражданской службе, Сухопутный Шляхетный кадетский корпус имел за собой славное прошлое. В его стенах воспитывался знаменитый Румянцов. С подмостков корпусного театра впервые раздались громозвучные монологи сумароковских героев. Здесь образовалось первое в России литературное содружество — Общество Любителей Российской Словесности. Сюда молодой Суворов, еще не вписавший своего имени в летопись русской военной славы, приносил на суд Сумарокову и Хераскову юношеские литературные опыты. На закате лучших дней корпуса его генерал-директором был Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, сам читавший кадетам курс тактики. По мысли одного из директоров корпуса, любим-

ца кадетов графа Ангальта, корпусный сад был обнесен «говорящей стеной» — каменной оградой, испещренной разного рода назидательными надписями. Русские пословицы чередовались в них с латинскими и итальянскими, афоризмы прославленных моралистов — с изречениями знаменитых полководцев и правителей, сведения о планетах — с данными о происхождении чая и шоколада. Содержание надписей походя усваивалось воспитанниками во время рекреаций или прогулок. А для того, чтобы правила и сведения, внушаемые «говорящей стеной», не выветривались из памяти кадетов, каждому оканчивающему корпус вручалась карманная книжка «La muraille parlante» («Говорящая стена»). Перелистывая ее страницы, бывший кадет как бы вновь прогуливался вдоль знаменитой ограды.<sup>3</sup>

Все это, однако, к моменту, когда за Рылеевым на тринадцать лет затворились двери корпуса, отошло уже в область предания. Год вступления Рылеева в кадетский корпус был годом коренных перемен в самом духе этого учебного заведения. В 1801 году директором корпуса был назначен генерал-майор Клингер, немец на русской службе. Это был известный немецкий поэт эпохи «бури и натиска» («Sturm und Drang»), литературный соратник молодого Гёте, — Фридрих-Максимилиан Клингер, по-русски «Федор Иванович». Около двадцати лет возглавлял он высшее военное учебное заведение Петербурга. Период его управления кадеты окрестили названием «террора». Педагог-теоретик, сентиментальный и в то же время бессердечный, Клингер заслужил у кадетов прозвище «белого медведя». Для каждого из них было сущим наказанием являться к нему с рапортом. Сам он редко показывался в классах и проводил большую часть дня за письменным столом. Произведения своего пера он печатал только за границей. Полный презрения к «непросвещенной» России, Клингер всегда сообщал в министерство полиции о выходе своего нового сочинения, с тем чтобы полицейские органы могли во-время воспрепятствовать распространению его трудов в русской публике. Слабостью Клингера были собаки. Он часами забавлялся с ними, заставляя их скакать через палку. Лучшим педагогическим средством для вверенных его попечению кадетов Клингер считал розгу. За малейший проступок виновный подвергался телесному воздействию. Тридцать —

пятьдесят ударов были в глазах Клингера нормальным наказанием; при более же важных провинностях он назначал утроенную порцию, то есть до ста пятидесяти. Каждое утро в корпусе производились экзекуции, и длинные его коридоры оглашались воплями истязуемых.<sup>4</sup>

Живой и шаловливый Рылеев частенько подвергался подобному «внушению». Но он не плакал под розгами, а стойчески, стиснув зубы, выдерживал положенное ему число ударов, дерзко окидывая своих палачей вызывающим взглядом сверкающих темных глаз. Так шло воспитание его характера. Случалось, что он брал на себя вину товарищей и был непременно участником их проказ.<sup>5</sup>

Воспоминание об отвратительной розгомании Клингера было не единственным, которое Рылеев вынес из корпуса. Среди корпусной администрации встречались личности, резко противоположные жестокому немцу. Таковы были два старых холостяка, всецело отдавшие себя своим воспитанникам и пользовавшиеся их неограниченной любовью. Первым из них был инспектор классов, представительный и молодцеватый Михаил Степанович Перский, участник итальянской кампании Суворова. Если о появлении Клингера в классе говорили как о настоящем «событии», то Перский почти буквально жил в классе. За свою двадцатипятилетнюю службу в кадетском корпусе — сначала инспектором классов, затем батальонным командиром и наконец директором — он почти не покидал корпусного здания. Он был носителем былых хороших традиций Сухопутного Шляхетного корпуса. Другим любимцем кадетов был эконом — бригадир Андрей Петрович Бобров. Низенький ростом, толстяк, в вечно засаленном мундире (до себя времени не было!), ходивший в сопровождении своего колченогого пса, «старый Бобёр» был нежно привязан к детям и старался только о том, чтобы «мошенники были сыты, одеты и чисты». Все свое жалованье он обращал на «приданое» неимущим выпускникам. Это приданое состояло из трех перемен белья, двух столовых и четырех чайных серебряных ложек. «Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя, чем дать щей хлебнуть, а к чаю могут зайти двое и трое — так вот чтобы было чем...», — приговаривал он, вручая такому выпускнику заботливо упакованное приданое.

Несколько поколений кадетов прошло через руки Перского и Боброва. Рассказы о них долго жили в стенах



корпуса. Один из рассказов о Боброве связывался с именем Рылеева.

Дело было в 1813 году. Умер старший повар кадетского корпуса Кулаков. Эконом очень был огорчен этой потерей. Покойник унес с собою на Смоленское кладбище одному ему известный секрет приготовления картофельного пюре, при котором оно сползало с ложки «меланхолически», как масло. Изменился также и «приятный вкус» у гороха. А главное, Кулаков был безусловно честный человек, и это ценил в нем больше всего сам безусловно честный Бобров.

Через несколько дней после похорон Кулакова Бобров явился с обычным рапортом к директору. В руках он держал свою помятую треуголку, за кокарду которой имел обыкновение закладывать вчетверо сложенный лист бумаги с рапортом. Директор развернул бумагу и с удивлением прочитал вместо рапорта о состоянии корпусной экономики:

#### КУЛАКНАДА

#### Поэма

#### ПЕСНЬ I

Шуми, греми, незвучна лира  
Еще неопытна певца,  
Да возглашу в пределы мира  
Кончину пирогов творца..

Незловивый Бобров был на сей раз до слез обижен этой проделкой своих «мошенников». Оказалось, что кадеты ухитрились вытащить из-за кокарды треуголки изготовленный им рапорт и заменили его переписанной на такой же бумаге ироикомиической поэмой в честь «героя кухни» Кулакова. Поэма состояла из двух песен и кончалась восхвалением самого Боброва:

А ты, о мудрый, знаменитый  
Царь кухни, мрачных погребов,  
Топленным жиром весь облитый,  
Единственный герой Бобров,  
Не озлобися на поэта,  
Тебя который воспевал,  
Но знай — у каждого кадета  
Навек я тем бессмертен стал.  
Прочтя сии строки, потомки  
Вспомнят, мудрый, о тебе,  
Дела твои вспомнят громки —  
Вспомнят также и о мне.

Автор поэмы не замедлил сам открыться Боброву: это был Рылеев. Старик дулся и всхлипывал, недоумевая, за что его так «осрамил разбойник», но напоследок простил обидчика, произнеся при этом «назидательную речь, что литература — вещь дрянная и что занятия ею никого не приводят к счастью». <sup>6</sup>

Однако «дрянная вещь», повидимому, сильно увлекала Рылеева. «Я... весьма великий охотник до книг», — писал он однажды к отцу, прося «любезного батюшку» прислать ему денег на книги. <sup>7</sup>

В деньгах Рылеев терпел острую нужду. Ему не на что было сделать подарок кадету Буркову, помогавшему ему по геометрии; не на что было нанять себе учителя фехтования. «Дражайший родитель» по три года не подавал сыну ни малейшего признака жизни. Письма к отцу оставались без ответа. Наконец и сын перестал писать к нему и не писал более года. Но нужда заставила его нарушить данный им самому себе обет молчания. Приближалось время выпуска из корпуса.

«Та минута, которую достичь жаждал я, не менее как и райской обители священного Эдема, но которую ум мой, уstraшенный философами, желал бы отдалить еще на время, быстро приближается. Эта минута — есть переход мой в волнуемый страстями мир. Шаг бесспорно важный, но верно не столь опасный, каким представили его моему воображению мудрецы, беспрестанно вопиющие против разврата, обуревающего мир сей», — это не цитата из книги, а выдержка из письма Рылеева к отцу от 7 декабря 1812 года. Рылеев и сам чувствовал книжность своих рассуждений: «Так, любезный родитель, — продолжает он, — я знаю свет только по одним книгам, и он представляется уму моему страшным чудовищем, но сердце видит в нем тысячи питательных для себя надежд. Там рассудку моему представляется бедность во всей ее наготе, во всей ее обширности и горестном ее состоянии; но сердце показывает эту же самую бедность в *златых цепях вольности и дружбы*, и она кажется мне не в бедной хижине и не на соломенном одре, но в позлащенных чертогах, возлежащею на мягких пуховиках, в неге и удовольствии. Там, в свете, ум мой видит ряд непрерывных бедствий — и ужасается. Несчастья занимают первое место, за ними следуют обманы, грабительства, вероломства, разврат и так далее. Уstraшенное мое воображение

и рассудок мой с трепетом гласят мне: «Заблужденный молодой человек! разве ты не видишь, чего желаешь с таким безмерием? Ты стремишься в свет — но посмотри, там гибель ожидает тебя. Посмотри, там бездны изрыты на каждом шагу твоём, берегись низринуться в них. — Безрассудный! в свете каждая минута твоя будет отравляема горьким страхом, и ты не насладишься жизнью. Хотя бы ты проходил свет оцупью, но не избежешь несчастья — скрытые сети вовлекут тебя в оные, и ты погибнешь». Так говорит мне ум, но сердце, вечно с ним соперничающее, учит меня противному: «Иди смело, презирай все несчастья, все бедствия, и если оные постигнут тебя, то переноси их с истинною твердостью, и ты будешь героем, получишь мученический венец и вознесёшься превыше человеков». Тут я восклицаю: «Быть героем, вознестись превыше человечества! Какие сладостные мечты! О, я повинуюсь сердцу!» Разберем теперь, кому истинно должно повиноваться, уму или сердцу...

«Дражайший родитель», зевая, читал это прострадное излияние сердца, борющегося с рассудком, и видел в умствованиях сына лишь плод внушения со стороны. Все это — мысли, понахватанные у других да понатасканные из книг. Отец не понимал, что юноша, сложившийся в стенах закрытого учебного заведения и действительно знавший свет «только по одним книгам», не мог выражаться иначе, так как мыслил *книжно*. Да иначе он не мог и мыслить. Его письмо соткано из общих мест сентиментально-романтической литературы и все же оно — биографический документ. Разве насквозь книжные лицейские стихи Пушкина не являются тем не менее материалом для его биографии? И разве при чтении риторических рассуждений пажа Боратынского о сладостях морской службы не становится ясным для нас, что он не только писал такими заученными фразами, но что он и мечтал примерно такими же образами. Заглядывая вперед, нельзя не заметить, что в письме юноши Рылеева к отцу сказалась одна черта, почти всегда определявшая впоследствии его поступки: это — неизменное предпочтение сердца рассудку. То, что в данном случае подсказывалось традициями сентиментализма, стало со временем отличительной чертой его характера.

Далее, в выражениях менее выпренных, Рылеев уведомлял отца, что по случаю войны в корпусе было три

выпуска и предстоят еще новые, что он по возрасту, и «некоторому успеху в науках» может рассчитывать на чин офицера артиллерии. Этот лестный чин доставит ему «счастье приобщиться к числу защитников своего отечества». В банально-верноподданнических словах пишет он отцу о своем желании возблагодарить «монарха кроткого, любезного, чадолюбивого» за попечения о нем во время его пребывания в корпусе. Чем может он возблагодарить его, «как не мужеством и храбростию на поле славы»? Можно думать, что до него очередь дойдет в первых числах мая. Так, начав издаലെка, Рылеев, наконец, доходит до главной цели своего письма: до денег на обмундирование. «Вам небезызвестно, что ужасная ныне дороговизна на все вообще вещи, почему нужны и деньги сообразные нынешним обстоятельствам. Два мундира, сюртук, трое панталон, жилетки три, рейтузы, хорошенькая шинель, шарф, серебряный кивер с серебряными кишкетами, шпага или сабля, шляпа или шишак, конфедератка, тулуп и прочее требуют по крайней мере тысячи полторы». Старик поморщился и продолжал читать: «...да с собою взять рублей до пятисот, а не то придется ехать ни с чем. Надеюсь, что виновник бытия моего не заставит долго дожидаться ответа и пришлет нужные мне деньги к маю месяцу; также прошу вас прислать мне при первом письме рублей 50, дабы нанять мне учителя биться на саблях»<sup>8</sup>. Полторы тысячи, да пятьсот рублей, да еще пятьдесят! Итого две тысячи пятьдесят рублей. Виновник бытия с досадою бросил письмо — и не отвечал на него.

Рылеев тщетно ждал письма от отца. Оно не приходило... А деньги были нужны дозарезу. Пришлось повторить просьбу. Никакого ответа... Пришлось написать отцу в третий раз. И вот, наконец, получен ответ.

Можно поверить Рылееву, что он не мог «без пролития слез» перечитывать отцовское послание. «Сколь утешительно читать от сердца написанное, — поучал старик Рылеев своего «любезного Кондрашу», — буде то сердце во всей наготе неповинности откровенно и просто изливается, говоря собственными его, а не чужими либо выученными словами! Сколь же, напротив того, человек делает сам себя почти отвратительным, когда говорит о сердце и обнаруживает притом, что оно наполнено чужими умозаключениями, натянутыми и несвязанными выражениями, и что всего гнуснее, то для того и повторяет

о сердечных чувствованиях часто, что сердце его занято одними деньгами... Надобны ли они, ему действительно или можно и без них обойтись?»

По мнению родителя, оканчивая курс, сын должен был бы подумать не о дорогом стоящем обмундировании, а о том, чтобы броситься в объятия отца, который и «благословит» его «по возможности». А он, отец, предпочитает видеть его в простом казенном мундире, а не в щегольском собственном. Да к тому же «благодетельная казна» жалуется также и на проезд, — не к родителям даже, а к дальним родственникам. Почему же «милому Кондраше» не воспользоваться «толикими щедротами?»

Нравоучение, преподанное ему отцом в письме от 25 июня 1813 года, было первым столкновением юноши Рылеева с «волнуемым страстями миром». Холодной действительностью пахнуло на него со страниц родительского послания. Откровенная проза жизни, продиктовавшая эти строки, была как бы ушатом ледяной воды, опрокинутой на его разгоряченную воображением голову. В ответном письме Рылеева к отцу литературных тирад как не бывало. Он оспаривает некоторые его обвинения, но знает, что неприлично возражать на «мнение отца, хотя и несправедливое». Он и сам хочет съездить к отцу, но на какие деньги он поедет? И как проживет он в полку две трети года без жалованья? Старик Рылеев мог бы упрекнуть сына в невнимании к его наставлениям: ведь он же написал ему, что о путевых расходах кадетов печется заботливая казна. Второе затруднение, правда, не было им предусмотрено, но почему бы и тут не положиться на казну, которая во-время вознаградит его. Единственное, о чем «покорнейший сын» Кондратий Рылеев «осмелился» напомнить отцу, — это о пятидесяти рублях для «учителя биться на саблях». Ведь он выйдет в конную артиллерию. Это был важный аргумент, к тому же еще шла война, да и пятьдесят рублей — не две тысячи, но мы так и не знаем, откликнулся ли «милостивый государь батюшка» на скромную просьбу сына.

## 2

10 февраля 1814 года Рылеев был выпущен из корпуса прапорщиком в 1-ю артиллерийскую бригаду, в конную роту № 1. Прощаясь с товарищами, он оставил им на память небольшую тетрадку; в ней среди списков чужих

стихов были занесены и собственные его литературные опыты. Эта тетрадка сохранилась. Неизвестно, кто был тот кадет, который снабдил ранние произведения Рылеева своими приписками — в форме наивных и беспомощных двустушиий. Впрочем, не блещут поэтическими достоинствами и стихи самого Рылеева. Заглянем в эту старую, потрепанную тетрадку.

На четвертой странице переписана басня «Гусь и Змия», высмеивающая устами мудрой змеи чванство и самомнение гуся. К этой басне упомянутый читатель приписал:

Когда стихи сии Рылеева читаю,  
То точно как его... я будто лобызую.

На обороте, после «Послания к Ф.», вышучивающего бездарных стихотворцев, тою же рукою отмечено:

Сии стихи писал Рылеев, мой приятель,  
Теперь да защитит его в войне создатель.

Через несколько страниц, после малоинтересной исторической статьи «Причина падения власти пап», тот же читатель пояснил:

Кто это старался сочинять,  
Пошел врагов уж тот карать.

Мысль о том, что молодой друг сражается где-то с врагами своей родины, не оставляет юного затворника «кадетского монастыря». Он пророчит ему венец героя. Перечитав прозаический набросок «Победная песнь героям», приятель Рылеева продолжает свой заочный диалог с ним:

Тебе достойным быть сей песни, о Рылеев,  
Ты будешь тот «герой» — карай только злодеев.

Наконец ода «На погибель врагов» сопровождается новым комплиментом по адресу отсутствующего товарища:

Хвала тебе, о мой любезный друг Рылеев!  
Поэт и сын ты истинно Ареев<sup>10</sup>.

И «Победная песнь героям», и ода «На погибель врагов» сложились под живым воздействием патриотического подъема двенадцатого года.

Неизгладимой печатью легли впечатления героической эпохи в сердцах и в сознании современников. Двадцать четыре года спустя, на праздновании двадцатипятилетия Лицея, Пушкин, волнуясь, читал:

Вы помните: текла за ратью рать;  
Со старшими мы братьями прощались  
И в сень наук с досадой возвращались,  
Завидя тому, кто умирать  
Шел мимо нас.. И племена сразились,  
Русь обняла кичливого врага,  
И заревом московским озарились  
Его полкам готовые снега.

Не одни лицеисты «с досадой» возвращались к своей школьной скамье. У большинства их сверстников щемило сердце при прощании со «старшими братьями», над головами которых уже развевались бранные знамена. Мысли и чувства многих сливались в одно желание: «быть героем, вознестись превыше человечества».

В этих словах кадета Рылеева воплотилась мечта целого поколения. В садах Лицея и в ограде кадетского корпуса сотни юношеских голов мыслили об одном. Но то, что для Пушкина и его товарищей представлялось в виде недостижимой мечты, — в глазах Рылеева и его однокашников рисовалось возможным и вероятным, ибо близился срок их выпуска из корпуса. Можно было уже думать о мундире, о «хорошенькой шинели», о «кивере с серебряными кишкетами».

Каждый, в чьей груди билось русское сердце, стремился вложить свою лепту в общее дело освобождения родины. Вооружилась литература. Жуковский облекся в плащ русского Тиртея. Крылов принес «на алтарь отечества» остро отточенное оружие своих басен.

Оба литературных опыта Рылеева — в прозе («Победная песнь героям») и в стихах («На погибель врагов») — относятся к конечному моменту Отечественной войны, к торжеству победителей. Оригинального мало в этих произведениях начинающего автора. Они — пересказ и перепев распространенных в то время литературных образцов и мотивов.

Ода «На погибель врагов» местами представляется стихотворным переложением «Победной песни героям», до того по содержанию, композиции и образам они близки

друг к другу. Но стихи слабее прозы; видно, что автор еще новичок в поэзии.

«Победная песнь героям» задумана под явным впечатлением оссиановских поэм в прозаической передаче Ермила Кострова. Эта книга увлекала не только поэтов, но и воинов. Оссианом был пленен Державин и вдохновлялся Суворов. Образами Оссиана была проникнута боевая романтика первой Отечественной войны. Они носились в тарутинском лагере перед поэтическим воображением Жуковского, когда он создавал свою стихотворную *галерею двенадцатого года* — «Певец во стане русских воинов». Насколько жизненным было восприятие Оссиана тогдашним поколением, показывает следующий отрывок из памятных записок П. Х. Граббе о 1812 году: «В Вязме я зашел к графу Кутайсову под вечер. Он сидел при одной свечке, задумчивый, грустный, разговор неумолимо отзывался унынием. Перед ним лежал Оссиан в переводе Кострова. Он стал громко читать песнь Картона. Приятный его голос, дар чтения, грустное содержание песни, созвучное настроениям душ наших, приковали мой слух и взгляд к нему. Я будто предчувствовал, что слышу последнюю песнь лебедя». <sup>11</sup> Вскоре после описанной здесь сцены молодой Кутайсов был убит при Бородине.

Несмотря на свою искусственную выпренность, «Победная песнь героям» в какой-то мере отвечает величию воспетых в ней событий, согрета подлинным пафосом победы:

«Низойдите, тени героев! Низлетите к нам на крыльях из виталища доблести! Низлетите разделить радость нашу!.. Мы прогнали сильного с полей отечественных... Возвысьте гласы свои, барды. Воспойте неимоверную храбрость воев русских! Девы красные, стройте сладкозвучные арфы свои; да живут герои в песнях ваших. Ликуйте в виталищах своих, герои времен протекших. Переходи из рук в руки, чаша с вином пенистым, в день освобождения Москвы из когтей хищного. Да, вспоминая о доблестях предков своих, потомки наши возгорят жаром велиим любви к отечеству и да всегда разят врагов имени российского».

Правда, если бы не собственные имена, встречающиеся в «Победной песне героям», трудно было бы понять, о каком «сильном» идет речь — о Наполеоне или о Батые. «Вопли дряхлых старцев и пола нежного» раздавались и



при татарах, и в усобицах Смутного времени. Впрочем, по откровенному признанию Кутузова маркизу Лористону, русский народ не видел разницы между нашествием татар и нашествием французов. Для современника Отечественной войны 1812 года не трудно было заполнить метафоры и общие места рылеевской песни конкретным содержанием. Строки: «Сердца наши обливались кровию, нам зрелась близкая гибель» напоминали о недовольстве ходом войны в начальный ее период, о жестоких опасениях по поводу того, что Барклай ведет врага в самое сердце страны. Строки: «внезапу является Кутузов... Приход его был подобен восходу солнца после страшной непогоды» передают всеобщую радость при назначении главнокомандующим Кутузова. Мудрая оборона сменяется наступлением: воины русские «подобно бурным потокам, разрушающим твердые плотины, вторгаются в ряды противные и истребляют нечестивых». Не забывает Рылеев и о параллельном преследовании, доконавшем армию Наполеона: «Подобно робким еленям, преследуемым от звероловов, утекали враги наши из Москвы златоглавой; подобно искуснейшим охотникам, вои наши воспретили им уйти в земли отечественные».

В сонме победителей, которых прославляет юный поэт, героем из героев представляется ему Кутузов. С ним сливается в его сознании возвышенное понятие — любовь к отчизне. Так именно — «Любовь к отчизне» — и называет Рылеев свою оду на смерть Кутузова. Он написал ее по случаю торжественных похорон фельдмаршала в Петербурге. За десять дней до печальной церемонии ода была готова, и Рылеев старательно переписал ее парадным почерком.

Поэт отказывается верить в смерть героя:

Хвала, отечества спаситель!  
Хвала, хвала, отчизны сын!  
Злодейских замыслов рушитель,  
России верный гражданин,  
И бич, и ужас всех французов!  
Скончался телом ты, Кутузов,  
Но будешь вечно жив, герой!

В лице Кутузова впервые проникает в поэзию Рылеева его излюбленный образ — образ *верного гражданина* родины.

В то время, как в стенах кадетского корпуса товарищ Рылеев перечитывал его стихи и мысленно «лобызал» своего друга, «сын Ареев» находился далеко от Петербурга. Скупые данные послужного списка говорят о том, что с 5 марта по 3 декабря 1814 года Рылеев был в походе: за девять месяцев он перевидал много, стран и городов, через которые победным маршем шла русская армия. К сожалению, мало что можно прибавить к лаконичному сообщению его послужного списка. Как всякий путешественник, он принес дань восхищения знаменитому Рейнскому водопаду. В эльзасском городке Альткирх пленился «милой застенчивостью» некоей Эмилии. Об этом мимолетном факте походной жизни Рылеева рассказывает маленькое стихотворение под заглавием «Бой», помеченное точной датой: «Альткирх, мая 7-го дня 1814 года»:

Краса с умом соединившись,  
Пошли войною на меня;  
Сраженье дать я им решившись,  
Кругом в броню облек себя!  
В такой, я размышлял, одежде  
Их стрелы неопасны мне;  
И погруженный в сей надежде,  
Победу представлял себе!..  
Как вдруг Эмилия явилась,  
Исчезла храбрость, задрожал!  
Броня в оковы превратилась!  
И я любовью воспыхал!

Армейский товарищ Рылеева Филипп Васильевич Голубев также пламенел любовью к резвой «Флорине». Но радости друзей были кратки. Скоро наступило расставание. Разлуку с «божественными, любезными девицами» Рылеев книжными слезами оплакал в «Сентиментальном письме» к своему другу Голубеву.

В Дрездене застал Рылеева известие о смерти отца. Последние годы своей жизни отставной полковник управлял именьями княгини Варвары Васильевны Голицыной, урожденной Энгельгардт. По смерти его княгиня предъявила наследникам Рылеева иск в 80.000 рублей. Почти на всё имущество покойного был наложен арест, и началась длительная тяжба.

Тем временем главный наследник жил в Дрездене весело и беззаботно. Его дядя Михаил Николаевич Рылеев

был комендантом города. Племянник не мог нахвалиться добротой этого родственника. «Такого дяди, каков он, больше другим не найти! — восторгался он в письме к матери. — Добр, обходителен, помогает, когда в силах: ну, словом, он заменил мне умершего родителя!»<sup>12</sup> Дядя выхлопотал для него какое-то хорошее место при артиллерийском магазине и даже, не в пример покойному родителю, подарил ему лучшего сукна на мундир.

Приятная жизнь Рылеева в Дрездене была нарушена таинственными для нас причинами. «Необычайная живость характера» молодого прапорщика, какие-то разошедшиеся по рукам сатирические стихи, жалоба, поданная на него саксонскому генерал-губернатору князю Н. Г. Репину, привели к бурной сцене между дядей и племянником. Последний был вынужден в двадцать четыре часа покинуть Дрезден.

Зиму 1814—1815 года Рылеев провел в городке Несвиже, Минской губернии, «с командой для обучения верховой езде». Здесь из письма матери он узнал о бедственном положении семьи. У Настасьи Матвеевны нет денег даже на то, чтобы выкупить свой портрет. И он попал в опись конфискованного имущества!

Рылеев в ужасе. Он умоляет мать не присылать ему ничего («я, право, не нуждаюсь в деньгах, ей-богу, не нуждаюсь»), но во что бы то ни стало «выручить портрет» — «последнюю фамильную драгоценность, сыновнее сокровище».

Письмо матери заставляет его впервые задуматься о социальном неравенстве. Он хочет сам написать княгине Голицыной. Голова его полна горькими вопросами: «О вельможи! о богачи! Неужели сердца ваши нечеловеческие? Неужели они ничего не чувствуют, отнимая последнее у страждущего!»<sup>13</sup>

#### 4

С началом кампании 1815 года Рылеев снова за границей. Опять те же места... Опять тот же, уже знакомый ему величественный Рейн!

Множество дум и чувств теснится в душу Рылеева. Четыре года назад, в канун Отечественной войны, кто бы мог подумать о том, что произойдет с Францией, с Европой! Четыре года назад... А теперь? — «Великая нация

теперь слабая, войско ее — шайка разбойников, являющийся — странствующий дон-Кихот».

Подходит к концу грандиозная историческая эпопея. В ее развитии и завершении великая роль, выпавшая на долю России!

Бывало, в корпусе Рылеев читал с друзьями о славных подвигах древних греков и римлян. Много казалось столь же прекрасным, сколь и невероятным. Нет, не может быть, чтобы это так было в действительности! Таких людей нет, это — басни.

Рылееву припомнились часы этих юношеских восторгов, когда вместе с победоносной российской армией, делавшей второй поход во Францию, он дошел до Парижа. Перед величием настоящего тускнели и гасли великие события прошлого. В сердце пламенело чувство народной гордости. Значит, это — не басни; значит, есть такие люди на самом деле. И эти люди — русские!

Парижские письма Рылеева — это, в сущности, путевые очерки, дневник, облеченный в эпистолярную форму. Возможно, что у Рылеева и не было никакого адресата и обращение к «другу» — только литературный прием. Недаром лишь однажды — в третьем письме — упоминает о нем Рылеев; дальше, на протяжении пяти писем, он уже не вспомнит о нем ни разу.

Значительное место в этих письмах занимает простое перечисление виденных Рылеевым достопримечательностей и курьезов. Подробности эти мало чем отличаются от многочисленных описаний других путешественников. Это и немудрено. Ведь давно уже составились готовые планы осмотра Парижа — в один, два, три и более дней. Чем меньший срок проводит путешественник в Париже, тем больше хочет он за это время увидеть...

Восемь дней пробыл Рылеев в столице Франции — восемь суетливых дней... Вот она — столица света, законодательница вкуса и моды! Она еще овеяна славой Наполеона. Благоухание его имени сильнее аромата чахлых лилий Бурбонов. Недавно еще называвший Наполеона «исчадием злобным ада», Рылеев теперь с особенным вниманием рассматривает памятники наполеоновской эпохи.

«Можно сказать, что ни один король из фамилии Бурбонов не украсил столько Парижа, как Наполеон», — такими словами начинает Рылеев описание одной из своих прогулок по Парижу. О победах Наполеона напоминают

Вандомская колонна, Триумфальная арка, Аустерлицкий мост. Залы Лувра еще хранят художественные трофеи, закованные покорителем народов в Италию. Восхищенный, стоял Рылеев перед бессмертными созданиями античной скульптуры, дивясь чистой стройности Венеры Медицейской и содрогаясь перед зрелищем предсмертных мук Лаокоона. Но более всего поразила его победная красота Аполлона Бельведерского. «Долго удивлялся я сыну Латоны, победителю змия пифийского! — признается он в своем отчете о посещении Лувра. — Вид его полон божественного величия, всюду сияет вечная юность и красота, сила необоримая и мужество. Все показывает спасителя обитателей дельфских!»

Говорили Рылееву, что австрийцы и пруссаки поживались уже в картинной галлерее Лувра и что такая же печальная участь ожидает лучшие статуи. Действительно, вскоре после того они исчезли из Лувра, оплаканные стихами Казимира Делявиня.

На глазах Рылеева австрийцы и пруссаки торопились уничтожить внешние напоминания о недавних годах Империи, о победах Франции и о своем позоре. Рылеев видел, как австрийские солдаты спускали с Триумфальной арки украшавшую ее квадригу, вывезенную Наполеоном из Венеции. Один из них дал Рылееву на память обломок вензеля Наполеона.

Реставрация подняла свою напудренную голову. Сентябрьский ветер трепал белое знамя Людовиков, водруженное наверху Вандомской колонны. Ее увенчивала раньше статуя императора, одно имя которого повергало в ужас его европейского вассалов. Эту статую сбросили еще в 1814 году. В театрах вернувшиеся эмигранты бешено аплодировали роялистской песенке «Vive Henri Quatre». В суде слушался процесс маршала Нея.

Заносчивое обращение союзников с французами не по душе Рылееву: «Зачем раздражать народ действительно славный, зачем затрогивать честолюбие и гордость народную, двадцатилетними победами в сердцах утвердившуюся? Не значит ли это врождать в них к себе вечную ненависть? Мы, русские, совсем иначе обходимся. Наши союзники надменностью и жестокостью своею скоро выведут из терпения народ, в сердцах которого еще с прежнеею горячностью кипит любовь к независимости и славе».

Рылеев сам был свидетелем столкновения парижан с пруссаками в Пале-Рояле. Прусские солдаты, стоявшие на часах, стали задирать гуляющих в саду французов. Начала скопляться толпа. Потребовалось вмешательство патруля парижской Национальной гвардии и отряда английских солдат, чтобы восстановить порядок.

Под живым впечатлением этого происшествия Рылеев разговорился с французским офицером. Вот как передает эту беседу Рылеев в одном из своих писем:

«— Мы покойны, сколько можем, — сказал он... — но союзники ваши скоро нас выведут из терпения. Мы французы, мы с чувствами!

— Я русский, и вы напрасно говорите мне.

— Затем-то я и говорю, что вы русский. Я говорю другу, ибо ваши офицеры, ваши солдаты так обходятся с нами. Ваш Александр покровитель нам, он наш благодетель, но союзники его — кровопийцы! Чего они хотят от нас?! Разве еще они не довольны бедствиями Франции, что ругаются над священнейшим сокровищем нашим — честью! Кто мы? Рабы, что ли, ваши?.. По жребию оружия — мы побеждены, но были некогда и мы победителями, и раздражали ли народ подобными обидами?..

— Полно, полно, прошу вас: мы не виноваты; мы, русские, — друзья ваши.

Я был совершенно растроган; он хотел говорить, но слова замирали от сердечной боли, слезы блистали на глазах его. Я посмотрел на патриота — и увидел воина, лет тридцати, украшенного легионом чести и орденом св. Лудовика и... на деревяшке. Я поцеловался с ним. Сой сцене были свидетелями многие французы. Чувства их были одинаковы. Они громко проклинали пруссаков. Я спешил удалиться».

В своих прогулках по Парижу Рылеев познакомился и с игрой в рулетку и с Домом Инвалидов, который произвел на него большое впечатление; побывал в театрах и у гадалки Ленорман; любовался панорамой города Кале и танцами шестидесятилетнего Вестриса; праздновал вместе с товарищем день своего рождения в одном из ресторанов Пале-Рояля, удивляя французов «добрым аппетитом и здоровым русским желудком».

Пале-Рояль — «душа Парижа». С утра до поздней ночи он полон народа. Здесь толпятся, теснятся, толкают-

ся люди разных сословий и разного достатка. В аркадах нижнего этажа разбросаны лавки и кафе. Выставки ювелирных изделий чередуются с образцами последних мод. Чистильщики обуви тут такие же мастера своего дела, как и парикмахеры. Аркады Пале-Рояля служат красивой рамой для сада, разведенного во внутреннем дворе этого громадного здания. «Зрелище великолепное, особенно при освещении вечером». По наблюдению одного русского путешественника, светящийся огнями Пале-Рояль, благодаря своим бесчисленным стеклянным дверям, производит впечатление «преогромного» фонаря.<sup>15</sup> В галлерейх второго этажа также размещены магазины, известные на всю Европу «ресторации» и игорные залы. Здесь пускаются на ветер и здесь же зарождаются волею слепой фортуны целые состояния. Все, что угодно, кроме разве птичьего молока, можно найти в Пале-Рояле, нужно только не стеснять себя в деньгах. «Приди туда голый, но с деньгами; тебя назовут маркизом — и ты в минуту одет по самой последней моде», — заносит Рылеев в свой парижский дневник. Купцы и лавочники со своими товарами — к услугам господ русских офицеров, обычно щедрых на деньги. К услугам их и парижские лаисы, легким роем увивающиеся вокруг победителей и завлекающие их в свои тенета. Верхний этаж Пале-Рояля — их неограниченное владение. Но вызывающие взгляды и дерзкие прикосновения не в силах поколебать «стоической твердости» Рылеева. Он и потом не сможет «без ужаса» вспомнить о парижских соблазнительницах: «Красота некоторых чрезвычайна!»

Парижская неделя подходила к концу. Приближался день прощания с Парижем. И, покидая «сию столицу забав и веселостей», Рылеев — офицер армии победителей — чувствует себя вдвойне победителем: он не запутался в сетях соблазна, на каждом шагу расставленных в этом «обиталище разврата и пороков». «Горе неопытному юноше, блуждающему в оном без доброго наставника», — менторски поучает он в последнем из своих парижских писем. Его надежным наставником был разум. На сей раз он готов признать его превосходство над чувствами. «Здесь цветет роза..., но посмотри на цветок сей не пыльным взором разгоряченного юноши, но взором пронизательности хладнокровного старца, ...и ты увидишь, что роза сия ненатуральна, что благоухание оной несходственно с

благоуханием свежего цветка, разливающего оное в поле». <sup>16</sup>

Рылеев покидал Париж без сожаления. Его тянуло к свежим, нетронутым цветам отечественных полей.

Родина ждала возвращения победителей.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

На левом, возвышенном берегу реки Тихая Сосна, при впадении в нее Острогожки, зеленел своими садами живописный уездный городок. Девяносто семь верст отделяли его от губернского центра — Воронежа. Острогожск раскинулся к югу от него, на почтовом тракте. Прямые, немощенные улицы города были обстроены деревянными и каменными домами, выбеленными мелом и крытыми по большей части местным болотным тростником. Этот же тростник шел и на топливо.

В просторечии Острогожск именовался Рыбным. Одни говорят, что это название было дано ему по озеру Рыбному, находящемуся неподалеку от города. Другие считают название происшедшим от того, что Острогожск служил главным складочным местом для рыбы, вывозившейся с Дона во внутренние губернии России.

Жители Острогожского уезда занимались преимущественно хлебопашеством и скотоводством. Три раза в год в Острогожске устраивались ярмарки: в десятую пятницу после Пасхи, на Рождество Богородицы (8 сентября) и на «зимнего Николу» (6 декабря). Сюда съезжались купцы из Воронежа, Курска, Тамбова, Ельца и даже из Москвы. Здесь шла широкая торговля лошадьми, рогатым скотом, вяленой рыбой, салом и солониной. <sup>17</sup>

В один погожий весенний день 1817 года мирные улицы городка, оживлявшиеся лишь по большим праздникам да в дни ярмарок, были разбужены от своей сонливости барабанным боем и трубами военного оркестра: то вступали на постой в город войска, вернувшиеся из-за границы.

Местная аристократия и купечество охотно отводили в своих домах помещения для офицеров, принесших с собой запас свежих новостей и рассказов. Но Острогожск не мог вместить всех, а потому многие селения и слободы



уезда были также заняты под квартиры для офицеров и солдат.

Шумно, весело зажил Острогожский уезд.

Воронежский крепостной графов Шереметевых, пробившийся к знанию и свободе, впоследствии профессор русской словесности и академик Александр Васильевич Никитенко в трудные годы своей юности имел случай наблюдать острогожское общество. «Большинство зажиточных помещиков этого уезда проводило часть года в городе, где имело дома. Они, как и все острогожское дворянство, были одушевлены особым корпоративным духом и радели о чести своего сословия. Оттого образ действий их отличался достоинством, мало известным в те времена развращающего крепостничества».

Умственные интересы не были изгоями в этом захолустном с виду городке. Современники называли Острогожск «воронежскими Афинами». Там жило немало понастоящему образованных людей. «Их занимали вопросы литературные, политические и общественные. Они препирались не за одни личные интересы, но и за принципы. В них проглядывало стремление к свободе и сознательный протест против гнета тогда всемогущего бюрократизма».<sup>18</sup>

Грамотность была распространена не только среди дворянства. В руках некоторых купцов и даже мещан Никитенко видел русские переводы сочинений Вольтера, «Персидских писем» Монтескье, «Рассуждения о преступлениях и наказаниях» Беккария. Попадалась и книга немецкого экономиста Юсти «Существенное изображение естества народных обществ и всякого рода законов». Острогожцы судили и рядили о различных формах общественного строя. В пылу этих словопрений некоторые даже осмеливались превозносить конституционные формы правления.

Губернские власти косились на острогожских грамотеев. Среди воронежской администрации было много единомышленников московского Фамусова, вздыхавших в тиши своих канцелярий: «Ученье — вот чума, ученость — вот причина»... того, что «хищничество их нигде не встречало такого упорного протеста», как в среде острогожских граждан. Зато каких жадных слушателей нашли себе во многих острогожцах наши вернувшиеся на родину молодые либералы! Никитенко очень верно подметил общие черты, сближавшие их с местным обществом: «Участники в мировых событиях, деятели не в сфере бесплодных

умствований, а в пределах строгого, реального долга, они приобрели особенную стойкость характера и определенность во взглядах и стремлениях, чем составляли резкий контраст с передовыми людьми нашего захолустья, которые, за недостатком живого, отрезвляющего дела, витали в мире мечтаний и тратили силы в мелочном, бесплодном протесте. С другой стороны, сближение с западноевропейской цивилизацией, личное знакомство с более счастливым общественным строем, выработанным мыслителями прошлого века, наконец борьба за великие принципы свободы и отечества, — все это наложило на них печать глубокой гуманности — и в этом они уже вполне сходились с представителями нашей местной интеллигенции. Немудрено, если между ними и ею завязалось непрерывное общение». <sup>19</sup>

Однажды в Острогжске была очередная ярмарка. Толкаясь среди пестрой шумящей толпы, Никитенко заметил молодого офицера, одновременно с ним подошедшего к книжной палатке. Его поразила тихая лучистость темных глаз незнакомца. Офицер спросил у торговца книгами трактат Монтескье «О существе законов» в новом русском переводе Дмитрия Языкова. Отсчитав тридцать пять рублей — цену четырех частей книги, незнакомец велел принести покупку к себе на дом. Он сказал свой адрес и назвал себя: *прапорщик конно-артиллерийской роты № 11 Рылеев*. <sup>20</sup>

## 2

Рылеев не жил постоянно в Острогжске. Его рота стояла на первых порах в слободе Подгорная, в шестидесяти пяти верстах юго-восточнее Острогжска. На лето 1817 года рота была переведена в слободу Белогорье, верст за тридцать от Подгорного, вблизи города Павловска — административного центра соседнего Павловского уезда.

«Вы желаете знать, каковы наши квартиры, — пишет Рылеев матери 10 августа 1817 года, — такие, каких мы еще никогда не имели! — Мы расположены на лето в слободе Белогорье, в полуверсте от Дона. Время проводим весьма приятно: в будни свободные часы посвящаем или чтению, или приятельским беседам, или прогулке; ездим по горам — и любимся восхитительными местоположениями, которыми страна сия богата; под вечер бро-

дим по берегу Дона и при тихом шуме воды и приятном шелесте лесочка, на противоположном берегу растущего, погружаемся мы в мечтания, строим планы для будущей жизни и через минуту уничтожаем оные; рассуждаем, спорим, умствуем, — и наконец, посмеявшись всему, возвращаемся каждый к себе и в объятиях сна ищем успокоения».

Иногда, в свободные от служебных занятий часы, Рылеев с товарищами посещал жившую тут же, в Белогорье, вдову генерал-майора Анну Ивановну Бедрагу. Интересно было послушать рассказы ее сына, подполковника конноегерского полка Михаила Григорьевича Бедраги! Раненный в голову при Бородине, Бедрага выбыл из строя и теперь жил у матери.

По праздникам офицеры конно-артиллерийской роты ездили в гости к окрестным помещикам, — «а я (прибавляет Рылеев) чаще на зимние свои квартиры в слободу Подгорное, где также живет гостеприимный и любезный помещик, господин Тевяшов; в семействе его мы также приняты как свои — и проводим время весьма, весьма приятно».<sup>21</sup>

Рылеев не договаривает в письме к матери, что именно привязывало его к Подгорному. А между тем, переписывая в это время свое эльзасское стихотворение «Бой», он неспроста заменяет в нем имя *Эмили* именем *Наташеньки*.

Многие девушки были красивее, но не было в глазах Рылеева ни одной милее младшей дочери «гостеприимного и любезного» помещика Тевяшова — Наталии Михайловны. «Наташей», «Натанинькой», «милой Наталией» называет ее в своих стихах и письмах Рылеев.

Наталья Михайловна была любимицей родителей — Михаила Андреевича и Матрены Михайловны Тевяшовых. «Не будучи романистом, не стану описывать ее милую наружность, а изобразить же ее душевные качества почитаю себя весьма слабым, — пишет Рылеев матери 17 сентября 1817 года, решившись, наконец, открыть свое чувство, — скажу только вам, что милая Наталия, воспитанная в доме своих родителей, под собственным их присмотром, и не видевшая никогда большого света, имеет только тот порок, что не говорит по-французски. Ее невинность, доброта сердца, пленительная застенчивость и ум, обработанный самою природою и чтением несколь-

ких отборных книг, в состоянии соделать счастье каждого, в коем только искра хоть добродетели осталась. Я люблю ее, любезнейшая матушка, и надеюсь, что любовь моя продолжится вечно...»

В этом же письме, не без длинного предисловия, Рылеев обращается к матери с просьбой благословить его на брак с Натальей Тевяшовой и одновременно позволить ему выйти в отставку. Давно уже стал он задумываться над тем, почему ни «дражайшая матушка», ни сам он «совершенным счастьем еще не наслаждались». Часто, видя веселые и беспечные лица товарищей, задавал он себе вопрос: «Почему подобно им и я не могу быть счастливым?» Ответ рождался в его голове всегда один и тот же: «расстроенные домашние обстоятельства главной и настоящейю тому виною». Он давно уже с трудом сводит концы с концами. Каждый день о тощем состоянии его кармана напоминает ему ветхое, ползущее под иголкой белье. А мундир его так обшарпан и протерт, что стыдно показываться в нем на глаза людям, особенно же на глаза... невесты. Судьба, казалось, хотела проверить на нем силу пословицы: полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбят. И Наташа Тевяшова, «Ангел Херувимовна», как он в шутку называл ее, полюбила молодого прапорщика *черненьким*.

Намерение свое подать в отставку Рылеев оправдывает перед «любезнейшей матушкой» желанием «заняться единственно вашим и милой Наталии счастьем». Он молод, это правда, — но разве нельзя в *гражданской* службе «доплатить» отечеству «то, чего недодал в *военной*?»<sup>22</sup>

Настасья Матвеевна Рылеева отвечала сыну ласково и в то же время твердо-деловито: «Тебе, мой друг, известно, деревня не так велика, ревизских душ 42, а работников 17, то сам посуди, сколько они могут поработать: земля у нас не такая, как там, где ты теперь; долгу на мне много, деревня в закладе, тебе известно, что я насилу могу проценты платить, ...а что пишешь в рассуждении женитьбы, я не запрещаю: с богом, только подумай сам хорошенько: жену надо содержать хорошо, а ты чем будешь ее покоить?.. Посуди сам, Наталья и ты будете горе терпеть, а я, глядя на вас, плакать. Я советую тебе, как мать и друг твой верный, подумай хорошенько и скажи невесте и родителям ее правду, сколько ты богат: то

я не думаю, чтоб они захотели бы, чтоб дочь их милая терпела нужду». <sup>23</sup> Не одобряла Настасья Матвеевна и желания сына выйти в отставку: рано еще, служил он мало, да и чин его невысок.

Все эти резоны не могли поколебать Рылеева. «Человек родится не для других только, он должен заботиться и о себе — и потому, кажется, довольно для государя пяти лет: пора подумать и о своих!» — так рассуждал он сам с собою. К этим соображениям примешивались и другие. С самого выпуска своего из кадетского корпуса он никак не продвинулся по службе. Начал ее прапорщиком, остается прапорщиком и посейчас; только номера рот на эполетах переменялись: был номер первый, потом одиннадцатый, а теперь двенадцатый. Видно, он по своему характеру не пригоден для службы царской. Горький опыт подсказывает ему, что «для нынешней службы нужны подлецы», — ну да он, слава богу, не подлец и не может им быть! <sup>24</sup>

А главное — Рылеев слишком уже вошел в роль жениха. Он не в силах отказаться от Наташи. Родители ее согласны иметь зятем бедного дворянина с тяжбой за плечами, но настаивают на том, чтобы он бросил военную службу. Следовательно, счастье само дается ему в руки!

Тетрадь литературных упражнений Рылеева, заполнявшаяся в 1817—1819 годах, свидетельствует о понятном в ту пору наплыве любовных мотивов в творчестве молодого поэта. По форме все эти стихи не что иное, как провинциальное, острогожское эхо столичных песен и романсов, пользовавшихся тогда большою популярностью. Мы различим в них и близкие отголоски анакреонтических тем Державина, и внятные отзвуки сентиментально-жалостливых мотивов Карамзина и Нелединского-Мелецкого, и отчетливое веяние эпикуреистического духа Батюшкова. Амуры, мотыльки, «Филомелы» и «ветерочки» перепорхнули из стихов поэтических корифеев в робкие и несовершенные еще строки рылеевских мадригалов, песен, романсов, элегий и экспромтов. Вместе с тем в этих стихах Рылеева скрывается определенная биографическая подоснова — его любовь к Наталье Тевяшовой.

Должно быть, «альбом девицы N», который украшал своими стихами Рылеев, был типичным — говоря словами Пушкина — «уездных барышень альбомом». Рылеев-

жених был его усердным данником. «Триолет Наташе», «Н. М. Т-вой на предложение ее, дабы я написал стихи на Надежду», «К портрету N», «Извинение перед Н. М. Т-вой», «К ней» — под такими названиями вписывал Рылеев в ее альбом плоды своих вдохновений. Он писал ей признания в любви «макароническим» стихом, в шутку перемешивая русские слова и фразы с французскими:

Quand vous со мною — мне приятно;  
Блаженствую quand je vous baise;  
Mais quand целуете обратно...  
Как от того je suis bien aise!

Таким языком впоследствии рассказала о своих впечатлениях «дан л'этранже» (за границей) болтливая «госпожа Курдюкова».

Иногда у Рылеева возникали как бы поэтические диалоги с невестой. Услышав в ее исполнении известную в то время арию из комической оперы Краснопольского «Русалка»:

Вы к нам верность никогда  
Не хотите сохранить... —

он сейчас же откликнулся на этот упрек стихотворным «ответом»:

Нет, неправда, что мужчины  
Верность к милым не хранят  
И, дав клятву, без причины  
Могут хладно забывать.  
Разве только развращенный  
Или ветренник какой  
Недоволен — награжденный  
Поцелуем дорогой...

Рылеев не был ветренником и не склонен был играть своим чувством. Заручившись согласием «почтенных родителей милой Наталии Михайловны» и полусогласием своей матери, он нетерпеливо ждал дня свадьбы. Повидимому, Тевяшovy откладывали его, выжидая, как решится дело с отставкой Рылеева.

В томлении ожидания Рылеев написал невесте следующий акrostих:

Нет тебя милей на свете,  
Ангел несравненный мой!  
Ты милее в юном цвете  
Алой розы весенней.  
Легче с жизнью разлучиться

**И** все на свете позабыть,  
**Я** клянусь в том, чем решиться  
**Т**:бя, друг мой, не любить.  
**Е**сть на свете милых много,  
**В**ерь, что нет тебя милей;  
**Я** давно прошу у бога,  
**Ш**утки в сторону, ей-ей,  
**О**дного лишь в утешенье:  
**В**ечно, вечно быть с тобой!  
**А**х, свершится ли моление;  
 Скоро ли я буду твой?

В начале 1819 года Рылеев был послан в служебную командировку в Воронеж. Здесь, с шести часов утра до трех часов дня ежедневно, он «мерз в комиссариатских лабазах», а в остальное время тосковал по невесте и срисовывал ей в подарок узоры для вышивания по канве. В Воронеже застала его важная для него новость. Развернув 306-й номер «Русского Инвалида», он прочел в нем, что высочайшим приказом, отданным 26 декабря прошлого 1818 года, конно-артиллерийской № 12 роты прапорщик Рылеев увольняется от службы подпоручиком, по домашним обстоятельствам.

Весной 1819 года состоялась свадьба Рылеева.

### 3

Проведя лето в Подгорном, молодые ранней осенью выехали в Батово. Нужно было представить жену матери и самому разобраться в запутанных делах семьи. Последняя причина заставила Рылеева посетить «Северную Пальмиру» и в следующем году. На этот раз Рылеев приезжал один, оставив жену и новорожденную дочь Настеньку в Подгорном. Он задержался в Петербурге дольше, чем хотел. В сенате лежало какое-то дело Тевяшовых, и Рылееву приходилось с ним возиться. Тут ему довелось на практике убедиться в том, что «деньги — лучшие стряпчие».

Как ни скудны сведения о пребывании Рылеева в Петербурге в 1819—1820 годах, но, повидимому, именно в эти приезды завязываются у него знакомства с петербургскими литераторами: Федором Глинкой, Дельвигом, Пушкиным, Воейковым, Гнедичем, Гречем и Булгариным. С весны 1820 года стихи Рылеева начинают появляться в печати: то было несколько незначительных эпиграмм, один романс и элегия «К Делии» — «подражание Тибуллу»,

а на самом деле Батюшкову и Милонову. Под последним стихотворением в первый раз была поставлена полная подпись: *К. Рылеев*.

Если откинуть эпиграммы, то любовные темы попрежнему преобладают под пером Рылеева. Счастливый муж-любовник, он изображал свою милую «Натаниньку» то в образе молодой Лидиньки, то в виде полунагой Делии, бросающейся в его трепетные объятия. Стихам этим нельзя отказать в большой доле условности. Многое в них — дань установившимся поэтическим канонам. И все же прав академик Нестор Котляревский: эти стихотворения «искренни и порой красивы». <sup>28</sup> Техника стиха заметно совершенствуется. Перед нами уже не *стихотворец*, а *поэт*, хотя еще не окрепший творчески, еще не имеющий своего лица. Его «Романс» показывает, что он уже справляется с довольно сложными строфическими формами. Прихотливая строфа не является прокрустовым ложем для содержания. Мысли не растягиваются и не усекаются, а свободно ложатся в анафорические кольца зачинов и концовок строф:

Как счастлив я, когда сижу с тобою,  
Когда люблюя я, глядя на тебя,  
Твоею милою, любезной красотою...  
Как счастлив я!

Как счастлив я, когда ты, друг мой милой,  
Свой голос с звуками гитары соедини,  
Поешь иль песенку или романс унылой,  
Как счастлив я!

Как счастлив я, когда умильным взором,  
Прелестный, милый друг, ты подаришь меня  
Иль обратишься вдруг ко мне ты с разговором,  
Как счастлив я!

Как счастлив я, когда ты понимаешь  
Из взора моего, сколь я люблю тебя,  
Когда мне ласками на ласки отвечаешь,  
Как счастлив я!

Как счастлив я, когда своей рукою  
Ты тихо жмешь мою и, глядя на меня,  
Твердишь вполголоса, что счастлива ты мною,  
Как счастлив я!

Как счастлив я, когда вдруг осторожно,  
Украдкой ото всех целуешь ты меня.  
Ах, смертному едва ль так счастливым быть можно,  
Как счастлив я!



Но недостаточно было усовершенствованной техники стиха, дабы обратить на себя внимание... Кто не писал в ту поэтическую эпоху гладких и хороших стихов! Чтобы заставить говорить о себе, нужно было нечто другое. Гладкие стихи еще не давали известности.

Для Рылеева начинается пора настойчивых поисков собственного пути в литературе, упорных исканий своего лица.

Литературная известность и не мечталась ему, когда о нем впервые заговорили... Заговорили раньше, чем можно было бы ожидать.

#### 4

Шел тысяча восемьсот двадцатый год. Целая бездна, казалось, легла между ним и романтической порой освободительных походов 1813—1815 годов. Давно ли Россия, торжествуя, встречала своих сынов, прошедших славный путь от пепелища Москвы до Парижа? Давно ли Петербург оглашался звуками приветственной кантаты сарика Державина:

Ты возвратился, благодатный,  
Наш кроткий ангел, луч сердец...

а слова *спаситель Европы, наш Агамемнон, дней наших Александр* были, на языке современников, синонимами Александра I?

Немало воды утекло за каких-нибудь три-четыре года! Молодой Пушкин, так еще недавно в лице «добрého царя» славивший «вождя побед», начинает ему «подсвистывать». Либеральная игра ученика Лагарпа отходит в прошлое. А ведь многие принимали ее всерьез! Теперь о ней вспоминают, как о «дней александровых прекрасном начале». Позднее, уже в тридцатых годах, Пушкин скажет Сперанскому: «Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении зла и блага».<sup>20</sup>

В годы, о которых идет речь, первые двери были наглухо заперты и «гений блага» отсиживал в изгнании свою опалу. Зато вторые двери были широко раскрыты, и в них стояла навтыяжку сухая фигура «гения зла» в артиллерийском мундире.

Трудно более метко определить кратковременную популярность Александра, чем это сделал Пушкин в десятой главе «Евгения Онегина»: действительно, русский самодержец был «нечаянно пригрет славой». Но он сам сделал все, чтобы выбраться из-под ее теплого крылышка, и шумный «восторг», с которым произносилось до 1815 года его имя, скоро сменился «угрюмым молчанием» или насмешливым шопотом.

«Душно было тогда в Петербурге людям, только что расставшимся с полями побед, с трофеями, с Парижем, и прошедшим на возвратном пути через сто триумфальных ворот почти в каждом городе, на которых на лицевой стороне написано: *храброму Российскому воинству*, а на обратной: *награда в отечестве!*»<sup>27</sup> Что ожидало их? Царство рутины и умственного застоя, маршировка до одурения, высчитывание количества шагов в минуту, кошмар военных поселений, самовластие Аракчеева, палки и кнута да лицемерный новогодний манифест 1816 года: «Мы, после толиких происшествий и подвигов, обращая взор свой на все состояния верноподданного нам народа, недоумеваем в изъявлении ему нашей благодарности. ...Награда ему дела его, которым свидетели небо и земля».<sup>28</sup>

Александр I не захотел понять, что Отечественная война 1812 года всколыхнула русское национальное самосознание. Он забыл о том, что само правительство играло словами «свобода» и «отечество» — играло с огнем. В глазах Александра под свободой отнюдь не подразумевалось уничтожение крепостничества или дарование России демократических прав, — под свободой он разумел лишь освобождение от опасности иноземного ига. А понятие *любви к отечеству* почти исключительно исчерпывалось беспрекословным покорством деснице «Благословенного» и безропотным исполнением его желаний. В этом смысле идеальным «патриотом» был, конечно, Аракчеев.

Александр не хотел понять, что не только офицер, но и рядовой теперь уже не таковы, какими они были раньше. Один современник так передает свои наблюдения над солдатами, вернувшимися из Франции: «Люди начали больше рассуждать. Судят, что трудно служить, что большие взыскания, что они мало получают жалованья, что наказывают их строго и проч. ...Между солдатами есть люди весьма умные, знающие грамоте. ...Они так, как и все, читают журналы и газеты».<sup>29</sup>

Даровав в 1818 году конституцию Царству Польскому, император посулил даровать ее и всей своей обширной империи. Однако скоро оказалось, что «царь-отец рассказывает сказки...»<sup>30</sup> И, действительно, проект уставной грамоты (российской конституции), разработанный по его поручению Н. Н. Новосильцовым и князем П. А. Вяземским, так и остался проектом... Мудрено ли, что при таком отношении царя к своим собственным обещаниям тосты «за российскую конституцию», подслушанные В. Н. Каразиным в одном трактире, где пировала гвардейская молодежь, казались в высшей степени предосудительными, почти что крамольными.

«Для того ли мы освободили Европу, чтобы наложить ее цепи на себя? — рассуждали между собой офицеры. — Для того ли дали конституцию Франции, чтобы не сметь говорить о ней, и купили кровью первенство между народами, чтобы нас унижали дома?»<sup>31</sup>

Ожесточение против царя накапливало в рядах русской армии. Росла молва о его презрении к своему народу. Раздражало то, что он прикидывался «покровителем и почти корифеем либералов» в Европе, а в России «был не только жестоким, но, что хуже всего, бессмысленным деспотом».<sup>32</sup>

«Кроткий ангел» очень скоро обернулся деспотом и по отношению к освобожденной им Европе, став во главе монархического заговора против свободолюбивых стремлений народов. Открывается полоса конгрессов. Александр из Персея скованной Европы превращается в «кочующего деспота», разъезжающего с конгресса на конгресс. Глубоко антинародную сущность внешней политики Александра подчеркивал декабрист П. Г. Каховский, когда из Петропавловской крепости писал его преемнику: «Мы, русские, внутри своего государства кичимся, величая себя спасителями Европы! Иноземцы не так видят нас; они видят, что силы наши есть резерв деспотизму Священного союза... Нацию ненавидеть невозможно, и народы Европы не русских не любят, но их правительство, которое вмешивается во все их дела и для пользы царей утесняет народы».<sup>33</sup>

Тысяча восемьсот двадцатый год нанес немало ударов международной реакции. В Испании Риэго поднял знамя восстания и принудил короля присягнуть конституции. В Париже рабочий Лувель заколол герцога Беррийского.

Буржуазно-революционные волнения охватили Сицилию и Португалию. «Что почта — то революция!» — отмечает в своем дневнике Николай Тургенев.<sup>34</sup>

С октября по декабрь в австрийском городе Троппау заседал конгресс, обсуждавший способы подавления неаполитанской революции. 29 октября фельдъегерь, примчавшийся из Петербурга, вручил императору Александру донесение начальника гвардейского корпуса Васильчикова о возмущении Семеновского полка, любимого полка императора. «...Обстоятельство сие не заключало в самой сущности никакой опасности, — писал Васильчиков, — ниже какой другой причины, кроме того, что нижние чины выведены были из терпения от неблагоприятного и неосторожного поведения... полковника Шварца».<sup>35</sup>

Это был типичный аракчеевец. Подсчитано, что за пять месяцев — с 1 мая по 3 октября 1820 года — в Семеновском полку было наказано розгами сорок четыре человека, причем в общей сложности дано 14 250 ударов. Один семеновец, назначенный в ординарцы к бригадному командиру, великому князю Михаилу Павловичу, в течение двух недель подвергался совершенно издевательской муштровке. Шварц только тогда допустил его к исполнению обязанностей ординарца, когда он научился на полном ходу не расплескивать стакана воды, поставленного ему на кивер. Полковник Шварц, вероятно, был бы хорошим дрессировщиком цирковых животных, но он был никуда не годным командиром полка.

Под впечатлением семеновского «бунта» либеральная атмосфера в Петербурге сильно накалилась. «Я видел, как розоватый либерализм стал густеть и к осени (1820 г.) переходит в кроваво-красный...», — вспоминал Ф. Ф. Вигель. Он же был свидетелем того, как на одной холостой пирушке молодые офицеры затянули французскую революционную песню, переведенную полковником Катениным:

Отечество наше страдает  
Под игом твоим, о злодей!  
Коль нас деспотизм угнетает,  
То свергнем мы трон и царей.<sup>36</sup>

В эти же дни, когда весь Петербург еще был взбудоражен «семеновской историей», когда в негодовании против Шварца выливалась ненависть к военно-бюрократическому режиму аракчеевщины, — в журнале «Невский Эри?

гель» появилось стихотворное послание «К временщику», с подзаголовком «подражание Персией сатире: к Рубеллию» и с подписью: *Рылеев*.

Персий, рано угасший римский сатирик I века, оставил шесть сатир, но среди них нет ни одной обращенной к *Рубеллию* или заключающей гневную филиппику против *временщика*. Мало того, и в римской истории известен только один Рубеллий — высоконравственный мудрец, последователь стоиков, умерщвленный по приказу Нерона, который подозревал его в заговоре. К историческому Рубеллию отнюдь не могут быть отнесены резкие инвективы *рылеевской сатиры*. Спрашивается: был ли у *Рылеева* литературный источник?

Послание «К временщику», действительно, *подражание*, но только не Персией сатире, а сатире Милонова «К Рубеллию», выдавшего собственное произведение за перевод из Персия.

Милонов был современником и почти сверстником *Рылеева*, старше его всего лишь на три года. В то время, когда начинал свою литературную деятельность *Рылеев*, «ревностный поклонник Бахуса» Милонов «таскался по всем гауптвахтам и допивал век и талант свой с арестантами». <sup>87</sup> Он допил свой век до конца в 1821 году, только за два часа перед смертью отказавшись от вина.

*Рылеев* читал и ценил Милонова; ему нравилась обличительная патетика его стихов. «Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения Михаила Милонова, члена С. Петербургского Вольного Общества Словесности. Наук и Художеств», были выпущены в свет отдельной книгой «иждивением» Ивана Глазунова в 1819 году. Этой книгой спившийся и сбившийся с пути стихотворец как бы прошался с читателями.

В своей сатире «К Рубеллию» Милонов бичует надменного вельможу, пронырством и лестью расчистившего себе дорогу к почестям. Надутый царедворец может с презрением взирать на незнатного поэта, — этим он его не унижит:

Рубеллий! титла лишь с достоинством почтенны,  
Не блеском собственным...

Поэт не способен расточать «наемную хвалу» и ценой чести не купит благоволения вельможи:

Мне ль ползать пред тобой в толпе твоих льстецов?  
Пусть Альбий, Арзелай — но Персий не таков!  
Ты думаешь сокрыть дела свои от мира:  
В мрак гроба? Но и там потомство нас найдет;  
Пусть целый мир рабом к стопам твоим падет,  
Рубеллий! трепещи: есть Персий и сатира!

П. А. Плетнев так отозвался о сатире Милонова: «Вот стихи, достойные разгневанного римлянина!»<sup>38</sup> В мировой литературе можно бы подыскать много параллелей к стихам Милонова, — мысли его не новы. Их мог высказывать и разгневанный римлянин, и резонерствующий француз эпохи Просвещения.

Отдельные строки рылеевского послания почти дословно повторяют стихи Милонова, его влиянием обусловлены общий тон и композиция стихотворения. Но сатира Рылеева острее милоновской, а потому и оказалась злободневнее своей литературной предшественницы.

Надменный временщик, и подлый и коварный,  
Монарха хитрый льстец, и друг неблагодарный,  
Неистовый тиран родной страны своей,  
Внесенный в важный сан пронырствами злодей!  
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь,  
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!  
Твоим вниманием не дорожу, подлец;  
Из уст твоих хула достойных хвал венец! —

так начинает Рылеев. Милонов угрожает Рубеллию Персием и сатирой; у Рылеева есть и другая угроза — более страшная:

Тиран, вострепещи! Родиться может он!  
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!

Как в этих строках, так и в дальнейшем развитии своей сатиры, Рылеев уже вполне самостоятелен:

О, как на лире я потщусь того прославить,  
Отечество мое кто от тебя избавит!  
Под лицемерием ты мыслишь, может быть,  
От взора общего причины зла укрыть...  
Не зная о своем ужасном положении,  
Ты заблуждаешься в несчастном ослеплении,  
Как ни притворствуешь, и как ты ни хитришь,  
Но свойства злобные души не утаишь:

Твои дела тебя изобличат народу;  
Познает он — что ты стеснил его свободу,  
Налогом тягостным довел до нищеты,  
Селения лишил их прежней красоты...  
Тогда вострепещи, о временщик надменный!  
Народ тиранствами ужасен разъяренный!  
Но если злобный рок, злодея полюбя,  
От справедливой мзды и сохранит тебя,  
Все трепещи, тиран! За зло и вероломство  
Тебе свой приговор произнесет потомство!

Едва только на прилавках книжных магазинов появилась десятая книжка «Невского Зрителя», где было напечатано послание Рылеева, как весь читающий Петербург заговорил о нем. Номер журнала, заложенный на восемьдесят пятой странице, передавался из рук в руки со словами: «Прочтите, каково? Не в бровь, а прямо в глаз!» В образе «неистового тирана» петербуржцы узнавали Аракчеева. Сатирой Рылеева русская литература ответила *аракчеевщине* на «семеновскую историю», завершившуюся взятием под стражу целого полка и рассказыванием всего наличного его состава по разным армейским частям.

Возмущение Семеновского полка застало Рылеева в Петербурге. Сообщая своему острогожскому знакомому М. Г. Бедраре о петербургских событиях, Рылеев писал ему 23 ноября 1820 года: «Государя еще нет и не ожидают прежде половины декабря. В лейб-гвардии конноегерском полку была также неприятность против Потапова; офицеры еще в октябре было подали почти все в отставку; но теперь все кончилось благополучно. — Любовь к воинским занятиям в крови царей наших столь сильна, что даже и Александр Николаевич (двухлетний сын великого князя Николая Павловича. — К. П.) по приказанию Михаила Павловича вытягивает уже руки по шву. — Моя сатира к временщику уже печатается в 10 книге Невского Зрителя. Многие удивляются, как пропустили ее...»<sup>39</sup>

Как видно, послание «К временщику» было известно Бедраре, — следовательно, оно написано не только до волнений в Семеновском полку, но, возможно, еще до приезда Рылеева в Петербург в 1820 году. Однако обнародование его непосредственно вслед за возмущением семеновцев было едва ли не преднамеренной демонстрацией. Так именно оно и было воспринято большинством читателей. Публика оказалась догадливее цензуры, не разглядевшей

сквозь броню «эзопова» языка истинного намерения автора.

Послание «К временщику» — первое проявление политического свободомыслия Рылеева. Время и мишень для нанесения удара темным силам внутренней реакции были выбраны им как нельзя более удачно. Словесное покушение на самого Александра I не могло бы вызвать тогда такого всеобщего отголоска, какой имело это выступление против Аракчеева. В те годы он почти единолично воплощал в себе правительство, — он, облеченный небывалыми дотоле полномочиями, вплоть до права отдавать распоряжения от высочайшего имени.

Вот живой голос современника, пережившего аракчеевщину и разделявшего мысли и чувства русского Персия: «Где деспотизм управляет, там утеснение — закон: малые угнетаются средними, средние большими, сии еще вышшими; но над теми и другими притеснителями, равно как и над притесненными, была одна гроза: временщик. Одни карались за угнетения, другие за жалобы. Все государство трепетало под железною рукой любимца-правителя. Никто не смел жаловаться: едва возникал малейший ропот — и навечно исчезал в пустынях Сибири или в смрадных склепах крепостей.

В таком положении была Россия, когда Рылеев громко и всенародно вызвал временщика на суд истины; когда назвал его деяния, определил им цену и смело предал проклятию потомства слепую или умышленную покорность вельможи для подавления отечества.

Нельзя представить изумления, ужаса, даже можно сказать, оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему; но изображение было слишком верно, очень близко, чтобы обиженному вельможе осмелиться узнать себя в сатире. Он постыдился признаться явно, туча пронеслась мимо; оковы оцепенения пали, мало-помалу расторглись, и глухой шопот одобрения был наградою юного, правдивого стихотворца. Это был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластию».

Николай Бестужев, написавший эти строки, очевидно, не знал, что издатели «Невского Зрителя» чуть было не заплатились за помещение в своем журнале крамольного



стихотворения. За них вступился министр народного просвещения князь А. Н. Голицын. Этим, а также искусным шифром, к которому прибег Рылеев, объясняется то непостижимое, на первый взгляд, обстоятельство, что автор сатиры остался неуязвимым. Благодаря этому шифру, к ней, в сущности, трудно было придрасться. Черты отвлеченного временщика, временщика *вообще*, были перемешаны в ней с конкретными чертами ее прямого адресата. Но Бестужев неправ: Аракчеев и не мог *узнать* себя в образе рылеевского временщика, ибо в своей собачьей преданности к Александру никогда не принял бы на свой счет упреков в хитрой лести и в неблагодарности своему господину. Кроме того, не зная лично Рылеева, он ни разу не бросал на него «грозного взора». Всего этого было бы достаточно, чтобы отвести от себя обвинение поэта. Зато в глазах публики тожество между изображенным в послании собирательным типом временщика и его современным воплощением в лице Аракчеева было очевидным, а строка «Селения лишил их прежней красоты» не без основания истолковывалась как прямой намек на военные поселения.

Прием, оказанный читателями сатире Рылеева, определил дальнейшее направление жизненного и творческого пути поэта. «С этого стихотворения началось политическое поприще Рылеева, — пишет Н. Бестужев. — Пылкость юношеской души, порыв благородного негодования и меткие удары сатиры, безбоязненно нанесенные такому сопернику, обратили общее внимание».<sup>40</sup>

Это общее внимание вывело Рылеева с узкой усадебной тропинки Подгорного на широкую дорогу общественной деятельности.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Рылеев не любил Петербурга. В одном из своих поздних писем он писал: «Петербург тошен для меня; он студит вдохновение: душа рвется в степи; там ей просторнее, там только могу я сделать что-либо достойное века нашего; но, как бы на зло, железные обстоятельства приковылают меня к Петербургу».<sup>41</sup>

Уже с 1820 года становится ясным, что «железные обстоятельства» отныне властно свяжут Рылеева с северной

столицей. Сначала тяжёлые дела Тевяшовых, затем дворянские выборы, предположение взять в свои руки издание «Невского Зрителя»... Ему предлагают быть исправником в Софийском уезде, но он «наотрез отказывается от этой подлой должности». <sup>42</sup> Зато он охотно принимает место заседателя в санктпетербургской палате уголовного суда. Одновременно крепнут связи Рылеева с литературными кругами. Видные столичные литераторы смотрят на него как на равноправного члена писательской семьи. 25 апреля 1821 года Санктпетербургское Вольное Общество Любителей Российской Словесности удостоивает Рылеева званием члена-сотрудника, «отдавая должную справедливость трудам его, подъятым для пользы наук и отечественной словесности».

Первый литературный успех заставляет Рылеева задуматься над вопросом о положении писателя в обществе. Узко-литературные интересы, ссоры из-за оды, непонятны ему, смешат и возмущают:

Для пылкого поэта  
Как больно, тяжело  
Встречать везде ханжей,  
Корнетов-дуэлистов,  
Поэтов-эгоистов  
Или убийц-судей  
Досужих журналистов,  
Которые тогда,  
Как вспыхнула война,  
На юге за свободу, —  
О срам! о времена! —  
Поссорились за оду!..

К распрям о литературных жанрах и стиле, к чернильным боям, Рылеев и впредь останется безучастным. Его волнуют иные темы.

Пока конгресс монархов, начавшийся в Троппау и перенесенный в Лайбах, обсуждал способы подавления неаполитанской революции, пожар национально-освободительных восстаний разгорался все более и более: он вспыхнул на далеком острове Гаити, охватил Пьемонт и ярким заревом разлился по Балканам. Флигель-адъютант русской службы Александр Ипсиланти, «безрукий князь», как называл его Пушкин (Ипсиланти потерял руку в сражении под Дрезденом), подал сигнал к восстанию греков против турецкого владычества.

Известие о том, что потомки Леонида и Фемистокла поклялись отвоевать свою независимость, было встречено с восхищением в широких кругах русского общества. Греки, жившие в России, продавали свое имущество и вручали жизнь и деньги в распоряжение Ипсиланти. В течение нескольких месяцев кабинетная беседа и салонная болтовня питались греческим вопросом. «La cause grècque» обсуждалась и в петербургском доме графа Остерман-Толстого, и в московском особняке его родственников Тютчевых. Пушкин, захлебываясь от восторга, описывал первые «прекрасные минуты Надежды и Свободы», за которыми он следил из Кишинева. Студент Тютчев, воображая изгнание турок с европейской территории, острил: «Проезд целого народа через Мраморное море будет занимателем». <sup>43</sup> Все с нетерпением ожидали, какую позицию займет по отношению к грекам Россия. Многие кинулись изучать греческий язык.

Александр, заседавший в Лайбахе, вызвал туда Ермолова. Это сейчас же возбудило слухи о том, что знаменитый генерал назначается главнокомандующим в священной войне за освобождение Греции. Неспроста, казалось, Ипсиланти заявил в своей прокламации: «Великая держава одобряет подвиг великодушный». В армии и в оппозиционных кругах русского дворянства Ермолов пользовался очень большой популярностью. Независимость и резкость его суждений были известны. Вспоминали о том, как еще в 1814 году этот враг плацпарадной военщины заявил младшим братьям царя, что русские войска служат не государю, а отечеству и пришли в Париж защищать Россию, а не для парадов. Наконец, Ермолов был одним из рьяных противников Аракчеева.

Своим пылким сердцем Рылеев был вместе с греческими патриотами. Принимая слух за действительность, он славил будущие победы Ермолова:

Наперсник Марса и Паллады,  
Надежда сограждан, России верный сын,  
Ермолов! поспеши спасать сынов Эллады,  
Ты, гений северных дружин!  
Узрев тебя, любимец славы,  
По манию твоей руки,  
С врагами лютыми, как вихрь, на бой кровавый  
Помчатся грозные полки —  
И, цепи сбросивши невольничьего страха,  
Как феникс молодой,  
Воскреснет Греция из праха  
И с древней доблестью ударит за тобой!..

Толки о том, что русское правительство придет на помощь грекам и окажет им военную поддержку, действовали на впечатлительную душу Рылеева. Он не изжил еще доверия к либеральным обещаниям Александра. Ему думалось, что Александр «разгадал потребность века», что сердцу его «не чужды права народов и земель и их существенные нужды»; на него, в ожидании «рабства или свободы», обращены взоры всей Европы.

Смотри — священная война!  
Земля потомков Фемистокла  
Костями сынов удобрена  
И кровью греческой промокла...  
Взгляни на Запад! — там в борьбе  
Власть незаконная с законной..

Подобно Пушкину, призывавшему монархов склониться главой «под сень надежную закона», то есть под кров конституционной хартии, Рылеев в своей оде «Александру I» утверждает:

Равно ужасны для людей  
И мятежи и самовластье.  
Гроза народов и царей —  
Не им доставить миру счастье!  
Опасны для венчаных глав  
Не частных лиц вражды и страсти,  
А дерзкое презренье прав,  
Чрезмерность или дремота власти.

И, подобно тому как Пушкин еще верит в то, что, по мановению царской руки, над Россией может взойти «прекрасная заря» просвещенной свободы, Рылеев кончает свое стихотворное обращение к Александру зовом:

Спешите ж, монарх, на подвиг свой,  
Как витязь правды и свободы,  
На подвиг славный и святой, —  
С царями примирять народы!

Но Александр иначе понимал «примирение» монархов и народов. Лайбахский конгресс предложил королю неаполитанскому отменить конституцию, которой он уже дважды присягал. Ипсиланти был исключен из русской службы с запрещением возвращаться в Россию. Сверх того ему преподано было суровое наставление: вождь восставших греков не должен был забывать, что ни один народ не мо-

жет «подняться, воскреснуть и получить независимость темными путями заговора». <sup>44</sup> Россия в греческом вопросе обязывалась сохранять нейтралитет.

К довершению разочарования и стыда тех, кто еще верил в Александра, вместо почетной миссии, которую общественное мнение сулило генералу Ермолову, ему предстояла другая: царь прочил его в начальники русских войск, предназначавшихся для подавления пьемонтской революции. Но их услуги не понадобились.

Реакционная роль Александра «Благословенного» определилась бесповоротно.

## 2

Рылеев облегченно вздохнул полной грудью, когда «ухарский извозчик» миновал петербургскую заставу и колокольчик веселой трелью рассыпался в сельских просторах. Стояли майские дни 1821 года. Петербург, чиновничий, казарменный, аракеевский Петербург остался позади. На Украине Рылеева ожидали горячие объятия его Делии-Наташи, лепет их малыutki, расспросы острогожских знакомцев, донские вина и стерляди.

Счастьем и жизнерадостностью дышат письма Рылеева из Подгорного в Петербург: «Вот уже три недели, как я пирую на Украине... Я так доволен, так блаженствую, что право не хочется и вспоминать о шумной Пальмире Севера». <sup>45</sup>

Рылеев называл Подгорное «счастливым уединением». Его послание к М. Г. Бедраре, озаглавленное «Пустыня», не является биографическим источником в строгом смысле слова. Оно выдержано в распространенном тогда жанре и стиле «дружеских посланий», писавшихся с легкой руки Батюшкова неизменным трехстопным ямбом. В интерьере «уютного домика» острогожского «анахорета» мы найдем весь обязательный для подобных жилищ хозяйственный и литературный инвентарь: тут и «шаткий стол», и «одр простой», и заступ для мирных отряд в огороде. Разумеется, поэт довольствуется «скромным обедом», и ключевая вода для него слаще вина. Все богатство отшельника составляют... младая фантазия да полка с любимыми книгами.

У Пушкина в «Городке» также была библиотека изблюбленных авторов, услаждавших его одиночество. Сельская библиотечка Рылеева менее разнообразна; в ней почти

отсутствуют иностранные писатели. Чьи же имена значатся на корешках книжных переплетов, украшающих рылеевскую келью?

То Пушкин своенравный,  
Парнасский наш шалун,  
С Русланом и Людмилой;  
То Батюшков, резвун,  
Мечтатель легкокрылый;  
То Боратынский милый,  
Иль с громом звучных струн,  
И честь и слава Россов,  
Как диво-исполин,  
Парящий Ломоносов,  
Иль Озеров, Княжнин,  
Иль Тацит-Карамзин  
С своим *девятым томом*;  
Иль баловень Крылов  
С гремушкою и Момом,  
Иль Гнедич и Костров  
Со стариком Гомером,  
Или Жан-Жак Руссо  
С проказником Вольтером,  
Воейков-Буало,  
Жуковский несравненный,  
Иль Дмитриев почтенный,  
Иль фаворит его  
Милонов — бич пороков,  
Иль ветхий Сумароков,  
Иль Душеньки творец,  
Любимец Муз и Граций,  
Иль важный наш Гораций,  
Поэтов образец,  
Иль сладостный певец,  
Нелединский унылый,  
Или Панаев милый  
С Идиллией своей...

Правда, Рылеев перебирает таким образом большинство известных русских писателей XVIII — начала XIX столетия. Легче, пожалуй, пересчитать, кого он пропустил. При всем том нет оснований сомневаться в действительном знакомстве его с их произведениями. Мы уже знаем, чем он был обязан Батюшкову и Милонову; знаем, что в своих ранних любовных стихах он вторил Нелединскому-Мелецкому. Теперь, летом 1821 года, досугами его владел Карамзин, но не Карамзин-поэт, а Карамзин-историк. Уезжая из Петербурга, Рылеев захватил с собой только что вышедший девятый том «Истории Государства Российского», посвященный царствованию Ивана Грозного.

«Ну, Грозный! Ну, Карамзин! — писал Рылеев 20 июня из Острогожска Булгарину. — Не знаю, чему больше удивляться — тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита. Вот безделка моя — плод чтения девятого тома... Если безделка сия будет одобрена почтенным Николаем Ивановичем Гнедичем, то прошу тебя отдать ее Александру Федоровичу (Воейкову) в «Сын Отечества».<sup>46</sup>

Рылеев еще был в деревне, когда в номере «Сына Отечества» от 18 июля появилась его элегия «Курбский».

По сравнению с дружескими посланиями других авторов (Батюшкова, Пушкина, Жуковского, Вяземского, В. Пушкина), в «Пустыне» Рылеева бросается в глаза одна особенность: неспособность поэта беспечно наслаждаться своим уединением. Его гложет горькая мысль:

Но здесь мне жить не вечно,  
И час разлуки злой  
С пустынею немой  
Мчит время быстротечно!  
Покину скоро я  
Украинские степи  
И снова на себя  
Столичной жизни цепи,  
Суровый рок кляня,  
Увы, надену я!  
Опять подчас в прихожей  
• Надутого вельможи —  
Тогда, как он покой  
На пурпуровом ложе  
С престлницею младой  
Вкушает безмятежно,  
Ее лобзая нежно, —  
С растерзанной душой,  
С главою преклоненной  
Меж челядью златой,  
И чинно и смиренно  
Я должен буду ждать  
Судьбы своей решенья  
От глупого сужденья,  
Которое мне дать  
Из милости рассудит  
Ленивый полуцарь,  
Когда его разбудит  
В полудни секретарь...

Так в мирный словесный поток дружеского послания непрошенно врывается тема социального неравенства — плод петербургских наблюдений, а может быть и личного опыта.

Тяжело было думать о том, что в Петербурге ему сно-

ва придется столкнуться с «мучительными крючкотворствами неугомонного и ненасытного рода приказных». Но, несмотря на пленительную картину, нарисованную Рылеевым в «Пустыне», провинция в этот раз предстала перед ним не с одной только идиллической стороны. Как ни бессовестно «аютое отродье» приказных в столице, оно может почитаться образцом порядочности в сравнении с приказными провинциальными. Тут царят неприкрытый грабеж и произвол. «В столицах берут только с того, кто имеет дело, здесь со всех... Предводители, судьи, заседатели, секретари и даже копиисты имеют постоянные доходы от своего грабежа; а исправники...»<sup>47</sup> Их наезды могут сравниться разве лишь с набегами хищных печенегов и неистовых татар в далекие времена русской истории.

Эта обратная сторона провинциального сытого и безмятежного житья отталкивала Рылеева. Но от нее можно было укрыться

В объятьях дружбы нежной  
И родственной любви.

Раньше Рылеев, быть может, и не желал бы ничего лучшего. Теперь он стал иным. Он уже неспособен замкнуться в узкой сфере провинциальных интересов, в тесном кругу семейных радостей. Острогожск — тихий, славный, живописный городок, но... это все-таки провинция. Приятно, когда можно поговорить о литературе с любезной женой городничего, но... вечера в Санктпетербургском Обществе Любителей Российской Словесности интереснее и поучительнее. Отчего не угодить друзьям и не приветствовать стихами рождение сына у Бедраг или не оплакать в сентиментальной «надгробной надписи» кончину их молодой родственницы, но... это не та поэзия, к которой он чувствовал призвание. В письмах и на словах он бранит Петербург, пробует в сатирических очерках изобразить петербургские нравы, восклицая: «O tempoга, o mores!», но... в душный Петербург манит его беспокойный призрак славы.

И когда острогожские приятели уговаривают Рылеева навсегда обосноваться в их краях, он и слышать не хочет об этом:

Чтоб я младые годы  
Ленивым сном убил!  
Чтоб я не поспешил  
Под знамена свободы!



Нет, нет! тому вовек  
Со мною не случиться;  
Тот жалкий человек,  
Кто славой не пленится!  
Кумир молодой души —  
Она меня, трубою  
Будя в немой глуши,  
Вслед кличет за собою  
На берега Невы!

В тревожном шуме света,  
Средь горя и забот,  
В мои молодые лета,  
Быть может, для поэта  
Она венок совет.

«Железные обстоятельства», приковывавшие Рылеева к Петербургу, были не только вне его, но и в нем самом.

В половине августа 1821 года Рылеев с семьей тронулся в обратный путь. Он ехал медленно, так как ехал не на почтовых, а на своих.

По приезде он снял квартиру на Васильевском острове, в шестнадцатой линии. Это была квартира из четырех комнат, с кухней и людской, с конюшней, сараем и ледником во дворе.

Рылеев стал петербуржцем.

### 3

Еще в 1816 году, вскоре по возвращении русской армии из-за границы, в Петербурге возникло первое тайное общество политического характера, ставившее своей главной целью введение в России представительного правления. В феврале 1817 года общество это сложилось окончательно в *Союз Спасения* или *истинных и верных сынов отечества*. Членами Союза были преимущественно гвардейские офицеры: Александр Николаевич Муравьев, Никита Михайлович Муравьев, князь Сергей Петрович Трубецкой, братья Матвей и Сергей Ивановичи Муравьевы-Апостолы, Иван Дмитриевич Якушкин, Павел Иванович Пестель, Федор Николаевич Глинка, Михаил Сергеевич Лунин, Иван Павлович Шипов, князь Федор Петрович Шаховской, Михаил Николаевич Муравьев, князь Илья Андреевич Долгоруков, Петр Иванович Колошин, Иван Григорьевич Бурцов, Михаил Александрович Фонвизин, Илья Гаврилович Бибииков, князь Павел Петрович Лопу-

кий. Из штатских в Союз Спасения вступил Михаил Николаевич Новиков, правитель канцелярии малороссийского генерал-губернатора. В разработке устава приняли участие Пестель, Трубецкой, Долгоруков и Шаховской. Общее введение к уставу было написано Пестелем. В структуре общества, правилах приема и взаимоотношениях членов сказалось воздействие масонских форм и масонской обрядности. Многие члены Союза Спасения одновременно являлись членами масонских лож: Трех Добродетелей и Избранного Михаила.

Впоследствии Трубецкой вспоминал, что при оглашении устава одно место в пестелевском введении было встречено всеобщим возмущением членов Союза: это было то место, где говорилось, что «Франция блаженствовала под управлением Комитета общественной безопасности». Как видно, Пестель уже тогда держался более крайних взглядов, чем остальные члены Союза. О внутреннем несогласии в рядах тайного общества свидетельствует и Никита Муравьев. По его словам, устав Союза Спасения, «основанный на клятвах, правиле слепого повиновения и проповедывавший насилие, употребление страшных средств кинжала, яда», смущал многих членов общества, склонявшихся к тому, чтобы оно «ограничилось медленным действием на мнение». <sup>48</sup>

Умеренные взгляды одержали верх. В начале 1818 года Союз Спасения был преобразован в Союз *Благоденствия*.

Новый устав тайного общества, составленный Александром и Михаилом Муравьевыми, Трубецким и Колошиным, наметил четыре «отрасли» деятельности: человеколюбие, образование, правосудие и общественное хозяйство. Члены Союза Благоденствия обязывались «распространением между соотечественниками истинных правил нравственности и просвещения споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия». Им предписывалось вести борьбу со взяточничеством и произволом, высмеивать «нелепую приверженность к иноземному» и показывать «неразрывность собственного блага с общим и ничтожность так называемых личных выгод». Члены Союза Благоденствия не должны были отказываться от общественных должностей, в особенности по выборам дворянства, и на вверенном им участке деятельности искоренять всяческие злоупотребления. Борьба с торговлей крепостными и разъяснение помещи-

кам их обязанностей по отношению к крестьянам также входили в круг работы тайного общества. Руководящей нитью «всех действий, всех помышлений» членов Союза Благоденствия должно было быть *общее благо*.<sup>49</sup> По своему составу Союз Благоденствия был значительно шире первоначального Союза Спасения. В его рядах числилось большинство лиц, чьи имена составили впоследствии объемистый «алфавит декабристов».

До какой степени отвлеченным, несмотря на лучшие намерения своих составителей, был устав Союза Благоденствия, можно судить по впечатлениям Николая Ивановича Тургенева, завербованного в тайное общество князем Трубецким: «Я просмотрел устав. Общество ставило себе целью общественное благо. Члены Союза должны были быть разделены на несколько разрядов или секций, из коих одна занималась народным просвещением, другая — юстицией, третья — политической экономией и финансами и т. д. Во всем проекте, так же как и в отдельных частях его, шла речь только о теориях; намерение действовать, произвести перемены в государстве нигде не проявлялось».<sup>50</sup>

Распадение московского отделения Союза Благоденствия, усиление деятельности тайной полиции в связи с волнениями в Семеновском полку, слухи о том, что правительство прознало о существовании общества — все это привело к московскому съезду Союза Благоденствия в начале 1821 года. Съезд объявил Союз Благоденствия распущенным. На самом деле это был тактический маневр, нужный для того, чтобы устранить из своей среды случайных и ненадежных людей и чтобы не навлекать на себя подозрительности правительства. Тульчинская управа Союза Благоденствия не признала закрытия общества, и Пестель образовал на юге самостоятельную тайную организацию. В Петербурге Николай Тургенев пытался создать новое общество, но его намерение не увенчалось успехом. Фактически тайное общество временно прекратило свое существование.

Однако, если Союз Благоденствия как политическая организация и перестал существовать, то идеи, положенные в основу его деятельности, не заглохли и продолжали развиваться, главным образом в области литературы.

Особым параграфом своего устава (называвшегося, по цвету переплета, «Зеленой книгой») Союз Благоденствия

предусматривал распространение «вольных обществ», утвержденных правительством; но негласно руководимых Союзом через отдельных своих членов: «*Вольными обществами* называются в Союзе Благоденствия все общества, к цели его стремящиеся, но вне оного находящиеся... Приискание причин для оных предоставляется совершенно воле основателя, равно как и образование, число членов и предмет занятий. В оных должны быть порождаемы и укрепляемы: *согласие и единодушие, охота к взаимному сообщению полезных мыслей, познание гражданских обязанностей и любовь к отечеству*».

Член Союза Спасения и Союза Благоденствия Федор Глинка еще в 1816 году положил начало литературному обществу, которое в 1818 году было официально утверждено под названием Санктпетербургского Вольного Общества Любителей Российской Словесности. Должность председателя Общества бессменно занимал сам Глинка. Общество имело свой печатный орган — «Соревнователь просвещения и благотворения». Доход от продажи издания поступал на благотворительные нужды.

Рылеев не был членом Союза Благоденствия. Между тем его деятельность и в качестве заседателя в суде, и в качестве литератора как нельзя более отвечала принципам «Зеленой книги». Его знакомство с Глинкой состоялось еще до роспуска Союза Благоденствия, и, надо думать, беседы с «почтеннейшим Федором Николаевичем» не прошли для него бесследно. Он не уклонился от предложенной ему дворянством Петербургского уезда выборной должности и в течение нескольких лет исправлял ее не за страх, а за совесть. Развитию общественно-политического сознания Рылеева могло способствовать также пребывание его в масонской ложе Пламенеющей Звезды, находившейся в составе главной петербургской ложи Астреи. В списке 1820—1821 года он значился «мастером».

#### 4

«Он был большой демократ по своим сердечным симпатиям, — писал об этой поре деятельности Рылеева его биограф Нестор Котляревский. — К простому народу, с которым он должен был столкнуться, исполняя эти обязанности заседателя, он всегда чувствовал влечение, и

теперь получал возможность выступать защитником его интересов» (курсив мой. — К. П.).<sup>61</sup>

Это заключение биографа сразу же делает образ Рылеева статичным. Рылеев, следовательно, оставался одним и тем же на протяжении целого пятилетия своего бурного роста. Это неверно. Демократом он стал постепенно. Если говорить о Рылееве накануне декабря (разумея под этим кануном 1824—1825 годы), то слова его биографа в уточнении не нуждаются. Однако они требуют известного ограничения, если применять их к Рылееву начала двадцатых годов.

В горячие дни всеобщего возбуждения, вызванного греческим восстанием, Николай Иванович Тургенев писал в своем дневнике: «Надобно заступиться за греков. Но если для сего потребуются рекруты, то тогда я бы никогда не согласился на войну... Странно... что все — и дипломаты, и министры, и публика — более или менее принимают участие в греках... Все это хорошо. Но кто из всех этих господ принимает должное или какое-нибудь участие в судьбе наших крестьян? Положим, что о военных поселениях они говорить и мыслить не смеют; но о мужиках, о иге, их тяготящем, можно говорить без опасения. А тут долг более святой, нежели в отношении к грекам. Лучше ли жить многим из наших крестьян под своими помещиками, нежели грекам под турками? Нет ли между крестьянами жертв варварства, мучеников совершенных, не говоря уже о жертвах корыстолюбия? Сколько изнемогающих страдальцев! Сколько отцов, оплакивающих честь жен и детей! Сколько разоренных, томящихся в голоде? — А подписку запретили дублично делать для прокормления жителей Рославльского уезда. Боже праведный! Бог России! Когда правосудие твое будет действительно и для сей несчастной земли».<sup>52</sup>

У биографов Рылеева сложилось представление о мягкости его как помещика и об «избалованности» его крестьян. Можно почти ручаться за то, что его рука никогда не подымалась на крепостного. Но, будучи гуманным барином и заступаясь за крестьянские интересы в суде, Рылеев едва ли тогда задумывался над вопросом: является ли крепостное право законным правом помещика.

Перед нашими глазами красноречивый документ:

Евсей . . . . .	4 т.
Александр Ефремов . . . . .	2 т.
Федор Егоров . . . . .	2 т.
Лука Самойлов . . . . .	2 т.
Андрей кучер . . . . .	1.500 руб.
Андрей лакей . . . . .	1.000
Прокофий Семенов . . . . .	2 т.
Минай Григорьев . . . . .	1 т.
Алексей Васильев . . . . .	2 т.
Прокофий Семенов . . . . .	3 т.

---

20.500

Что это? Счет «за проданных людей», записанный собственной рукой Рылеева между его черновыми литературными набросками!<sup>53</sup> Несущественно, принадлежали ли эти «люди» самому Рылееву или же составляли «движимое имущество» Натальи Михайловны. Так или иначе, составляя приведенный выше счет, Рылеев противоречил положениям «Зеленой книги». Видно, в крестьянском вопросе агитация Союза Благоденствия, внушавшего, что люди — не товар, еще не затронула Рылеева по-настоящему. Русское рабовладельчество само по себе не находило еще в нем такого гневного обвинителя, как — скажем — в Николае Тургеневе, но против злоупотреблений помещиков своей властью над личностью крестьянина Рылеев уже тогда выступал в суде открыто и смело.

В 1821 году произошли крестьянские волнения в имении графа Разумовского — Гостилицы, Ораниенбаумского уезда. Изнуренные оброком и вымогательствами бурмистра, крестьяне вышли из повиновения и были усмирены силой. Дело «разумовских крестьян» разбиралось санкт-петербургской уголовной палатой. «Мнение Рылеева о сих несчастных, — повествует Николай Бестужев, — было написано с силою чувствований, защищавших невинное дело. Император, вельможи, власти, судьи, угрожающие силе, — все было против; один Рылеев взял сторону угнетенных: и это его мнение будет служить вечным памятником истины — свидетелем, с какой смелостью Рылеев говорил правду».<sup>54</sup>

Слухи о нелюбезном суде Рылеева сделали его имя популярным среди низших классов Петербурга. Тот же Бестужев передает характерный эпизод, сделавшийся достоянием народной молвы: «Однажды, по важному познанию, схвачен был какой-то мещанин и представлен бывшему тогда военному губернатору Милорадовичу. Сде-

лали ему допрос; но как степень виновности могла только объясниться собственным признанием, то Милорадович грозил ему всеми наказаниями, если он не сознается. Мещанин был невинен и не хотел брать на себя напрасно преступления. Тогда Милорадович, соскуча записательствами, объявил, что отдает его под уголовный суд, зная, как неохотно русские простолюдины вверяются судам. Он думал, что этот человек, от страха суда, скажет ему истину; но мещанин вместо того упал ему в ноги и с горячими слезами благодарил за милость.

— Какую же милость оказал я тебе? — спросил губернатор.

— Вы меня отдали под суд, — отвечал мещанин, — и теперь я знаю, что избавлюсь от всех мук и привязок; знаю, что буду оправдан! Там есть Рылеев: он не дает погибать невинным!

Это происшествие более всех похвал дает понятие о действиях сего человека». <sup>55</sup>

Оставляем на совести Бестужева достоверность этого рассказа, но он вполне правдоподобен. Известно, что и позднее Рылеев нередко заходил в губернское присутствие и предлагал свои услуги для хлопот за людей неграмотных и неимущих. А в его неподкупной честности никто не сомневался.

Занимая скромную должность заседателя уголовной палаты, Рылеев служил примером того, что не чин и не звание украшают человека, а человек красит звание и чин.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Уезжая в Воронежскую губернию весной 1821 года, Рылеев захватил с собою литературную новинку — девятый том «Истории Государства Российского» Карамзина. Не один он зачитывался в то время произведением русского Тацита: по словам мемуариста, улицы Петербурга опустели после выхода этого тома в свет, ибо все по своим кабинетам были «углублены в царствование Иоанна Грозного». <sup>56</sup>

«...Явился феномен, небывалый в России, — вспоминал другой современник, — девятый том Истории Государства Российского, смелыми, резкими чертами изобразивший все ужасы неограниченного самовластия и одного из ве-

ликих царей открыто наименовавший тираном, какому мало подобных представляет история!»<sup>57</sup>

Так труд историка, написанный с откровенно охранительной тенденцией, — тенденцией доказать «необходимость самовластья» (как язвил Пушкин), — помимо желания автора питал оппозиционные самодержавному правительству настроения читателей. В образе Грозного под пером Карамзина они увидели только царя-тирана, подобного тиранам античности. Однако пристрастный взор историка оказался глубже поверхностного читательского впечатления. Кровавый мартиролог жертв грозного царя не помешал Карамзину отдать должную дань государственному деятелю. Девятый том «Истории» заканчивается следующими словами: «В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими; но имя Иоанново блистало на Судебнике и напоминало приобретение трех царств могольских; доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь, как живые монументы царя-завоевателя; чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название *мучителя*, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доньне именует его только *Грозным*, не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее народа!»

Дар художественного повествования об исторических деятелях и событиях, присущий Карамзину, в последних томах его «Истории» достиг своего полного развития. Восклицание Рылеева: «Ну, Грозный! ну, Карамзин!» — понятно. Книга читалась с захватывающим интересом. Оценивая «Историю Государства Российского» как «создание великого писателя» и «подвиг честного человека», Пушкин писал несколько лет спустя: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, доселе им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалась, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом».<sup>58</sup>

Рылеев с юных лет интересовался историей. Еще в бытность свою кадетом он размышлял о «причинах падения власти пап». Позднее, на Дону, он любил прислуши-



ваться к голосам народных певцов, славивших героев и печальников украинского народа — Дорошенку, Палея, Сагайдачного. Но девятый том «Истории» Карамзина решительным образом подвинул Рылеева искать творческие вдохновения в историческом прошлом своей родины.

«Курбский» был первым опытом. Что-то скажет о нем петербургский Аристарх — Николай Иванович Гнедич? От его одобрения зависит судьба литературного замысла, общий абрис которого уже вырисовывается в голове Рылеева.

Свою «безделку» Рылеев называл «плодом чтения десятого тома» Карамзина. Несмотря на это, отношение к Курбскому у Карамзина и у Рылеева не одинаково. «Гражданские законы не могут быть сильнее естественного: *спасаться от мучителя*, — рассуждает Карамзин, — но горе гражданину, который за тирана мстит отечеству». По Карамзину Курбский имел много заслуг перед родиной, но он же «возложил на себя печать и долг на историка вписать гражданина столь знаменитого в число государственных преступников». Конечный вывод Карамзина не в пользу Курбского: «Увлеченный страстью, сей муж злополучный лишил себя выгоды быть правым и главного утешения в бедствиях: внутреннего чувства добродетели».<sup>59</sup>

Весь этот психологически сложный ход мысли писателя-историка не нашел отражения в думе Рылеева. В своем отношении к Курбскому он опирался не на оценку Карамзина, а на свои личные впечатления, сложившиеся при чтении его труда о «тиранстве Иоанна». Рылеев уделяет Курбскому исключительно страдательную роль; все укоры он щедро сыплет на голову Грозного. Правда, упреки эти вложены в уста Курбского, но чувствуется, что «вождь молодой», «из милой родины изгнанник», говорит языком автора.

За то, что изнемог от ран,  
Что в битвах край родной прославил,  
Меня неистовый тиран  
Бежать Отчества заставил:  
Покинуть сына и жену,  
Покинуть все, что мне священо,  
И в чуждую уйти страну  
С душою, грустью отягченной.

В Литве я ныне стал вождем;  
Но, ах! ни почести велики

Не веселят в краю чужом,  
Ни ласки чуждого владыки.  
Я все стенаю и грущу,  
И на пирах сижусь угрюмый,  
Чего-то для души ищу  
И часто погружаюсь в думы...

И в хижине и во дворце  
Меня глас внутренний тревожит,  
И мрачность на моем лице  
Веселость шумных пиршеств множит...

Не измена родной земле. (об этом нет ни слова в «элегии» Рылеева), не утрата «внутреннего чувства добродетели» сокрушает и мучит Курбского, некогда «мудрого в совете» и «страшного в брани» мужа. Его гнетет тоска по родине, поневоле им покинутой.

Увы! всего меня лишил  
Тиран отечества драгого.  
Сколь жалок, рок кому судил  
Искать в стране чужой покрова.

Своего Курбского Рылеев показывает на фоне оссиановского пейзажа: сверкающие молнии, прорезая ночную тьму, освещают задумчивую фигуру беглеца, сидящего на мшистом камне.

Одобрение Гнедича окрылило Рылеева. Осенью того же 1821 года он напечатал стихотворение «Святополк». Затем прочитал в Обществе Любителей Российской Словесности «Смерть Ермака». Это новое произведение Рылеева было единодушно признано достойным «особенного уважения», и автор из членов-сотрудников был переименован в действительные члены. Печатаемая «Смерть Ермака» в «Русском Инвалиде», редактор Воейков снабдил стихотворение Рылеева следующим примечанием: «Сочинение молодого поэта, еще мало известного, но который скоро станет рядом с старыми и славными».<sup>60</sup>

Обрами Курбского, Святополка и Ермака Рылеев открывал задуманный им цикл исторических картин. За этими первыми опытами последовали, пока вне хронологической связи друг с другом, «Боян», «Богдан Хмельницкий», «Артемон Матвеев», «Святослав», «Мстислав Удалый», «Глинский». Со второй половины 1821 года до начала 1823 года, то есть около полутора лет, Рылеев почти исключительно занят разработкой этого нового в русской литературе поэтического жанра. Рылеев не сра-

зу нашел для него точное определение. Лишь начиная с «Артемона Матвеева» он присвоил полюбившемуся ему жанру наименование «дума».

«История Государства Российского» продолжала быть для Рылеева настольной книгой. Из двадцати пяти законченных дум и шести черновых набросков пятнадцать, то есть почти половина, в разной степени восходят к Карамзину. Обычно исторические данные Карамзина служат фабульной канвой для рылеевских дум, но не всегда Рылеев ограничивается только этим: иногда он лишь перекладывает в стихи прозу Карамзина с ее запоминающимися художественно яркими деталями. Не столько *рассказать* об историческом событии, сколько *показать* его читателю ставил своей задачей Карамзин. Он давал ему не просто исторический материал, но материал, творчески обработанный рукою художника. Повествование Карамзина оставляло в памяти зрительно запечатлевающиеся *картины*; оставалось разнообразить и разукрасить их собственной фантазией.

«Ермак узнал о близости врага и, как бы утомленный жизнью, погрузился в глубокий сон со своими удалыми витязями, без наблюдения, без стражи. Лил сильный дождь, река и ветер шумели, тем более усыпляя казаков; а неприятель бодрствовал на другой стороне реки»<sup>61</sup>, — в этом рассказе Карамзина об обстоятельствах, предшествовавших гибели Ермака, содержится зерно рылеевской думы; совпадают даже отдельные фразы. Но Рылеев не довольствуется стихотворным пересказом своего источника. Он расцветчивает сибирский пейзаж красками с оссиановской палитры, употреблению которых, кстати сказать, он мог учиться у того же Карамзина-поэта:

Ревела буря, дождь шумел;  
Во мраке молнии летали;  
Бесперерывно гром гремел  
И ветры в дебрях бушевали...

Иртыш кипел в крутых брегах,  
Вздыхались седые волны,  
И рассыпалась с ревом в прах.  
Бия о брег казачьи чолны.

Рылеев не дает заснуть Ермаку. Один среди безмолвных шатров и неистовствующей природы, он не может спать: он должен бодрствовать и думать.

Товарищи его трудов,  
Побед и громозвучной славы,  
Среди раскинутых шатров  
Беспечно спали, близ дубравы.  
«О, спите, спите», — мнил Герой,  
«Друзья, под бурною ревущей;  
С рассветом глас раздастся мой,  
На славу иль на смерть зовущий!

Вам нужен отдых; сладкий сон  
И в бурю храбрых успокоит;  
В мечтах напомнит славу он  
И силы ратников удвоит.  
Кто жизни не щадил своей  
В разбоях, злато добывая:  
Тот думать будет ли о ней,  
За Русь святую погибая?

Своей и вражьей кровью смыв  
Все преступления буйной жизни  
И за победы заслужив  
Благословения отчизны —  
Нам смерть не может быть страшна;  
Свое мы дело совершили:  
Сибирь царю покорена,  
И мы — не праздно в мире жили!»

Если фабульную основу для большинства своих дум Рылеев нашел в «Истории» Карамзина, то композиционные особенности избранного им жанра сложились под впечатлением другой книги. То был сборник исторических песен — «*Spiewy Historyczne*» — Юлиана-Урсина Немцевича, одного из идеологов польского либерализма первой четверти XIX века. Его «*Spiewy Historyczne*» вышли в 1816 году и на протяжении четырех лет выдержали три издания.

Первое понятие о польском языке Рылеев получил еще в кадетском корпусе от своего товарища Зигмунтовича. После походов 1814 и 1815 годов конно-артиллерийская рота, в которой служил Рылеев, была расквартирована в старинной вотчине польских магнатов Радзивиллов — городке Несвиже, Минской губернии. Здесь Рылееву представилась возможность разговорной практики. Впоследствии он свободно читал и писал на польском языке. Когда именно попали в руки Рылееву «*Spiewy Historyczne*», мы в точности не знаем. В русской литературной среде они вообще пользовались большим

успехом. «Сын Отечества» провозгласил сборник Немцевича «единственным в своем роде творением, коим доселе ни один народ еще похвалиться не может». Александр Бестужев, сочлен Рылеева по Обществу Любителей Российской Словесности, изучая польский язык, хранил у себя под изголовьем «*Spiewy Historyczne*». «Я весьма доволен польскою поэзиею. Патриотизм в ней дышит и вымысел облекается часто в одежду новых мыслей и счастливых выражений», — писал он матери, имея в виду прежде всего песни Немцевича.<sup>62</sup>

Вот этим-то патриотическим направлением своих песен и пленил Рылеева Немцевич. «Напоминать юношеству о подвигах предков, знакомить его со светлейшими эпохами народной истории, сдружить любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти — вот верный способ для привития народу сильной привязанности к родине: ничто уже тогда сих первых впечатлений, сих ранних понятий не в силах изгладить. Они крепнут с летами и творят храбрых для бою ратников, мужей доблестных для совета». Читая эти строки из предисловия к «*Spiewy Historyczne*», Рылеев загорался желанием соревноваться с Немцевичем, и цель, одушевлявшая польского поэта, казалась ему возвышенной и «священной».<sup>63</sup>

Лишь один из сюжетов рылеевских дум обязан своим возникновением непосредственно Немцевичу — «Глинский». Все остальные думы Рылеева свободны от тематических совпадений с польским сборником. Но зато автор «*Spiewy Historyczne*» помог Рылееву определить и разработать самый жанр исторической думы.

«Ваши *Исторические песни* были для меня отличным образцом», — писал Рылеев Немцевичу.<sup>64</sup> Тем не менее, несколько лет спустя, в предисловии к отдельному изданию «Дум», Рылеев отстаивал русское, национальное происхождение этого жанра: «Желание славить подвиги добродетельных или славных предков для русских не ново; не новы самый вид и название «думы». Дума — старинное наследие от южных братьев наших, наше русское, родное изобретение. Поляки заняли ее от нас. Еще до сих пор украинцы поют думы о героях своих: Дорошенке, Нечае, Сагайдачном, Палее, — и самому Мазепе приписывается сочинение одной из них. Сарницкий свидетельствует, что на Руси пелись элегии в память двух храбрых братьев Струсов, павших в 1506 году в битве с

валахами. «Элегии сии, — говорит он, — у русских думами называются. Соглашая заунывный голос и телодвижения со словами, народ русский иногда сопровождает пение оных печальными звуками свирели».

Между сборником исторических песен Немцевича и думами Рылеева существует главным образом внешняя связь. Выполняя задачу популяризации польской истории, Немцевич создал свои «*Spiewy*» по поручению варшавского Общества Любителей Наук. Откликнувшись на возросший интерес к русской истории, Рылеев писал свои думы как бы по негласному заданию Союза Благоденствия, вся деятельность которого к этому времени сосредоточилась в одной «отрасли просвещения». Но внутренний состав рылеевского цикла отличен от сборника Немцевича. За очень немногими исключениями, «*Spiewy Historyczne*» представляют сплошную цепь прославлений военной доблести польских национальных героев. Гражданские достоинства уважаются Немцевичем, но не привлекают к себе его особенного внимания. Только в одной песне он говорит: «Счастлив, кто в мирном уделе творит суд землякам; достоин зависти, кто на поприще мужества расширяет границы государства; но тот велик, тот славен, кто служит родине и советом, и мечом». Наоборот, для Рылеева выше всего *гражданское мужество*, а *воинская доблесть* в его глазах лишь часть более общего понятия *гражданского долга*. Любимый герой Немцевича — рыцарь; любимый герой Рылеева — «прямой» гражданин. Словами одного из своих рыцарей Немцевич внушает молодому поколению: «Кто край свой любит, кто бога боится, у кого есть конь да сабля, тому все ни почем». <sup>85</sup> Иного ждет от русского юноши Рылеев:

Да закипит в его груди  
Святая ревность гражданина!  
Любовью к родине дыша,  
Да все для ней он переносит  
И, благородная душа,  
Пусть личность всякую отбросит.  
Пусть будет чести образцом,  
За страждущих — железной грудью.  
И вечно заклятым врагом  
Постыдному неправосудью.

Верный традиции классицизма, вызывавшего тени прошлого в целях нравственно воспитательных, Рылеев

ведет своего читателя в глубь отечественной истории, чтобы оттуда, начав с Вещего Олега, пуститься в обратный путь — к современности. Он проводит своего читателя через длинную галерею истории, мимо *говорящей стены*, с которой смотрят изображения наших исторических предков. И возникают, сменяя друг друга, древнерусские князья — воины и воители — Олег, Святослав, Мстислав Удалой, Михаил Тверской, Дмитрий Донской, «соловей старого времени» Боян, костромской<sup>6</sup> крестьянин Иван Сушанин, не пожелавший купить жизнь ценою предательства, освободитель Украины — «богом данный» Хмельницкий, «друг истины и добра» Артемон Матвеев, «патриот» Волинский, не стерпевший унижительного ярма бироновщины, «дивный бард» — гражданин в поэзии Державин. Все они писаны без светотеней, без полутонов. Все это — *образцы, примеры*. Светотени наложены только на изображения Бориса Годунова и Глинского. Сплошь черными красками намечены братоубийца Святополк и Дмитрий Самозванец. В исторической панораме Рылеева выделяются писанные с любовью, неизменно положительные женские образы: мудрая — в духе просвещенного абсолютизма — княгиня Ольга, достойная соперница классических римлянок Рогнеда, дочь Глинского, разделяющая заточение отца, жена Чаплицкого, освобождающая из тюрьмы Богдана Хмельницкого, образец супружеской верности — в несчастье и до гроба — Наталья Долгорукова. Лишь в набросках сохранились образы новгородского «республиканца» Вадима и павшего временщика Меншикова. Еще в 1823 году в голове Рылеева рисовался второй цикл дум. Ему хотелось изобразить Рюрика, Владимира Мономаха, Пожарского и Минина, Гермогена, царевну Софью, Петра Великого, Миниха, Румянцова, Суворова, Потемкина и других исторических деятелей. Неотделанные «Владимир Святой» и «Яков Долгоруков» и начатые «Вадим», «Марфа Посадница» и «Меншиков в Березове» являются разрозненными звеньями этой несобранной цепи. Так замышлял Рылеев переписать в стихах чуть ли не всю русскую историю. План рискованный, ибо никакое, даже самое гигантское, поэтическое дарование не смогло бы удержаться на равной высоте при выполнении подобного задания. Можно заранее сказать, что Рылеев неминуемо должен был бы повторять самого себя. Уже и первый цикл дум показал, что автор его не

был в силах преодолеть трудностей добровольно заданного себе урока.

Пушкин дал суровую оценку «Думам» Рылеева: «...все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих мест (*Loci topici*). Описание места действия, речь героя и нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен (исключая *Ивана Сусанина...*)». <sup>68</sup>

Это однообразие дум стало в особенности очевидным, когда Рылеев собрал все свои ранее напечатанные думы и издал их в 1825 году отдельной книгой. Получилось нечто вроде сборника стихотворных текстов к альбому картин на исторические сюжеты. Совершенно такое же впечатление производят несколько не вошедших в это издание дум и черновые наброски, относящиеся ко второму циклу. Творческое воображение поэта как бы ограничено не только дидактической целью, но и заранее подсказанными позами и выражениями лиц героев.

На «камне мшистом, в час ночной» сидит Курбский; на «черном пне», в полночь сидит царевич Алексей\*. Вокруг того и другого шумит и «страшно воеет» темный, дремучий лес.

На «диком бреге Иртыша» сидит Ермак; «над кипящей пучиною» Волхова сидит Вадим. В обоих последних случаях молнии бороздят небо.

Одинок, погрузившись в свои думы, сидят на шумных пирах песнопевец Боян и Владимир Красное Солнце.

«Под сводом обширным темницы подземной» сидит скованный тяжелой цепью Глинский; «среди мрачной и сырой темницы», в оковах, лежит Хмельницкий; «в крепости, в цепях» сидит кабинет-министр Воынский. Михаила Тверского Рылеев выводит на площадь, но и там он садится, отягченный цепями.

В осеннюю полночь приходит Ольга к могиле Игоря; осенней порой приходит Наталья Долгорукова на берег Днепра, чтобы бросить в клубящиеся волны реки свой обручальный перстень. Осенний ветер разносит «вещания» Ольги и стенания Натальи.

Все герои Рылеева непременно задумчивы и почти все-

---

\* В неоконченной думе об основании города Переяславля («На гордой крутизне берегов...») князь «сидит на пне седом».



гда печальны. «Глубокая горестъ» воздымает «младые перси» Рогнеды; с «мрачной грустью» в стесненной груди вспоминает о былой славе Михаил Тверской. «Склоненный на длань головою», Глинский летает «угрюмою думой в минувшем»; «на длань склонен главою», взирает на шумные толпы народа Владимир; «склоняся на руку главою, угрюмый, мрачный и безмолвный», коротает томительные часы изгнания Меншиков.

Однообразен и пейзаж дум, условный северный пейзаж Макферсона-Оссиана и русских его подражателей, растрепанный ветром и озаренный луной или молниями. Лишь в «Иване Сусанине» узнаем мы родную русскую картину: скрипит снег под ногами, солнце пробирается сквозь чащу дремучего леса, сосны и ели касаются земли своими отяжелевшими ветвями, дятел долбит дуплистую иву. Да еще одна дума выделяется в общем ряду именно своим пейзажем, это — «Петр Великий в Острогжске». Но если в «Иване Сусанине» пейзаж составляет фон, деталь, то во второй думе пейзаж — едва ли не главное. По существу вся дума не более как историческая справка, свободно уместяющаяся в двух-трех строках: в 1696 году, в Острогжске, произошло свидание Петра I с Мазепою, причем Мазепа клялся царю в своей верности. Стихотворение представляется отрывком какого-то иного, большого замысла. Оно построено в виде двух развернутых вопросов: «кто сей муж», павший ниц перед Петром, и «где произошла их встреча? На первый вопрос автор отвечает кратко:

Сей пришлец в стране пустынной  
Был Мазепа, вождь седой;  
Может быть, еще невинный,  
Может быть, еще герой.

Отвечая на второй вопрос, Рылеев пользуется случаем набросать хорошо знакомую ему панораму мирного Острогжска и его живописных окрестностей:

Там, где волны Острогощи  
В Сосну тихую влились;  
Где дубов сенистых рощи  
Над потоком разрослись;  
Где с отвагой молодецкой  
Русский крымцев поражал;  
Где напрасно Брюховецкой  
Добрых граждан возмущал;

Где плененный славы звуком,  
Поседевший в битвах дед  
Завещал кипящим внукам  
Жажду воли и побед;  
Там, где с щедростью обычной  
За ничтожный, легкий труд  
Плод оратаю сторичный  
Нивы тучные дают;

Где в лугах необозримых,  
При журчании волны,  
Кобылиц неукротимых  
Гордо бродят табуны;  
Где, в стране благословенной,  
Потонул в глуши садов  
Городок уединенный  
Острогожских казаков.

Этот списанный с природы, а не условно романтический пейзаж придает всей думе отпечаток искренней поэтичности и не свойственной другим думам исторической убедительности. Понятно, почему Пушкин отметил «чрезвычайную оригинальность» заключительных строф этой думы. В них он усмотрел тот же местный колорит, что выгодно отличал «Ивана Сусанина» от остальных внеисторичных и ходульных героев рылеевских дум.

Описание места действия, речь героя и *нравоучение* — так определил Пушкин составные элементы рылеевской думы как литературного жанра. Это, пожалуй, исчерпывающее определение. Иногда только речь героя заменяется его размышлением, а нравоучение не всегда дается в виде концовки. Вообще же нравоучение, дидактика — основное в думах Рылеева, — то, ради чего они были написаны.

Свободны от дидактики только две думы, наименее характерные для всего цикла, — «Олег Вещий» и «Мстислав Удалий». Сам Рылеев назвал «Олега Вещего» не думой, а исторической песней, справедливо находя, что «она слаба и неудачно исполнена». В думе «Мстислав Удалий» без малейшего налета дидактизма изображено единоборство тмутараканского князя Мстислава с косожским великаном Редедей. Не отвечающей жанру думы Рылеев считал также «Рогнеду». По его словам, это «более повесть, нежели дума».<sup>67</sup> Действительно, драматическая динамичность сюжета, выведение героев из состояния раздумчивого бездействия, наконец длина стихотворения, чуть ли не втрое превышающая обычный размер рылеев-

ской думы, заставляют отвести «Рогнеде» особое место среди ее соседей. Но зато дидактическая нить и тут заметна от начала до конца.

*Напоминать о «гражданственных» подвигах предков* — этот лейтмотив проходит через большинство дум Рылеева. Ему все равно, как мыслили и говорили в X веке, — так ли, как мыслит и говорит он сам, или иначе: он заставляет Рогнеду проникнуться убеждением в назидательной пользе подобных «напоминаний». Рассказывая сыну Изяславу о деяниях его деда, полоцкого князя Рогволода, Рогнеда говорит ему языком современников Рылеева:

Пусть Рогволодов дух в тебя  
Вольет мое повествованье;  
Пускай оно в груди молодой  
Зажжет к делам великим рвенье,  
Любовь к стране твоей родной  
И к притеснителям презренье.

Иногда эта дидактическая тенденция Рылеева подчеркивается композиционной двухплановостью думы. Дума «Святослав» открывается образом молодого гусара, стоящего на берегу Дуная. «Крылатой думою летая», вспоминает он о прошлых боях, «гремевших на брегах Дуная». Здесь некогда киевский Святослав увещал своих воинов не посрамить отечества, крепко стоять перед врагом и лучше лечь костями на поле боя, чем обратиться в постыдное бегство, — «мертвии сраму не имут».

О князь, давно истлел твой прах,  
Но жив еще твой дух геройский!  
Питая к славе жар в сердцах,  
Он окрыляет наши войски!

Он там, где пыл войны кипит,  
Орлом ширясь перед строем,  
Чудесной силою творит  
Вождя и ратника героем!

Залп вестовой пушки прерывает размышления молодого гусара. Призывная труба возвещает о начале битвы. Сражение оканчивается победой русских. А упоминание о гибели генерала Вейсмана указывает на то, что время и место действия своей думы Рылеев приурочивает к сражению при турецкой деревне Кучук-Кайнарджи 24 июля 1773 года.

Сочетание двух исторических планов наблюдается и в думе «Державин». Тут молодой певец (сам Рылеев), пришедший поклониться могиле поэта в Хутынском монастыре, воспламеняется примером Державина и хочет подражать ему.

Чаще всего дидактические сентенции вложены автором дум в уста самих героев. То это наставление Ольги сыну Святославу — как править:

Отец будь подданным своим  
И боле князь, чем воин;  
Будь друг своих, гроза чужим  
И жить в веках достоин!

то это сокрушительные вздохи Вадима о позоре иноземного владычества:

До какого нас беславия  
Довели вражды граждан!  
Насылает Скандинавия  
Властелинов для славян! \*

то предсмертное исповедание Сусанина, открытый вызов врагу и гордый завет потомству:

Предателя, мнили, во мне вы нашли:  
Их нет и не будет на русской земли!  
В ней каждый отчизну с младенчества любит  
И душу изменой свою не погубит.

Кто русский по сердцу, тот бодро и смело  
И радостно гибнет за правое дело!

Для понимания общественно-политических взглядов Рылеева в пору создания дум в особенности важны две из них — «Волинский» и «Державин». Первая была прочитана в заседании Санктпетербургского Вольного Общества Любителей Российской Словесности 4 сентября 1822 года и напечатана в октябрьском выпуске «Новостей Литературы», вторая помещена в «Сыне Отечества» от 27 ноября того же года. По времени обе думы написаны

---

\* Вадиму вторит Михаил Тверской:

До какого униженья, —  
Он мечтал, потупя взор, —  
Довели нас заблужденья  
И погибельный раздор!

на близком расстоянии одна от другой. Между ними есть черты сходства. В образе Воынского Рылеев изобразил примерного гражданина на поприще общественно-политическом, патриота-тираноборца, в образе Державина — идеального гражданина-поэта, «гремящего грозою против зла».

Под пером Рылеева — «верный друг народа», бескорыстный ревнитель «общественного блага» Воынский так же мало похож на тщеславного и нечистого на руку кабинет-министра Артемия Петровича Воынского, как мало похож был в его изображении первый политический эмигрант Курбский на изменившего не одному Ивану Грозному, но и родине, боярина и воеводу Андрея Михайловича Курбского. Историческая точность и историческое правдоподобие, впрочем, не слишком заботили Рылеева. Его, любившего все русское и готового порой, подобно Чацкому, ратовать за «премудрое незнание иноземцев», подкупала в Воынском прежде всего кипучая ненависть к немецкой партии Бирона. Печатаая свою думу в «Новостях Литературы», Рылеев присоединил к ней историческое примечание. Перечислив основные факты служебной деятельности Воынского, он пишет: «...движимый патриотизмом и разделяя всеобщую ненависть к Бирону, воспользовался он однажды удобным случаем, чтобы подать императрице челобитную, в коей представлял о необходимости удалить Бирона. Мстительный любимец узнал о сем и решил погубить мужа-патриота... О характере Воынского князь Шаховской в записках своих говорит, что он разговорами своими поселял высокое мнение о любви своей к отечеству, о ревности ко славе монаршей и усердии к пользе общественной». Рылеев знал, что современники жаловались на «крайнюю искательность, гордость и сварливость» Воынского, но ведь они же отзывались о нем как о «любителе отечества», приверженном к «пользам общим». Слова эти ласкали слух Рылеева. Не хотелось верить, чтобы этот вельможа, размышлявший о государственных преобразованиях и толковавший о правосудии, собственноручно избивал «пииту» и «де сианс академии» секретаря Василия Тредьяковского. Хотелось видеть в «герое» Воынском духовного предка новейших «истинных и верных сынов отечества», лелеявших свои — пока еще не многим более радикальные — планы общественного переустройства. В самом деле, если в сознании людей двадца-

тых годов легендарный Вадим, — правда, еще с легкой руки Княжнина, — превращался в истого республиканца, то уже Волынский с не меньшим правом мог посмертно претендовать на звание почетного члена Союза Благодеяния. По крайней мере, любой из членов этого политического сообщества, вероятно, не отказался бы подписаться под такую проповедь идей патриотизма, свободы и гражданского долга, глашатаем которых, волею Рылеева, выступил Волынский:

Не тот отчизны верный сын,  
Не тот в стране самодержавья  
Царю полезный гражданин,  
Кто раб презренного тщеславья!  
Пусть будет муж совета он  
И мученик позорной казни,  
Стоять за правду и закон,  
Как Долгорукий, без боязни;

Пусть будет он, дыша войной,  
Врагам, в часы кровавой брани,  
Неотразимую грозой,  
Как покорители Казани;  
Пусть удивляет... Но когда  
Он все творит то из тщеславья:  
Беда, несчастному, беда!  
Он сын не славы, а бесславья.

Глас общий цену даст делам;  
Изобличатся вероломства —  
И на проклятие векам  
Предастся раб сей, от потомства.  
Не тот отчизны верный сын,  
Не тот в стране самодержавья  
Царю полезный гражданин,  
Кто раб презренного тщеславья!

Но тот, кто с сильными в борьбе  
За край родной или за свободу,  
Забывши вовсе о себе,  
Готов всем жертвовать народу,  
Против тиранов лютых тверд,  
Он будет и в цепях свободен,  
В час казни правотою горд  
И вечно в чувствах благороден.

Повсюду честный человек,  
Повсюду верный сын отчизны,  
Он проживет и кончит век,  
Как друг добра, без укоризны.  
Коваль ли станет на граждан  
Пришлец иноплеменный цепи:

Он на него — как хищный вран,  
Как вихрь губительный из степи!

И хоть падет, но будет жив  
В сердцах и памяти народной,  
И он, и пламенный порыв  
Души прекрасной и свободной.  
Славна кончина за народ!  
Певцы, герою в воздаянье,  
Из века в век, из рода в род  
Передадут его деянья.

Вражда к тиранству закипит  
Неукротимая в потомках —  
И Русь священная узрит  
Власть чужеземную в обломках...

Гражданскому пафосу этих строк созвучна патетическая интонация «младого певца» в думе «Державин». В этом отношении особенно показательна ранняя редакция думы. Имя Державина для Рылеева только повод, чтобы нарисовать законченный образец поэта-гражданина.

С деревьев падают желтые листья, в полях свистят осенние ветры, догорающие лучи солнца трепещут на золотых главах Хутынского монастыря. В ограде обители, «какой-то думой омрачен», бродит «младый певец». Но вот он останавливается перед надгробным памятником Державина и увлажненными глазами читает надпись. Затем, как и подобает рылеевским героям, он садится в мрачной задумчивости «у подножия гробницы» и долго сидит, молча и угрюмо глядя на памятник:

Но что, — вещал он наконец, —  
Что я напрасно здесь тоскую?  
Не умер пламенный певец:  
Он пел и славил Русь святую!  
Он выше всех на свете благ  
Общественное благо ставил,  
И в огненных своих стихах  
Вождей Екатерины славил.

О так! нет выше ничего  
Предназначения Поэта;  
Святая правда — долг его;  
Предмет — полезным быть для света.  
Служитель избранный Творца,  
Не должен быть ничем он связан;  
Святой, высокий сан Певца  
Он делом оправдать обязан.

К неправде он кипит враждой,  
Ярмо граждан его тревожит;  
Как вольный славянин душой,  
Он раболепствовать не может.  
Повсюду тверд, где б ни был он —  
Наперекор судьбе и Року;  
Повсюду честь — ему закон,  
Везде он явный враг пороку.

Греметь грозою против зла  
Он чтит святым себе законом,  
С спокойной важностью чела  
На эшафоте и пред троном;  
Ему неведом низкий страх,  
На смерть с презрением взирает,  
И доблесть в молодых сердцах  
Стихом свободным зажигает.

Ему ли ожидать стыда  
В суде грядущих поколений?  
Не осквернит он никогда  
Порочной мыслию творений.  
Повсюду правды верный жрец,  
Томяся жаждой чистой славы,  
Не станет портить он сердец  
И развращать народа нравы.

Поклонник пламенный Добра,  
Ничем себя не опорочит  
И освященного пера  
В нечестьи буйном не омочит.  
Над ним и Рок не властелин!  
Он истину достойно ценит,  
И ей нигде, как верный сын,  
И в тайных думах не изменит!

Таков наш бард Державин был;  
Повсюду чести неизменный,  
Царям ли правду говорил,  
Иль поражал порок надменный!..

Несмотря на витийственную гражданственность своих од, исторический Державин далек от полного соответствия с этим образом «вольного славянина». Между ними, примерно, такое же соотношение, как и между двумя Волинскими — действительным и вымышленным. Это, повидимому, бросилось в глаза самому Рылеву. Перед отдачей думы в печать он смягчил некоторые строки, чересчур расходившиеся с реальным образом Державина, устранил «эшафот» и вставил несколько почти дословных цитат из стихотворений самого Державина.

Начиная работать над своими думами в 1821 году, Ры-



леев испрашивал на первую из них благословения у Николая Ивановича Гнедича. Теперь самую из заветных своих дум — «Державин» — он посвящает ему же.

«Художник лучший наш и лучший гражданин» — так от имени молодого поколения поэтов назвал Гнедича Боратынский. В русскую гражданскую антологию начала XIX века Гнедич внес свой вклад — стихотворения «Общежитие» и «Перуанец к испанцу». В устах русских ревнителей «общего блага» гнедичевское обличение колониального рабства звучало как скрытое порицание отечественных зол. Литературная репутация Гнедича была очень высока. Его долгий и прилежный труд над переводом «Илиады» мог поспорить с многолетним подвижничеством Карамзина. А популярность Гнедича как гражданского поэта еще более возросла в начале двадцатых годов, когда переводчик Гомера приветствовал национальное пробуждение Эллады и переложил на русский язык «Военную песнь» греческого поэта-патриота Риги.

Гнедич привлекал к себе Рылеева не только как переводчик древнегреческого эпоса, отважно расторгший пути традиционного шестистопного ямба ради «приятной звучности» гекзаметра; он привлекал его глубокой принципиальностью своего взгляда на общественное призвание поэта.

Близкий по своим личным связям к Союзу Благодеяния, Гнедич произнес 13 июня 1821 года в Санктпетербургском Вольном Обществе Любителей Российской Словесности программную речь о задачах литературы. Речь эта тогда же была напечатана. Основные положения ее были подхвачены Рылеевым. Вся его литературная деятельность явилась как бы живым развитием тезисов Гнедича: «Перо писателя может быть в руках его оружием более могущественным, более действительным, нежели меч в руке воина». Требуя от писателя, чтобы он трудился «не для человека, но для человечества», Гнедич призывал своих собратьев по оружию: «Каждый из нас есть или быть должен виновником или светлой мысли, или благородного чувства в душе юной, которые, может быть, глубоко пустив корни свои, сделают вдохнувшего их, так сказать, творцом нравственного бытия человеческого». Каким образом достигает этого писатель? Выбирая для себя предметы «важные», «великие», тем самым вызывая в читателях «думы высокие, восторги пламенные, святое пожертвование собою для блага людей», писатель должен

помнить, что его долг — «пробудить, вдохнуть, воспламенить страсти благородные, чувства высокие, любовь к вере и отечеству, к истине и добродетели». Писатель обязан беречь нравственную независимость и не должен искать себе знатных покровителей. «Фортуна и меценаты продают благосклонности свои за такие жертвы, которых почти нельзя принести не за счет своей чести». <sup>68</sup>

Требования Гнедича были требованиями времени. Публицистический историзм дум Рылеева как нельзя лучше отвечал задаче пробуждения «страстей благородных» и «чувств высоких». Вспомним, как в тех же целях майор Владимир Федосеевич Раевский обращал внимание Пушкина на национально-исторические сюжеты. Он доказывал поэту, что незачем искать вдохновения в античной мифологии и в истории греков и римлян, когда у нас есть свои отечественные герои. К чему Бруты, когда есть Вадимы? Одновременно к тому же призывал Пушкина и Гнедич. «Тень Святослава скитается невоспетая», — писал он ему. <sup>69</sup> И неслучайно в черновых тетрадах Пушкина наряду с планом поэмы о Диане и Актеоне появляется план поэмы о Мстиславе Удалом. Не ограничиваясь мыслью воспеть «Мстислава древний поединок», Пушкин начинает классическим александрийцем трагедию о Вадиме, затем бросает ее и принимается за романтическую поэму на ту же тему. Арестованный в 1822 году по обвинению в пропаганде вольнодумных идей среди солдат, Владимир Раевский в своем заключении воспевает колыбель русской свободы — новгородско-псковскую вольницу.

Национально-исторические темы в русской литературе первой половины двадцатых годов часто приобретали значение легальной формы, в которую рядились свободолюбивые настроения русского общества. Искали героических сюжетов в прошлом, чтобы доказать преемственность и исконно-национальное происхождение русского свободолюбия. Устами исторических деятелей иносказательно касались назревших вопросов современности.

Нам трудно скрыть улыбку, когда у Рылеева мы читаем следующие слова, якобы сказанные Дмитрием Донским перед битвой на Куликовом поле:

Летим — и возвратим народу  
Залог блаженства чуждых стран:  
Святую праотцев свободу  
И древние права граждан.

И не менее странно звучит ответный клик русских воинов XIV столетия:

За вольность, правду и закон!

Но подобные анахронизмы не емушали современников Рылеева. В художественных произведениях на исторические темы они очень мало интересовались археологической точностью. Пушкин, возмущавшийся тем, что Рылеев увидел на щите Олега «герб России», в действительности принятый пять веков спустя, быть может, был исключением. Вообще же именно такие анахронизмы, как речь Дмитрия Донского, получали в ушах читателей особо вынятный смысл, глубоко злободневное звучание. Таков был своеобразный эзопов язык стихотворной публицистики, язык лозунгов.

Неудивительно, что прием, оказанный думам Рылеева, был на редкость благоприятный. «У этого Рылеева есть кровь в жилах, и думы его мне нравятся», — писал 3 июля 1822 года князь Петр Андреевич Вяземский другу своему Александру Ивановичу Тургеневу. С появлением в печати новых дум впечатление это не ослаблялось. Через полгода тот же Вяземский пишет самому Рылееву: «С живым удовольствием читаю я думы, которые постоянно обращали на себя и прежде мое внимание. Они носят на себе печать отличительную, столь необыкновенную посреди пошлых и одноличных или часто безличных стихотворений наших. Что и в хороших стихах, когда нет в них особенного характера? Стройные, но несвязные, но ничего не выражающие аккорды в поэзии хороши в ребячестве. В зрелости лет нужна цель, нужно намерение». Это намерение, одушевлявшее Рылеева, отмечали и рецензенты, говоря, что своими «умными, благородными и живыми думами» Рылеев «пробил новую тропу в русском стихотворстве, избрав целью возбуждать доблести сограждан подвигами предков».<sup>70</sup>

Современники Рылеева не знали, что свою самую задушевную думу, свою поэтическую исповедь — «Державин» — Рылеев первоначально собирался закончить таким автобиографическим признанием:

Горжусь к тирану я враждой,  
Ярмо граждан меня тревожит;  
Свободный славянин душой  
Покойно рабствовать не может.

Греть грозою против зла  
Он чтит святым себе законом  
С спокойной важностью чела  
На эшафоте и пред троном.

Цензурные ли условия или иные какие соображения — неизвестно — побудили Рылеева отказаться от такой концовки и, несколько затушевав ее остроту, перенести эту строфу в середину стихотворения. Думу же свою он закончил так:

О, пусть не буду в гимнах я  
Разнообразен, дивен, громок\*;  
Лишь только б молвил про меня  
Мой образованный потомок:  
«Парил он мыслию в веках,  
Седую вызывая древность,  
И воспалая в младых сердцах  
К общественному благу ревность!»

Рылееву не пришлось дожидаться образованного потомства: его намерение достигло своей цели и надежда осуществилась на его глазах.

Не за горами то время, когда «Думы» Рылеева, как надежное оружие, займут место в агитационном арсенале первых русских революционеров. Скоро в ответ на рылеевские призывы: «За вольность, правду и закон» раздадутся возгласы, что настала пора «d'en finir avec ce gouvernement» («покончить с этим правительством»).<sup>71</sup>

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

«Парение мыслью в веках» для иных бывает лишь средством ухода от современности, от действительности. Не таким было оно для Рылеева. Как отчетливо показывают его «Думы», Рылеев не был археологом, — он был публицистом в поэзии.

Тематически и, отчасти, композиционно связана с «Думами» и ода Рылеева «на день тезоименитства его императорского высочества великого князя Александра Николаевича». Рылеев напечатал ее под заглавием «Видение» в болгаринских «Литературных Листках» от 29 августа 1823 года.

Еще несколько лет назад Рылееву рассказывали, как великий князь Михаил Павлович приучал своего двухлетнего

\* Вариант: «Как наш Державин, дивен, громок».

племянника по-военному вытягивать руки по швам. Редкий мальчик не любил играть в солдатики и, не мечтал о ружье или сабле, но при врожденной фронтомании Романовых эти естественные для детей интересы и вкусы могли с годами перерасти в исключительное пристрастие к маршировкам и парадам. Окружающие впечатления только способствовали этому. И Рылееву захотелось преподать «златокудрому отроку» урок гражданской мудрости. Не обладая литературным весом Карамзина или Жуковского — весом, который позволил бы ему обратиться к племяннику царя от своего собственного имени, — Рылеев прибегает к уже испытанному им в «Думах» приему. На сей раз он вызывает «тень» Екатерины. Быть может, гражданские истины, слетевшие «с устен царицы мудрой», хотя и высказанные в духе принципов Союза Благоденствия, лучше дойдут до сознания ее правнука, чем если бы их изложил от себя скромный заседатель петербургского суда Рылеев...

«Полунощная держава» пресытилась лаврами и победами: много их выпало на ее долю за протекшие «незабвенные» годы.

Военных подвигов година  
Грозою шумной протекла:  
Твой век иная ждет судьбина,  
Иные ждут тебя дела,  
Затмится свод небес лазурных  
Непроницаемую мглой;  
Настанет век борений бурных  
Неправды с правдою святой.

Уже воспринял дух свободы  
Против насильственных властей;  
Смотри — в волнении народы,  
Смотри — в движеньи сонм царей.  
Быть может, отрок мой, корона  
Тебе назначена творцом;  
Люби народ, чти власть закона;  
Учись заране быть царем.

Подозрительная цензура призадумалась, читая эти строфы, и услужливый издатель снабдил их явно нелепыми и никого не обманывающими пояснениями, — до того они были далеки от прямого смысла рылеевских стихов. Не довольствуясь этим, и цензура, со своей стороны, замаскировала наиболее смущавшие ее места. Так, во второй из цитированных здесь строф читатель прочел:

Дух необузданной свободы  
Уже восстал против властей;

вариант этот сопровождался примечанием издателя: «Сие относится к Западной Европе, где дерзостные осмелились восстать против законной, богом установленной власти, и пали навеки и Европа спасена от ужасов безначалия». Тем самым под одно понятие «дерзостных» подводились и испанские патриоты, и итальянские карбонарии, и греческие гетеристы (которые, кстати сказать, отнюдь не «пали», а продолжали свою борьбу). Тенденциозный характер подобного разъяснения очевиден. Столь же цензурный — ех ungue leопет — отпечаток лежит и на другом примечании — к двум последним строкам предыдущей строфы: «Под именем святой правды здесь подразумевается Священный Союз, установленный для блага народов».

Но, несмотря на такие официозные прикрасы, ода Рылеева не утратила определенного политического значения. Выдержанная в духе дворянского реформизма, как и пушкинские «Вольность» и «Деревня», она допускала возможность преобразований «по манию царя», призывала к ним. Оба поэта следовали державинской традиции и пытались еще внушать «истину царям». Минерва-Екатерина, говоря от лица Рылеева, старается убедить своего правнука в том, что правда и законы являются прежде всего твердой опорой престола:

... Дай просвещенные уставы,  
Свободу в мыслях и словах,  
Науками очисти нравы  
И веру утверди в сердцах.

Люби глас истины свободной,  
Для пользы собственной любви,  
И рабства дух благородный —  
Неправосудье истреби.  
Будь блага подданных ревнитель:  
Оно есть первый долг царей;  
Будь просвещенья покровитель:  
Оно надежный друг властей.

Старайся дух постигнуть века,  
Узнать потребность русских стран.  
Будь человек для человека,  
Будь гражданин для сограждан...

То же открытое предпочтение гражданских достоинств доблестям собственно военным пронизывает другую оду Рылеева, написанную почти одновременно с первой, но не допущенную к печати цензурой. Распространялась она в списках. Это — ода «Гражданское мужество».

Обычно своих героев, своих вдохновителей Рылеев отыскивал в историческом прошлом. Но ведь важно было показать, что между прошлым и настоящим существует кровная связь, что преемственность гражданского мужества передается от поколения к поколению, что образцы и примеры не за горами протекших десятилетий, а тут же, около нас.

Да, были в Греции Аристиды и в Риме Катоны и Бруты. Их нет больше... Были у русских Яков Долгоруков, дерзавший спорить за правду с самим Петром, и Никита Панин, мечтавший об ограничении самодержавия. Их век миновал...

Но нам ли унывать душой,  
Когда еще в стране родной  
Один из дивных исполинов  
Екатерины славных дней  
Средь сонма избранных мужей  
В совете бодрствует Мордвинов?

Пушкин говорил, что в то время адмирал Мордвинов «заключал в себе одном всю русскую оппозицию». <sup>72</sup> Некогда Александр I прислушивался к мнению Мордвинова. С тех пор многое переменялось, и старый сановник открыто порицал реакционное направление внешней и внутренней политики Александра. Мордвинов мечтал о преобразовании государственного строя России, но это преобразование рисовалось ему, главным образом, в ограничении самодержавия неким русским подобием палаты лордов. Собеседник Бентама, он тяготел к Англии также и в силу своих родственных связей: жена Мордвинова была англичанка. Занимая высокие государственные посты — председателя департамента гражданских и духовных дел Государственного совета, члена Комитета министров и финансового комитета, — Мордвинов всюду отличался независимостью суждений и не довольствовался безответственным: как *государь прикажет*. Но, восставая против неограниченного произвола самодержавной монархии, он оставался аристократом до мозга костей и крепостником по убеждению. Когда, бывало, Николай Иванович Тургенев, тогда помощник статс-секретаря Государственного совета, говорил ему: «Пока крестьяне не освобождены, я готов мириться с этой властью, лишь бы только она была употреблена для освобождения страны от чудовищного угнетения человека человеком», — Мордвинов возражал ему:

«Нет, надо начать с трона, а не с крепостных; пословица говорит, что лестницу метут сверху». <sup>73</sup> Правда, словесные формулировки Мордвинова были острее и резче самой сущности его политических взглядов, но, распространяясь в обществе, рукописные «мнения» адмирала завоевали ему большую популярность в оппозиционных кругах. Почетным авторитетом пользовался он и в литературно-либеральной среде. В 1823—1825 годах гражданское мужество Мордвинова — «нового Долгорукова» — воспевали, кроме Рылеева, Боратынский, Плетнев и Пушкин. Поклонники этого «редкого мужа, вельможи-гражданина» возмущались тем, что клевета не щадит его своим злоречием, что благие намерения Мордвинова превратно истолковываются его недругами. И поэт с негодованием повторяет то, что не раз доводилось ему слышать в этих досужих пересудах:

...«Кричит он громче всех,  
О благе общества как будто бы хлопочет,  
А, право, риторством похвастать больше хочет.  
Катоном смотрит он, но тонкого льстеца  
От нас не утаит под строгостью лица».  
Так, лучшим подвигам людское развращенье  
Придумать силится дурное побужденье...

(Боратынский)

Федор Николаевич Глинка был вхож в дом Мордвиновых. Он поднес адмиралу оду Рылеева, и тот пожелал видеть автора. Вместе с Глинкой Рылеев переступил порог собственного особняка Мордвинова на Театральной площади. Весь уклад этого дома не походил на порядки, издавна усвоенные в домах петербургских сановников. Здесь не приходилось часами ждать приема, как в передней иного «надутого вельможи». Здесь гостя встречал не по одежке, а по личным достоинствам степенный и благожелательный хозяин, в своей неизменной шелковой шинельке, накинутой поверх чопорного фрака. Роскоши в доме не было, но все было добротное и комфортабельное, — не без некоторого налета холодной пуританской строгости.

Мы не знаем, о чем беседовал с Рылеевым этот благообразный старец с гладко выбритым лицом англиканского пастора с длинными серебристыми волосами и пронизательным взглядом умных, по-русски чуть-чуть хитроватых глаз. А поговорить им было о чем! Мордвинова занимали вопросы правосудия — этими же вопросами болел Рылеев. Мордвинов был знатоком государственного хозяйства и



возглавлял Вольно-экономическое общество, а Рылеев живо интересовался политической экономией. Наконец, самая ода Рылеева не только льстила самолюбию Мордвинова, но и развивала в стихотворной форме то, что не раз служило предметом устных «мнений» адмирала. «Занимаясь историческими сочинениями, — рассказывает его дочь, — он замечал, что в них прославляют храбрых завоевателей как великих людей, но отец мой называл их — разбойниками. Защищать свое отечество — война законная, но идти вдаль с корыстолюбивыми замыслами, проходить пространство земель и морей, разорять жилища мирных людей, проливать кровь невинную, чтобы завладеть их богатством: такими завоеваниями никакая просвещенная нация не должна гордиться». <sup>74</sup> С этими мыслями Мордвинова перекликаются мысли Рылеева:

Где славных не было вождей,  
К вреду законов и 'свободы?  
От древних лет до наших дней  
Гордились ими все народы;  
Под их убийственным мечом  
Везде лилася кровь ручьем.  
Увы, Атил, Наполеонов  
Зрел каждый век своей чредой:  
Они являлися толпой...  
Но много ль было Цицеронов?..

Завоеватель чужих земель, воинственный хищник не найдет сочувственной струны на лире Рылеева. Но она затрепещет при имени защитника родины:

Велик, кто честь в боях снискал  
И, страхом став для чуждых воев,  
К своим знаменам приковал  
Победу, спутницу героев!  
Отчизны щит, гроза врагов,  
Он достойные веков...

Читая эти строфы, Мордвинов не мог не отозваться на них благосклонным словом одобрения.

Раз Мордвинов захотел познакомиться с Рылеевым, значит заинтересовал его своими гражданскими взглядами этот молодой (сравнительно с ним, семидесятилетним стариком) человек. Личные впечатления от их первой встречи оказались благоприятными для Рылеева. Осенью 1823 года было написано «Гражданское мужество», а уже в нача-

ле 1824 года Мордвинов предложил Рылееву занять должность правителя канцелярии Российско-Американской торговой компании. Сам Мордвинов был ее официальным «протектором».<sup>75</sup>

Поступление Рылеева на службу в Российско-Американскую компанию — явление чрезвычайно характерное. С XVIII веком закончился расцвет дворянского крепостнического хозяйства. Даровой крестьянский труд постепенно переставал быть гарантией помещичьего довольства и все реже предохранял «малодушных» дворян от полного разорения. Не успела завершиться эпопея войн с Наполеоном, а уже многие мелкопоместные «владельцы» напряженно искали выхода из тяжелого экономического положения. Процесс обуржуазивания российского «благородного сословия» и его частичной деклассации делал свои первые шаги. Единым и по времени и по смыслу выражением этого общественного процесса представляются нам и служба Рылеева в акционерной компании и литературное предпринимательство, к которому он обратился совместно с Александром Бестужевым.

## 2

У адмирала Мордвинова был сын Александр, с детства проявлявший художественные способности. В восемь лет он очень удачно вырезал на куске разбитой алебастровой вазы фигуру воина, державшего под уздцы лошадь. Отец подивился таланту ребенка и промолвил: «Жаль, что этот талант не дан бедному мальчику; он был бы русским Рафаэлем».<sup>76</sup>

Сын вельможи и государственного деятеля предопределен был для деятельности государственной. Так он и остался на всю жизнь даровитым дилетантом, каких в его среде было немало.

Слова Мордвинова характерны. Даже самые образованные, казалось бы, вельможи, понимая толк в искусстве и собирая коллекции (у Мордвинова была прекрасная, хотя и небольшая картинная галерея), смотрели на искусство как на нечто прикладное, способствующее украшению их жилищ. Они восхищались Рафаэлем, но они не хотели, чтобы их сыновья были Рафаэлями. Заниматься живописью — это ниже их достоинства! Их удел — меценатство.

Но вот наступает пора, когда сами деятели искусства начинают считать ниже своего достоинства покровительство меценатов. Заявление Гнедича: «Фортуна и меценаты продают благосклонности свои за такие жертвы, которых почти нельзя принести не за счет своей чести». — глубоко знаменательно. Скоро взгляд на искусство как на профессию отойдет в ясную и исчерпывающую формулу Пушкина:

Не продается вдохновенье,  
Но можно рукопись продать.

Рылеев, хотя бы уже по одной ограниченности своего материального достатка, не мог смотреть на поэзию, как на «летом вкусный лимонад». Но, кроме того, такое сравнение не вязалось и с тем возвышенным представлением о целях литературы, какое сложилось у Рылеева. Чему должна служить поэзия, каково общественное призвание писателя, какое место принадлежит ему на ступенях социальной лестницы — все эти вопросы, поставленные временем, живо захватывали и Рылеева, и его литературных друзей. Они обсуждались и в Обществе Соревнователей Просвещения, и за столом в доме Рылеева на Васильевском острове. Говорили о том, как скудно и несправедливо вознаграждается умственный труд: сплошь да рядом писатели перебиваются кое-как, вынужденные занимать чиновничьи места и терпеть всяческие лишения и унижения. Ясно было, что проблема литературного гонорара вставала сама собой.

В середине 1822 года Рылеев и его приятель Александр Бестужев задумали издать альманах «с целью обратить предприятие литературное в коммерческое». При этом составители альманаха положили выплачивать гонорар сотрудникам. Это была новость в тогдашней журнальной практике.

В рождественский сочельник маленькое нарядное издание появилось в петербургских книжных магазинах: «Полярная Звезда, карманная книжка для любительниц и любителей российской словесности на 1823 год, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым».

Успех альманаха превзошел ожидания издателей. В полтора месяца разошлось тысяча двести экземпляров. «Это неслыханная вещь в России», — хвастался Бестужев.<sup>77</sup> Он забывал об «Истории» Карамзина, весь тираж которой (три тысячи экземпляров) был распродан в двадцать пять дней, — но то был труд прославленного писателя...

Не разглашая в печати практической цели своего предприятия, издатели «Полярной Звезды» выдвигали на первый план задачи популяризации лучших произведений современной русской литературы. «При составлении нашего издания, — пояснял Бестужев на страницах «Сына Отечества», — г. Рылеев и я имели в виду более чем одну забаву публики. Мы надеялись, что по своей новостности, по разнообразию предметов и достоинству пьес, которыми лучшие писатели удостоили украсить «Полярную Звезду», она понравится многим; что, не пугая светских людей сухою ученостью, она проберется на камин, на стол, а может быть на дамские туалеты и под изголовья красавиц. Подобными случаями должно пользоваться, чтобы по возможности более ознакомить публику с русскою стариною, с родной словесностью, с своими писателями». <sup>78</sup>

И они не обманулись в своих расчетах. Пальцы светских дам и барышень охотно перелистывали страницы этой книжной новинки. Стихи, напечатанные в «Полярной Звезде», переписывались на цветные листы альбомов, разучивались наизусть. При всем этом альманах Бестужева и Рылеева по своему составу отнюдь не был салонной бонбоньеркой. В нем действительно участвовали лучшие литературные силы. Оглавление пестрело именами Пушкина, Жуковского, Гнедича, Боратынского, Вяземского, Дениса Давыдова, Крылова, Дельвига, Федора Глинки и других. Сам Рылеев поместил в альманахе четыре думы («Рогнеда», «Борис Годунов», «Мстислав Удалий» и «Иван Сусанин»), а Бестужев — «древнюю» повесть «Роман и Ольга», рассказ «Вечер на бивуаке» и критический обзор «Взгляд на старую и новую словесность в России».

В своем обзоре Бестужев произвел смотр всем крупным и мелким русским писателям от Ломоносова до дня появления «Полярной Звезды». Желание сказать что-нибудь о каждом повредило обзору: местами он превратился в простое перечисление авторов и названий произведений. Статья написана «прыгающими фразами», поверхностно и цветисто. Она сильно отдает «бестужевскими каплями» краснословия, — как в шутку называли современники стилистическую манеру Бестужева. Временами кажется, что он любезничает с дамами и хочет им понравиться. Пушкин писал однажды — и как раз Бестужеву — об истори-

ческих очерках Корниловича: «...зачем пишет он для снисходительного внимания милостивой государыни N.N. и ожидает ободрительной улыбки прекрасного пола для продолжения любопытных своих трудов?»<sup>79</sup> Этот же упрек можно было бы сделать и самому Бестужеву. Но зато некоторые читательницы альманаха предпочли именно критическую прозу Бестужева всем художественным произведениям «Полярной Звезды».

В статье Бестужева не было ни одного прямо отрицательного высказывания. Бестужев, считая себя не принадлежащим «ни к одной партии», никого не дразнил и не колол в своем обзоре. Наоборот, он больше хвалил — и хвалил дифирамбически. Вот почему Бестужев и задел самолюбие тех, кого он просто хвалил. Так, например, баснописец Александр Ефимович Измайлов ополчился на его «пристрастие и неосновательность в суждениях о новейших наших писателях», а заодно и на «шутовской язык» обзора. Споры по поводу «Взгляда» Бестужева велись и на страницах «Сына Отечества». Пушкин был прав: статья Бестужева была «ужасно молода», но она будила толки и мнения — и в этом уже было ее неоспоримое достоинство.

Мы не знаем, какова доля участия Рылеева во «Взгляде» Бестужева, но в нем затронут ряд вопросов, которые сообща обсуждались на дружеских сходках у Рылеева. Таков был прежде всего вопрос о причинах недостаточного роста просвещения в России, особенно в провинции. Конечно, мало еще настоящих опытных учителей, мало общепользных журналов, дороги книги, но есть и другие причины: «Феодальная умонаклонность многих дворян усугубляет сии препоны. Одни рубят Гордиев узел мечом презрения, другие не хотят ученьем мучить детей своих, и для сего оставляют невозделанными их умы, как нередко поля из пристрастия к псовой охоте. В столицах рассеяние и страсть к мелочам занимают юношей; никто не посвящает себя безвыгодному и бессеребряному ремеслу писателя, и если пишут, то пишут не по занятию, а шутя... У нас нет европейского класса ученых (savants, lettrés), ибо одно счастье дает законы обществу, а наши богачи не слишком учены, а ученые вовсе не богаты».<sup>80</sup>

Принимаясь за издание «Полярной Звезды», Рылеев и Бестужев становились сами литераторами-профессионала-

ми и стремились показать своим сотрудникам, что и писательский труд может быть небезвыгодным делом.

Первый успех окрылила издателей. «Полярная Звезда» принесла им около двух тысяч чистого дохода. С легкой руки Бестужева и Рылеева писатели начали свыкаться с мыслью, что авторский гонорар — их законное право. Для многих он был насущной необходимостью. Жалуясь брату на опечатки в первой книжке альманаха, Пушкин обрывал свои сетования словами: «Но все это не беда; были бы деньги». <sup>81</sup>

Трудно сказать, как Рылеев и Бестужев распределяли между собою работу по изданию «Полярной Звезды». В основном, говоря словами Бестужева, они «пекли» ее на братских началах. Повидимому, однако, переписку с авторами вел преимущественно Бестужев: он больше, чем Рылеев, был свой человек в кругу Жуковского, Вяземского, Давыдова и других литературных корифеев. Но корреспонденты Бестужева в своих письмах к нему не забывали и его «почтенного сотрудника», «полярного товарища» Рылеева. Оба они были в глазах современников «рыцарями Полярной Звезды». <sup>82</sup>

В 1823 году посредником между издателями «Полярной Звезды» и Пушкиным был другой поэт, Василий Иванович Туманский. Дружеские отношения связывали его с Рылеевым. Через него «парнасский чудотворец» и «консул нашей Литературной Республики» — как называл Пушкина Рылеев — послал свою лепту и во вторую книжку альманаха. Бестужев в это время отсутствовал из Петербурга, и Рылееву пришлось одному проводить пушкинские стихи через Сциллу и Харибду цензуры. Стихи были вполне безобидны, но не такими они могли показаться щепетильному цензору Бирукову. Он строго оберегал нравственность читателей. Рылеев уже достаточно изучил Бирукова, пока печаталась первая книжка «Полярной Звезды», а потому отправлялся к нему не без тайного страха за судьбу своих подопечных стихотворений.

И, действительно, в стихотворении Пушкина «Иностранке» Бируков наткнулся на якобы оскорбительные для верующего человека строки:

*Боготворить не перестану  
Тебя, мой друг, одну тебя.*

Зная цензуру, Рылеев и сам опасался, что из-за одного этого слова не выдать «Иностранке» печати. «Ненравственную цель» усмотрел Бируков в маленьком стихотворении «Приятелю»: как же можно — «двое за одной волочатся»! Такое же ясное посягательство на семейные устои — в «Послании к А.» (Алексееву). Предосудительно, что «любовник исступленный»

Клянет ревнивого супруга  
Или докучливую мать.

И за это место также опасался Рылеев: ведь Бируков не только «цензор-деспот», но и «ревнивый муж».

Не поздоровилось и Туманскому. У того еще хуже:

Идем.. уж вечер... роща дремлет,  
По долу стелется туман,  
В пути заботливо объекает  
Моя рука твой стройный стан.  
Твоим обетам слух мой внемлет,  
Душе отвечает душа,  
И вот — двух странников приемлет  
Простая кровля шалаша.  
Приютен кров гостеприимный!  
И полны нежностью взаимной,  
Мы возлегаем на тростник...

Отчеркнув карандашом соблазнительные строки, Бируков с важностью заметил: «Это слишком сладострастно».

Заодно подвернулось еще одно стихотворение Туманского, — то уж чересчур «либерально».

Рылеев оказался бессильным перед непреклонностью Бирукова.

Вернувшись от «варвара», он сейчас же написал Туманскому: «Ради бога, присылай других (стихотворений. — К. П.) и проси Пушкина, чтоб он нас не оставил. Без него звезда не будет сиять». Одно стихотворение Пушкина, впрочем, появится в альманахе: «Вакхическая песнь, не пропущенная прошлого года, под именем стихов к *Друзьям* проскользнула сквозь тесную калитку цензуры и с торжеством вошла в широкие ворота *Полярной Звезды*». <sup>83</sup> Но издателям хотелось бы распахнуть свои радужные двери и перед новыми гостями. До конца 1823 года оставалось еще почти три месяца.

С приближением Святок читатели уже ждали подарка на елку от Бестужева и Рылеева. Слухи о том, что их альманах превращается в *ежегодник*, давно ходили по го-

роду. И вот в начале двадцатых чисел декабря «Полярная Звезда» снова взошла на литературном небосклоне. Внешне она выглядела еще изящнее своей предшественницы. Меньший формат и четкая нонпарель напоминали лучшие иностранные альманахи. Галактионов, Ческий, М. Иванов и А. Орловский украсили ее гравированными картинками. Публика попрежнему накинулась на альманах: весь тираж «Полярной Звезды» 1824 года (полторы тысячи экземпляров) был исчерпан в три недели.

Через несколько дней после выхода второй книжки альманаха Александр Измайлов появился на святочном маскараде, наряженный *Полярной Звездой*. Спереди и сзади он прицепил на себя две аршинные звезды из серебряной бумаги. Маленькая звездочка красовалась на шапке. На поясе болтался детский барабан — символ «фонаря критики» — с надписью: «Ах, лучше барабан поэта, чем грязный критика свисток». Это были стихи Туманского, помещенные в «Полярной Звезде». Войдя в залу, Измайлов забил в барабан и произнес речь, склеенную из разных кусочков нового «Взгляда» Бестужева на русскую словесность истекшего года.

Издвки Измайлова над «Полярной Звездой» были внешним проявлением внутреннего расслоения Вольного Общества Любителей Российской Словесности. Уже с конца 1821 года в нем явственно обозначились два течения — «либеральное» и «благонамеренное». Представители первого объединялись вокруг председателя Федора Глинки: это были братья Александр и Николай Бестужевы, Рылеев, Дельвиг, Кюхельбекер и другие — из молодежи. Им противостояла «правая» группа, возглавлявшаяся помощником председателя реакционером-доносчиком В. Каразиным и метроманом графом Д. И. Хвостовым. В нее входили Александр Измайлов, Владимир Панаев, Борис Федоров, князь Цертелев, Загоскин. Журнал Измайлова «Благонамеренный» становится антагонистом «Соревнователя Просвещения и Благотворения». «Издатель Благонамеренного, — заявляет Измайлов в 1823 году, — употребит всевозможное старание, чтобы журнал его с будущего 1824 г. соответствовал в полной мере своему названию... Не будут иметь места в Благонамеренном... сладострастные, вакхические и даже либеральные стихотворения молодых наших баловней-поэтов».<sup>84</sup> Понятно, в чей огорд бросал камень Измайлов.



В первой книжке «Полярной Звезды» Бестужев не превозносил, но прямо и не задевал Измайлова: «Баснописец Александр Измайлов рисует природу, как Теньер. Рассказ его плавлен, естествен; подробности оного заставляют смеяться самому действию. Он избрал для предмета сказок низший класс общества и со временем будет иметь в своем роде большую цену, как верный историк сего класса народа». <sup>85</sup> Бестужев не считал удобным открыто нападать на писателей, участвовавших в «Полярной Звезде», а Измайлов был одним из них. Но Измайлов почуял между строк то, чего не говорил Бестужев, — почуял недружелюбие сквозь самую сдержанность тона. И он не ошибся, В письме к Вяземскому от 23 мая 1823 года Бестужев с нескрываемым пренебрежением отзывался о партии «положительного безвкусыя», у которой «голова князь Цертелев, а хвост (тела нет) Борис Федоров и еще два или три поползня». <sup>86</sup> Во второй книжке «Полярной Звезды» Бестужев поместил одну басню Александра Измайлова, но в своем критическом обзоре с обидной лаконичностью проронил: «Благонамеренный (изд. г. Измайлов в С. Петербурге) забавен для своего круга». <sup>87</sup> Уязвленный Измайлов отомстил ему костюмированным выступлением на рождественском маскараде.

Успешная и быстрая распродажа второй книжки «Полярной Звезды» была отмечена издателями большим обедом в честь участников альманаха. На обед собрались большие и малые светила из созвездия «Полярной Звезды»; был среди них и Измайлов.

Однако «Полярная Звезда» 1824 года не была таким литературным событием, каким была ее предшественница. Если в прошлом году только один «Взгляд» Бестужева вызвал споры в журнальной среде, а литературно-художественная часть сборника была встречена единодушным одобрением, то на этот раз впечатление от альманаха было иное. Критическое обозрение Бестужева не ругали, но и не хвалили. Зато в целом альманах не удовлетворил многих. Раздавались голоса, что «Полярная Звезда» «не имеет блеска прошлогодней».

Старый критический поползень Каченовский желчно острил насчет разницы между «Полярной Звездой неба» и «Полярной Звездой карманов». Вяземский видел в альманахе «много детского лепетания, милого, сладкозвучного, но мало мыслей, мало зрелости, мало мужества».

Приятель Рылеева Петр Муханов писал ему из Киева: «Полярную Звезду получили в Киеве — прошлогдняя была лучше; стихи очень плохи...». Между тем щедрыми данниками альманаха были те же авторы, которые обеспечили успех первой книжки. В «Полярной Звезде» на 1824 год было помещено пять стихотворений Боратынского (в том числе «Истина», «Рим» и «Признание»), столько же — Дельвига, басня Крылова «Василек», сцена из «Орлеанской девы» Жуковского и его же отрывок из «Энеиды» Вергилия, девять стихотворений Пушкина, среди них — «Нереида», «Друзьям» («Вчера был день разлуки шумной...»), две элегии («Редает облаков летучая гряда...» и «Простишь ли мне ревнивые мечты...»). Как это ни странно, даже эти стихи не производили особенного впечатления на ценителей поэзии: Вяземский уподоблял их «свежему, сочному, душистому персику», но находил, что в них «мало питательного». Кое-кто считал, что количество авторов (в «Полярной Звезде» 1824 года участвовало тридцать восемь человек) обратно пропорционально качеству альманаха: «можно бы было довольствоваться только первостатейными». <sup>88</sup>

Снисходительнее других отзывался о «Полярной Звезде» Пушкин. Правда, и он считал, что издатели альманаха недостаточно строги к подбору сотрудников, но он сразу же оценил то, что заслуживало внимания: «Ты — всё ты: т. е. мил, жив, умен, — писал он 12 января 1824 года Бестужеву из Одессы. — Боратынский — прелесть и чудо, *Признание* — совершенство. После него не стану печатать своих элегий... Рылеева *Войнаровский* несравненно лучше всех его *Дум*, слог его возмужал и становится истинно-повествовательным, чего у нас почти еще нет. Дельвиг — молодец». <sup>89</sup>

«Войнаровский» — так называлось новое произведение Рылеева, первая его поэма, над которой он трудился вот уже около года.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Судебное дело, возбужденное княгиней Голицыной против наследников покойного Федора Андреевича Рылеева, разбиралось Киевским поветовым судом. Тяжба тянулась годами.

Летом 1822 года Рылеев сам ездил в Киев.

Не в первый раз погружался поэт в украинскую стихию, и не в первый раз украинские просторы животворили его талант.

С запасом красочных впечатлений, навеянных историческим прошлым Украины, вернулся Рылеев в Петербург. Новые литературные замыслы бродили в его голове.

Интерес Рылеева к украинской старине подогревался прежде всего личными отношениями, связывавшими его с украинской интеллигенцией. Исторический же материал для разработки сюжетов из прошлого Украины предоставляла ему с избытком «История Малой России» Д. Н. Бантыш-Каменского, вышедшая в начале 1822 года. Возможно, что Рылеев ее прочел еще до поездки своей в Киев; позднее он неоднократно обращался к этой книге и внимательно ее перечитывал.

Под влиянием исторических данных, дополненных творческим вымыслом, сложилась в воображении Рылеева сюжетная канва трагедии о Мазепе. Поэт уже видит перед собой целые картины; перед ним возникают образы действующих лиц, раскрываются характеры.

Пролог — пиршество у Петра. Царь спорит с Мазепой и, привыкнув не церемониться со своими слугами, награждает гетмана оплеухой. Пощечина на сцене! Это было бы отважным вызовом современным правилам благопристойности. Недаром знаменитую пощечину в корнелевском «Сиде» во времена Рылеева находили «неприличной, смешной, ridicule». <sup>90</sup> «Алексаша» Меншиков спокойно мирился с царской дубинкой и проглатывал царские оплеухи, расточаемые под горячую или пьяную руку. Но Мазепа (как говорит предание, — может быть, не без тайного умысла хоть немного обелить его) глубоко затаил в себе чувство оскорбления. Кварный замысел измены и предательства вызревает в голове его. Ни почести, ни безграничное доверие, оказываемое ему Петром, не в силах отвлечь Мазепу от исполнения его намерения. Угрюмый семидесятилетний старик, он скрытничает и притворяется. Хитрый и лицемерный честолюбец, он прикрывает свои козни личиной любви к родине. Его приверженцы принимают за чистую монету то, что на самом деле было искусно рассчитанной игрой. Если главный приспешник Мазепы генеральный писарь Орлик, сам «хитрый честолюбец», проронив в замыслы гетмана, играет ему в руку, то «отчаянная голова» Чечель и «пыл-

кий, благородный молодой человек» Войнаровский являются невольными жертвами самообмана и чистосердечной преданности Мазепе. Развитие трагедии осложняется любовной интригой. На сцену выступает Матрена Кочубей, крестница и любовница Мазепы. Она открывает ему существование заговора, составленного против него ее отцом. Генеральный судья Василий Кочубей, «мстительный человек», жаждет отплатить Мазепе за бесчестие дочери. Он узнает о преступных замыслах гетмана: это для него случай одновременно расквитаться с похитителем дочерней невинности и засвидетельствовать свою верность Петру. Но царь слепо верит Мазепе и головой выдает ему Кочубея и сообщника его Искру. Их судят «с пристрастием». Тут возможны эффектные патетические сцены. Матрена Кочубей на коленях перед своим любовником вымаливает прощение отцу. Мазепа непреклонен. Или так: Матрена Кочубей, мучимая совестью, проникает в темницу и хочет освободить отца. Но гордому Кочубею легче принять смерть от руки врага, чем свободу из рук дочери-предательницы. Он проклинает Матрену, она сходит с ума. Рылееву представляется сцена казни. Высокий помост, плаха, палач... Появление безумной Матрены Кочубей. Она «принимает эшафот за алтарь», перед которым любовная связь ее с Мазепой освятится брачным венцом. Трагедия завершена: Матрена, в порыве исступления, бросается с крутизны в Днепр.<sup>91</sup>

Трудно сказать, как справился бы Рылеев и справился ли бы вообще с этим новым для него родом творчества. Правда, несколько лет назад он пробовал силы в драматургии, но написанная им маленькая комедийка в одном действии, без заглавия, похожая на водевиль, ни по форме, ни по содержанию не поднимается над уровнем посредственности.<sup>92</sup> Судя по плану трагедии «Мазепа», замысел Рылеева открывал возможности для целого ряда сценически выигрышных положений, для обрисовки различных движений характеров, но требовал в то же время более сильного и зрелого таланта, чем талант Рылеева. Можно почти не сомневаться в том, что в некоторых сценах этой ненаписанной трагедии настоящий драматизм исторической действительности был бы подменен мелодраматизмом вымысла.

Рылеев отказался от трагедии, но не вполне отказался от ее темы. Его заинтересовала судьба племянника Ма-

зепы Андрея Войнаровского. Усыновленный гетманом, Войнаровский получил блестящее образование за границей. Вернувшись на родину, он поступил на военную службу. Задумав «отложиться» от Москвы, Мазепа посвятил племянника в свои планы. После измены Мазепы Войнаровский последовал за ним в Турцию, получал чины от королей польского и шведского, вел широкий и роскошный образ жизни в Вене, Бреславле и Гамбурге. В 1716 году, по требованию русского резидента в Гамбурге, он был задержан на улице и переслан в Россию. Петр сослал его в Якутск. Здесь его видел двадцать лет спустя известный историк Миллер.

С начала 1823 года, параллельно с работой над «Думами», Рылеев принимается за поэму о Войнаровском. К этому времени форма «думы» была уже тесна для Рылеева. В исходе 1822 года он делает попытки расширить ее рамки. «Рогнеда» и самому ему представляется скорее исторической повестью в стихах, чем думой. Его начинает тянуть к большим лиро-эпическим полотнам. Не решившись взяться за трагедию, — быть может, не чувствуя в себе достаточно сил для этого, — он останавливается на поэме.

Пушкин незадолго перед тем издал «Кавказского пленника». Этой поэмой он прокладывает новые пути в развитии русской поэзии. За «Кавказским пленником» последовали «Братья-разбойники» и «Бахчисарайский фонтан». Спор о поэмах Пушкина, поднявшийся в печати, перерос в спор о классической и романтической поэтике. Можно было не принимать в нем прямого участия, но оставаться равнодушным к нему было нельзя. Каждый человек, обладающий литературным дарованием, всем своим дальнейшим творчеством должен был ответить на вопрос: безнадежно ли прирос он к одному и тому же месту или же выйдет на широкую пушкинскую дорогу.

Пушкин неспроста назвал Байрона «властителем дум» своего поколения. На рубеже двадцатых годов «пламенный демон» Британии очаровал русские умы. Байронизм был с жадностью подхвачен у нас, как подхватывается всякая мода. Много искусственного, наносного было и в этом увлечении, принимавшем порою смешные формы. Столичные модники вырядились в «гарольдовы плащи» разочарованности. Светские барышни с набожной восторженностью взирали на висевший у их изголовья образ

«лорда Байрона». Так, каких-нибудь полвека назад отцы и деды русских Чайльд-Гарольдов, не понимая разрушительной сути вольтеровского смеха, прикидывались вольтерьянцами.

Но русский байронизм не был только модой; он был серьезнее и глубже русского вольтерьянства. С поэзией Байрона новые, свежие веяния проникают в нашу литературу.<sup>93</sup>

Все лето 1819 года Александр Тургенев и Жуковский зачитывались Байроном. Вяземский, разделяя их увлечение, тогда же кликнул клич: «Кто в России читает по-английски и пишет по-русски? Давайте мне его сюда; я за каждый стих Байрона заплачу ему жизнью своею...» Жуковский ответил на этот призыв переводом «Шильонского узника». Тот же Вяземский, открывая прения романтиков с классиками, писал: «*Шильонский узник* и *Кавказский пленник*, следуя один за другим (первый — в 1822 году. — К. П.), пением унылым, но вразумительным сердцу, прервали долгое молчание, царствовавшее на Парнассе нашем... Явление упомянутых произведений, коими обязаны мы лучшим поэтам нашего времени, означает еще другое: успех посреди нас поэзии романтической».<sup>94</sup>

Друзья и приятели Рылеева бредили Байроном. Николай Бестужев перевел и напечатал его «Паризину», Федор Глинка — «Тьму». Михаил Бестужев, которому также «вскружили голову» поэмы Байрона, подражал ему, воспевая «замки, ливонских рыцарей, дев и новгородцев».<sup>95</sup> Байроновские темы, образы и мотивы переносились, как видно, в чуждую им область древнерусской действительности. Братья Бестужевы, владевшие английским языком, помогли Рылееву в его знакомстве с Байроном. Ему не пришлось обращаться к бледной французской прозе, через посредство которой большинство читателей получало неполное и часто неверное представление об английском оригинале.

Восприятие Байрона русскими литературными деятелями не было однородным. В то время как для одних Байрон был поэтом «мировой скорби», певцом гордого одиночества и красивого разочарования, — других в особенности привлекали к себе гражданские мотивы творчества Байрона, ноты политического и социального протеста, и чем гуще ложились в Европе тени международной реакции, тем ярче горело имя Байрона в сердцах оппозицион-

ных представителей русского общества. Байрон был для них светочем, символом и знаменем.

Критикуя заоблачную поэзию Жуковского, Вяземский писал в одном из своих писем к Александру Тургеневу: «...у Жуковского всё душа и всё для души. Но душа, свидетельница настоящих событий, видя эшафоты, которые громоздят для убийства народов, для зарезания свободы, не должна и не может теряться в идеальности Аркадии. Шиллер гремел в пользу притесненных; Байрон, который носится в облаках, спускается на землю, чтобы грянуть негодованием в притеснителей, и краски его романтизма часто сливаются с красками политическими». <sup>26</sup> Это письмо звучит почти как литературный манифест.

В представлении тех, кто мыслил подобно Вяземскому, Байрон-поэт не только был неразрывно слит с политическим деятелем, но именно обаяние поэтического гения окружало особо лучезарным ореолом сообщника итальянских карбонариев и борца за национальную свободу греков. Смерть Байрона будет встречена его русскими поклонниками как общее горе. В единый по чувству реквием сольются поэтические плачи Рылеева и Кюхельбекера, Михаила Бестужева и Веневитинова, Вяземского и Пушкина, Козлова и Бориса Федорова. Рылеев, в своей оде «На смерть Байрона», выразит резче других думы своего поколения об угасшем поэте:

Друзья свободы и Элады  
Везде в слезах в укор судьбы;  
Одни тираны и рабы  
Его внезапной смерти рады.

То, чего тщетно ждал Вяземский от Жуковского, — сочетания романтических красок с «красками политическими», — было основной целью, к которой стремился Рылеев в своих поэмах. В работе над созданием не просто романтической поэмы, но поэмы гражданско-романтической ему помог Байрон, воспринятый как непосредственно, так и через «южные» поэмы Пушкина.

22 мая 1823 года, в заседании Вольного Общества Любителей Российской Словесности, Василий Иванович Туманский прочел отрывок из новой поэмы Рылеева. На следующий же день Александр Бестужев делился с петербургскими приятелями своими впечатлениями: «Рылеева Ссылный полон благородных чувств и разных возвышен-

ных мыслей — принят с душевным одобрением». Еще более щедрым на похвалы оказался рецензент «Северного Архива»: «Рылеев в резких чертах представил характер изгнанника, борющегося с долговременным несчастьем. Картины природы описаны превосходно в сих отрывках; глубокое познание сердца человеческого и точное направление страстей, сообразно обстоятельствам жизни, показывают, что автор наблюдал природу в ее святилище, то есть в самом сердце. Если вся сия поэма будет написана с таким чувством и силою, как читанные отрывки, то имя г. Рылеева станет наряду с именами отличных российских писателей. Мы не смеем определять ему места на Парнассе, опасаясь раздражить самолюбие других поэтов, но должны откровенно сказать, что развивающийся талант г. Рылеева обещает отечеству писателя, который в потомстве будет стоять гораздо выше, нежели полагают некоторые из наших современных критиков. Отрывки из поэмы «Войнаровский» доставили необыкновенное удовольствие публике...»<sup>97</sup>

До весны 1825 года, когда поэма была напечатана полностью, почти через год после ее окончания, читатели вынуждены были довольствоваться немногими отрывками, появившимися в печати. Кое-кто из литературных друзей и знакомцев Рылеева слышал поэму от него самого. Список незаконченного «Войнаровского» кем-то был завезен в Киев. Петр Муханов уведомлял об этом автора в следующих словах: «Войнаровский, твой почтенный дитяtko, попал к нам в гости; мы его приняли весьма гостеприимно, любовались им, он побывал у всех городских любителей стихов и съездил в Одессу... Я весьма сожалею, что ты не считаешь меня достойным познакомиться с твоим сыном. Но я не пропустил случая сего сделать. — Войнаровский твой отлично хорош: я читал его М(ихаилу) Орлову, который им любовался; Пушкин тоже...» Замечания одесских слушателей сводились в основном к одному пожеланию, чтобы Рылеев расширил описательную часть поэмы. Изображение Якутска и северной природы казалось им слишком сжатым, а оно-то и привлекало их к себе своей новизной. Во всем остальном «Войнаровский» пришелся по сердцу и Пушкину, и Михаилу Орлову: в поэме находили много «сильного чувства», много «пылкости», много такого, что «шевелит душу».<sup>98</sup>

Письмо Муханова было получено Рылеевым тогда, ко-



гда «Войнаровский» едва ли не был уже закончен. Во всяком случае он не воспользовался сделанными ему замечаниями: он всегда предпочитал «написать что-нибудь новое», вместо того чтобы поправлять готовое. Впрочем, не следует упускать из виду, что в руках Муханова была неокончательная и неполная редакция «Войнаровского». Судить о целом было еще трудно.

Композиция поэмы Рылеева очень проста. Открывается она картиной Якутска и пейзажем сибирской зимы — «этнографической увертюрой», по терминологии исследователя русской романтической поэмы В. М. Жирмунского. В этот пейзаж вписывается фигура незнакомца «с винтовой длинной за спиной», идущего по берегу Лены.

Взор беспокойный и угрюмый,  
В чертах суровость и тоска...

Из слов, которые он произносит, обратившись лицом к западу, читатель узнает, что он изгнанник. В сердце его «горит напрасно пламень пылкий», — напрасно потому, что он не может «полезным быть» родному краю. Вся эта, «в волнении сильном» сказанная речь, распадающаяся на три четверостишия, причем первое и третье дословно повторяют друг друга и как бы служат ее песенными зачинами и концовкой, — не что иное, как отражение традиционного элемента романтической поэмы — песни (вспомним «черкесскую песню» в «Кавказском пленнике» и «татарскую песню» в «Бахчисарайском фонтане»). На охоте незнакомец случайно сталкивается с другим, заблудившимся в погоне за оленем, охотником, которого автор сразу же называет читателю: это — историк Миллер, изучавший природу и обычаи того края. Изгнанник приводит его в свою юрту и тут открывает ему, что он видит перед собою Войнаровского. Он рассказывает Миллеру о своей «судьбе жестокой», о прошлой боевой жизни, о Мазепе. С наступлением ночи прерывается рассказ и заканчивается первая часть поэмы. Вторая часть начинается с изображения морозного утра, еле проникающего в ледяные окна юрты. При свете очага продолжается рассказ Войнаровского — о бегстве Мазепы после Полтавской победы, о его скитаниях и смерти, о ссылке Войнаровского, о его жене, последовавшей за мужем в Сибирь, чтобы облегчить ему изгнание, о ее кончине. Когда Войнаровский умолкает, Миллер прощается с ним и жмет ему руку «в знак

дружбы верной, домогильной». Из тысячи тридцати стихов семьсот семьдесят четыре отведено Рылеевым повествованию Войнаровского, в последних пятидесяти четырех стихах поэмы кратко рассказывается о частых посещениях Войнарвского Миллером, о том, как спешил он однажды к нему «с отрадной вестью о прощенье», но, к удивлению своему, нашел юрту пустой. Тревожимый мрачным предчувствием, идет он на могилу жены своего «страдальца-друга» и там видит замерзший труп Войнаровского:

Под наклонившимся крестом  
С опущенным на грудь челом,  
Как грустный памятник могилы,  
Изгнанник мрачный и унылый  
Сидит на холме гробовом  
В оцепененьи роковом:  
В глазах недвижных хлад кончины,  
Как мрамор лоснится чело,  
И от соседственной долины  
Уж мертвеца до половины  
Пушистым снегом занесло.

Работая над «Войнаровским», Рылеев заботился о возможно более точной передаче местного колорита. Он перечитал ряд статей по этнографии Сибири в тогдашних журналах, расспрашивал о тамошнем крае лиц, бывавших в Якутске. На почве собирания этнографического материала для своей поэмы познакомился он с бароном Владимиром Ивановичем Штейнгелем, тогда отставным подполковником, содержавшим в Москве частный пансион для юношей. Штейнгель провел свое детство на Камчатке, где служил его отец; потом учился в Иркутске, а затем, в течение пяти лет, находясь на морской службе, плавал в Охотском море. Он был хорошо знаком с природой и климатом Сибири, а также с бытом народов, населявших восточные окраины России.

Летом 1823 года Штейнгель, приехав из Москвы в Петербург, зашел в книжную лавку Слѣнина у Казанского моста. О Рылееве он слышал как об авторе сатиры «К временщику» и издателе «Полярной Звезды». Штейнгель спросил хозяина магазина, бывает ли у него Рылеев. Слѣнин ответил утвердительно, добавив: «А он о вас недавно спрашивал, не будете ли вы сюда?» В эту минуту дверь отворилась, и в лавку вошел сам Рылеев.

«После первых взаимных приветствий, — рассказывает Штейнгель в своих воспоминаниях, — я сказал ему: что

мне было интересно узнать вас, это не должно вас удивлять; но чем я мог вас заинтересовать — отгадать не могу.

— Очень просто, — я пишу *Войнаровского*, сцена близ Якутска, а как вы были там, то мне хотелось попросить вас прослушать то место поэмы и сказать, нет ли погрешностей против местности.

Я отвечал: «С удовольствием», — и тотчас же Рылеев пригласил к себе на вечер и совершенно обворожил меня собою, так что мы расстались друзьями». <sup>99</sup>

Описания местной природы и местного быта сделаны в «Войнаровском» скупою рукой, но так, что читателю хотелось бы знать больше о «стране метелей и снегов» (Пушкин и Михаил Орлов были правы). С трудом верится, что эти описания принадлежат тому же автору, что и «Думы»: так заметно вырос Рылеев за сравнительно короткий срок. От напечатания самой удачной из дум — «Иван Сусанин» — в «Полярной Звезде» (цензурное разрешение помечено 30 ноября 1822 года) до оглашения первого отрывка из «Войнаровского» (как раз содержащего описание Якутска) в Вольном Обществе Любителей Российской Словесности прошло каких-нибудь полгода. В «Войнаровском» и следа не осталось от условного пейзажа большинства «Дум», к которому в последний раз, по старой памяти, вернется Рылеев в самой поздней из них — «Наталия Долгорукова», написанной уже в июле 1823 года. С другой стороны, пробудившееся в работе над поэмой стремление к местным краскам позволило Рылееву отступить от усвоенных им штампов и в предпоследней по времени думе — «Петр Великий в Острогжске». Содержание этой думы также тесно связано с новым поэтическим замыслом Рылеева.

Об успехах Рылеева в словесной жанровой живописи можно судить хотя бы по следующему описанию жилища Войнаровского:

Погасло дневное светило,  
Настала ночь... Вот месяц всплыл,  
И одинокий и унылый,  
Дремучий лес осеребрил  
И юрту путникам открыл.  
Пришли — и ссыльный, торопливо  
Вошел в угрюмый свой приют,  
Вдруг застучал кремнем в огниво,  
И искры сыпались на трут.

Мрак освещая молчаливый,  
И каждый в сталь удар кремня  
В углу обители пустынной  
То дуло озарял ружья,  
То ратовище пальмы длинной,  
То саблю, то конец копья.

Вот, вздув огонь, пришлец суровый  
Проворно жирник засветил,  
Скамью придвинул, стол сосновый  
Простою скатертью накрыл,  
И с лаской гостя посадил.

Обиде в поэме Рылеева таких местных слов, как *юрта*, *пальма*, *жирник*, потребовало от автора специальных примечаний словарного характера.

Уже один этот отрывок своим синтаксическим, лексическим и ритмическим строем, своим непринужденным течением четырехстопного ямба свидетельствует о том же, о чем говорит и вся поэма в целом: о влиянии на Рылеева новых поэтических веяний. «Ты завсегда останешься моим учителем в языке стихотворном», — писал Рылеев Пушкину, когда между ними установилась переписка.<sup>100</sup> Это была правда. Но, говоря о «Войнаровском» и о других незавершенных поэмах Рылеева, было бы ошибочно и односторонне относить все то новое, что проявилось в его поэзии, только на счет могучего влияния Пушкина. Ведь Рылееву был доступен еще и Байрон (правда — не в подлиннике).

Рылеев усваивает ряд особенностей байронической поэмы: этнографическое введение, драматизацию повествования диалогами, лирические монологи, сосредоточение действия вокруг сильной и гордой личности героя, уделение преимущественного внимания его переживаниям. Встречаются иногда примеры непосредственных заимствований, хотя, быть может, и невольных. Слишком отпечатались в сознании Рылеева некоторые картины и образы Байрона, чтобы в описаниях сходных событий или явлений Рылеев мог от них освободиться. Точно так же отдельные строки Пушкина, ритмические волны его стиха с такою силою западали в память, что потом могли сами собою возникать под пером (описание юрты Войнаровского, например, начинается с пушкинского стиха: «Погасло дневное светило»).

Форма повествования от первого лица, исповедь или «автобиография», занимающая значительную часть поэмы, а то и всю поэму, привилась в нашей литературе со времен знакомства с Байроном. У него шильонский узник раскрывает неназванному слушателю свои темничные переживания, Гяур в предсмертной исповеди рассказывает монаху прошлую жизнь свою; у нас — Войнаровский излагает Миллеру историю своей жизни, тесно связанную с историческими судьбами родины, Чернец Козлова и позднее Мцыри Лермонтова следуют примеру Гяура, один из пушкинских «братьев-разбойников» занимает досуг товарищей рассказом об удалой юности, о душной тюрьме и бегстве из нее. Подобных примеров в русской поэзии двадцатых-тридцатых годов много. Рылееву эта форма повествования оказалась особенно близкой, так как для него она была подготовлена «Думами», с неизменным отнесением действия в прошлое — в рассказ или воспоминание героя.

Но в «Войнаровском» Рылеева немало резко отличного и от поэм Пушкина и от поэм Байрона. Основное различие в том, что у Рылеева почти исключена любовная интрига, являющаяся сюжетным стержнем байронической поэмы. Традиционная фабульная схема: герой — героиня — соперник (в «Бахчисарайском фонтане»: герой — героиня — соперница) у него отсутствует. Любовь включена в поэму лишь как вводный эпизод, и не на ней сосредоточено внимание автора и читателя. Чужды Рылееву и разные дополнительные сюжетные мотивы, присущие поэмам Байрона и сопутствующие романтической завязке: похищения, переодевания, личная месть. У рылеевских героев личное чувство не существует вне гражданского долга. Противоречия между чувством и долгом (излюбленная тема драматургии классицизма) никогда не возникают в их сердцах. Для героя байронической поэмы, и прежде всего поэмы самого Байрона, не могло быть примирения с личным врагом; для рылеевского героя непримиримо-личным врагом был только враг и оскорбитель родины.

Говоря о своеобразии «Войнаровского», как особого вида русской романтической поэмы, нельзя не коснуться здесь же двух других незавершенных опытов Рылеева в том же роде. Отрывки, напечатанные впоследствии под заглавием «Палей» и «Гайдамак», едва ли не являются

набросками к большой поэме о Мазепе. Во всяком случае Николай Бестужев называл их именно «начатками о Мазепе».<sup>101</sup> Работа над осуществлением этого замысла шла почти одновременно с работой над «Войнаровским». План другой поэмы — «Наливайко» — сложился у Рылеева, когда полный текст «Войнаровского» был уже в печати. Таким образом в ряду крупных поэтических созданий, задуманных Рылеевым, последним был «Наливайко».

Герои рылеевских поэм только внешне напоминают героев Байрона: черты Конрада («Корсар») и Гяура проглядывают на их украинских физиономиях. Но зато всем своим внутренним складом они гораздо более сродни героям «Дум». Гордые одиночки, которых воспевают Байрон, всегда таинственны; всё в них и вокруг них загадочно: их одиночество, их молчание, их тоска. Сознание собственного превосходства отмежевывает их от «толпы». Рылеевский «гайдамак», пожалуй, наиболее байроничен из всех героев русского поэта; в обрисовке же остальных Рылеев избегает этой нарочитой недосказанности. Их тоска не безотчетна: она вырастает на вполне реальной почве и свидетельствует не об отчужденности от «толпы», а о кровной связи с народом. Герои Рылеева знают чувство ненависти — не к людям вообще, но к «тиранам и рабам», то есть к рабам по духу, к тем, кто с тупым покорством сносит свое рабство.

Не похож на героиню Байрона и единственный женский образ, встречающийся в поэмах Рылеева, — образ жены Войнаровского. Молодой Войнаровский, раненный в стычке с крымскими татарами, подобран в поле юной казачкой. Она ухаживает «за страждущим больным», и неприметно в их сердцах зарождается друг к другу любовь. Подобный сюжетный мотив встречается у Байрона («Мазепа») и, надо думать, что этот эпизод в поэме Рылеева восходит непосредственно к нему, минуя пушкинскую черкешенку. Войнаровский женится на казачке, и читатель вправе думать, что с брачным венцом ее роль в поэме исчерпана и что разница ее судьбы с судьбою байроновских героинь только и заключается в этом благополучном конце. Но на самом деле настоящая роль казачки еще впереди. Подлинная героиня любви и долга, жена Войнаровского подходит его в Сибири и разделяет с ним его печальную долю. Вот как рассказывает о ней овдовевший Войнаровский:

С какою страстию она,  
Высоких помыслов полна,  
Свое отечество любила,  
С какою живостью об нем,  
В своем изгнании роковым,  
Она со мною говорила!  
Неутолимая печаль  
Ее, тягча, снедала тайно..

Она могла, она умела  
Гражданкой и супругой быть,  
И жар к добру души прекрасной,  
В укор судьбине самовластной,  
В самом страданьи сохранить.

Главный герой поэмы Войнаровский является лишь отраженным лучом своего «друга и родственника Мазепы». Рылеев не ставил своей задачей создать исторически убедительный образ гетмана. К тому же, вложив повествование о Мазепе в уста его племянника и сообщника, поэт тем самым обрек характеристику гетмана на неизбежную односторонность. Пушкин упрекал Рылеева в том, что он не заставил Миллера возражать Войнаровскому, а вывел его безмолвным слушателем. Несколько лет спустя Пушкин ответил Рылееву своей «Полтавой».

Рылеев прекрасно знал, что «для Мазепы, кажется, ничего не было священным», что это был «великий лицемер, скрывающий свои злые намерения под желанием блага родине», но в данном случае ему и не важен был исторически достоверный образ. Он писал не столько историческую поэму, сколько гражданскую поэму на историческом материале. Мазепа был нужен поэту как единственно возможная ширма, под прикрытием которой он мог затронуть запретную тему «борьбы свободы с самовластьем». Искусственность такой маскировки кольнула некоторых читателей: «...всего чуднее для меня мысль представить подлеца и плута Мазепу каким-то Катюном», — удивлялся поэт и театрал Катенин.<sup>102</sup>

Противоречие между историческим Мазепой и той ролью, в которой он выступает в поэме, было понятно и Рылееву. Если «Жизнеописание Мазепы», приложенное к отдельному изданию «Войнаровского» и написанное сотрудником Рылеева по «Полярной Звезде» историком Корниловичем, предназначалось, быть может, более для цензуры, чем для читателей, то гораздо важнее те сомне-

ния в Мазепе, что проскальзывают порою в рассказе самого Войнаровского.

Племянник Мазепы привык неограниченно верить своему дяде, «читать» и «обожать» его. Но, несмотря на десятилетнее общение с ним, Войнаровский так и не смог разгадать,

Что в глубине души своей  
Готовил он родному краю.

Мазепа скрытен и хитер. Словами о любви к отчизне и свободе он покорила пылкий дух Войнаровского. Но теперь, почти через тридцать лет после того, как гетман поверил ему «важную тайну», изгнанник Войнаровский начинает догадываться, что его погубила слепая вера в Мазепу.

Началом бед моих была  
Сия беседа роковая!  
С тех пор пора утех прошла,  
С тех пор, о родина святая,  
Лишь ты всю душу заняла!  
Мазепе предался я слепо,  
И, друг отчизны, друг добра,  
Я поклялся враждой свирепой  
Против Великого Петра.  
Ах, может, был я в заблужденьи,  
Кипящей ревностью горя;  
Но я в слепом ожесточеньи  
Тираном почитал царя..  
Быть может, увлеченный страстью,  
Не мог я цену дать ему,  
И относил то к самовластью,  
Что свет отнес к его уму.

Мазепа настолько сумел «приковать к себе сердца» своих сторонников, что Войнаровский в конце концов так и не может ответить себе на вопрос: был ли гетман другом или врагом свободы. Но вместе с тем Войнаровский знает одну страшную истину, которая могла бы объяснить ему многое: народ не пошел за Мазепой. Вспоминается Войнаровскому, как привели к Мазепе, бежавшему вместе с Карлом, двух пленных украинцев:

Облокотяся, вождь седой,  
Волнуем тайно мрачной думой,  
Спросил, взглянув на них угрюмо:  
«Что нового в стране родной?»  
«Я из Батурина недавно, —  
Один из пленных отвечал; —  
Народ Петра благословяя



И, радуясь победе славной,  
На стогнах шумно пировал;  
Тебя ж, Мазепа, как Иуду,  
Клянут украинцы повсюду,  
Дворец твой, взятый на копье,  
Был предан нам на расхищенье,  
И имя славное твое  
Теперь — и брань, и поношенье!»

Таким образом в разных местах рассказа Войнаровского разбросаны зерна исторически правильного понимания личности Мазепы, но их нужно отсеивать; иначе они потонут в гражданской патетике речей самого гетмана.<sup>103</sup>

Гораздо более цельной в историческом отношении и еще более острой в плане гражданском представляется другая, — к сожалению, неоконченная, — поэма Рылеева «Наливайко». Тема поэмы — борьба украинского казачества с панской Польшей за свою национальную независимость в конце XVI столетия.

Сохранившийся план поэмы и отдельные стихотворные заготовки позволяют нам проникнуть в творческий замысел Рылеева. Он предполагал начать поэму с «сельской картины», с изображения «нравов малороссиян». Налицо уже знакомый нам прием «этнографической увертюры». Деревенский пейзаж Украины должен был сменяться видом Киева, некогда стольного города. Одни воспоминания остались от его прежней славы. В «междоусобиях князей» растрчены бывшие богатства Киева. Пронеслась гроза Батыя. За Батыем прошел Гедимин:

На миг раздался глас свободы,  
На миг воскреснули народы...  
Но Киев на степи глухой,  
Дивить уж боле неспособный,  
Под властью ляха роковой,  
Стоит, как памятник надгробный  
Над угнетенною страной!

Наступает весна, но не в радость она украинцам:

Что за всселье без свободы,  
Что за весна — весна рабов?

Сумрачно и холодно смотрят они на голубое небо иastreющие цветами поля. Заунывны их песни (можно думать, что в этом месте поэмы предполагалась песня украинских дев).

Острее всех переносит унижение родной страны Наливайко. Одинокó бродит он по степи, беседуя сам с собою:

Забыв вражду великодушно,  
Движенью тайному послушный,  
Быть может, я еще могу  
Дать руку личному врагу;  
Но вековые оскорбленья  
Тиранам родины прощать  
И стыд обиды оставлять  
Без справедливого отмщенья  
Не в силах я: один лишь раб  
Так может быть и подл и слаб.  
Могу ли равнодушно видеть  
Порабощенных земляков?..  
Нет, нет! Мой жребий: ненавидеть  
Равно тиранов и рабов.

Далее должна была развернуться «картина Украины», но уже не в этнографическом, а в социально-политическом плане. «Притеснения и жестокости поляков» и мученическая смерть гетмана Косинского от руки униатов вызывают ответные выступления со стороны украинских патриотов. Наливайко убивает «младого ляха», чигиринского старосту. Это — знак, что чаша народного терпения переполнилась. Вспыхивает восстание против иноземного ига. Наливайко избирается гетманом. Перед тем как выступить в поход, Наливайко совершает паломничество в Киевские пещеры, молится там об «угнетенных земляках», постится семь дней и открывает печерскому инокó свои заветные думы. А думает он о том,

Чтоб Малороссии родной,  
Чтоб только русскому народу  
Вновь возвратить его свободу...

Радостно и шумно выступают в поход казаки. Весело смотрит на них Наливайко и говорит своему другу — полковнику Лободе:

Бессмертна к родине любовь,  
Раздастся глас святой свободы,  
И раб проснется к жизни вновь...

И, подняв глаза к небу, гетман творит молитву. Он знает, что много крови прольется, но прольется она не ради его личной славы, не ради его честолюбивых замыслов, а «за край родной».

Затем, по плану Рылеева,<sup>4</sup> следовало изобразить два враждебных стана накануне битвы. Ночь. «Спят сладко ратники свободы», а в лагере врагов слышны песни, крики, ругань. Тревожным сном спит начальник поляков — коронный гетман Жолкевский. Снится ему площадь в Варшаве; палач подводит к костру кого-то, одетого в саван, а за ним из всех улиц вливаются на площадь толпы народа; каждый несет в руках свою отрубленную голову; без боязни встречает смерть осужденный, окутанный клубами черного дыма.

Вдруг в небесах раздался глас:  
Свершилось все.. на вас, на вас  
Страдальца кровь и вопль проклятий.  
Погиб, но он погиб за братьев.  
Народ ужасно застонал,  
Кругом костра толпиться стал,  
И, головы бросая в пламень,  
Назад в стенании бежал  
И упал на холодный камень.  
Все тихо... Только кровь шумит..

Вещий сон сменяется действительностью. Сражение, победа казаков, тризна по погибшим. Мир заключен, но враг коварен и вероломен: воспользовавшись приездом Наливайко и Лободы на сейм в Варшаву, ляхи ввергают их в тюрьму. Наливайко в темнице. Он может и не хочет бежать: ведь он еще в Киевских пещерах осознал свое призвание искупительной жертвы ради будущей свободы родины.

Поэма должна была заканчиваться картиной казни (исторический Наливайко был брошен в медного быка, которого жгли медленным огнем) и эпилогом. Содержание эпилога неизвестно.<sup>104</sup>

Из всей поэмы вполне отделанными можно считать только три отрывка, напечатанные самим Рылеевым: «Киев», «Смерть Чигиринского старосты» и «Исповедь Наливайки». Но сохранившийся план и черновые наброски подсказывают уже определенные выводы. Рылеев-повествователь делал заметный шаг вперед. Конечно, композиция поэмы была predetermined установлена установившимся канонизмом байронической поэмы; сон Жолкевского безусловно вредил общему замыслу чрезмерным сгущением кровавых и зловещих тонов, — но все же, если бы «Наливайко» был завершен, мы имели бы в нем законченный образец

гражданско-романтической поэмы. Этот новый вид русской романтической поэмы, глубоко отличный от поэмы Пушкина, Козлова, Боратынского, был открыт Рылеевым. При всей несоизмеримости его таланта с талантом Пушкина, Рылеев сумел рядом с большой дорогой, по которой шел Пушкин, и очень близко к ней, проложить свою собственную, обособленную тропу. В этом его оригинальность, не ускользнувшая от самого Пушкина: «Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своею дорогою».<sup>105</sup>

Появление в первой половине 1825 года отдельного издания «Дум», полного текста «Войнаровского» и отрывков из «Наливайко» было настоящим литературным событием. Но оно было также и событием общественно-политическим... Для этого существовали особые причины.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

5 июня 1823 года в Петербургскую уголовную палату поступил сверхштатным членом отставной поручик гвардейской конной артиллерии Иван Иванович Пуштин. Это был лицеист первого выпуска, товарищ Пушкина. У поэта было много приятелей, — много «братьев по чаше»; но «первым другом», «другом бесценным» остался для него навсегда Пуштин. Поступление его на судебную должность произошло при обстоятельствах, вызвавших в то время оживленные толки и пересуды.

Еще не так давно, в конце декабря прошлого года, Пуштин был произведен в поручики. Вскоре после того, чуть ли не в новый год, довелось ему быть на выходе во дворе: Великий князь Михаил Павлович заметил, что темляк на сабле молодого поручика повязан не по форме. Бряцая шпорами, он подошел к Пуштину и, не щадя его самолюбия, при всех сделал ему грубый выговор. Задетый за живое, Пуштин вернулся домой и сейчас же написал прошение об отставке.

Просьба Пуштина была удовлетворена. Его уволили от военной службы «для определения к штатским делам». Каково же было удивление, изумление и негодование его родных, когда Пуштин заявил им о своем намерении занять должность... квартального надзирателя. В службе

государству и народу, говорил он, нет ни одной должности, которая была бы унижительна сама по себе: все зависит от того, кто ее занимает. Должность квартального надзирателя презренна потому, что занимают ее обычно люди, не способные внушить к себе уважение. Важны не чины, а люди; первейшая обязанность каждого — служить на любом посту «общественному благу». Эти взгляды, казавшиеся дикими родным Пущина, неопровержимо свидетельствовали о его идейной близости к Союзу Благоденствия. Пущин в течение ряда лет состоял членом этого тайного общества и хорошо усвоил его общественно-просветительные и политико-реформаторские цели. В выполнении задач, поставленных Союзом Благоденствия, раскрылся для Пущина основной смысл существования. «Эта высокая цель жизни самую свою таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла в душу мою, — вспоминал он впоследствии, — я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах: стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собою, как за частицей, хотя ничего не значащею, но входящею в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие». <sup>106</sup> Несмотря на формальный роспуск Союза Благоденствия, некоторые верные его принципам члены продолжали в одиночку следовать заветам «Зеленой книги». В числе ее преданных адептов был и Пущин. Ничего постыдного не было в том, чтобы бывший гвардеец служил квартальным надзирателем, но все-таки мало кто, даже из главных идеологов Союза Благоденствия, отважился бы на такой выбор.

Сестра Пущина со слезами умоляла брата не позорить дворянского звания, — он сначала был непреклонен. Но когда она стала перед ним на колени, не выдержал унижения сестры и, скрепя сердце, отступился от своего намерения. Однако выгодные и почетные в глазах светского общества посты не прельстили Пущина: пусть выбранное им место в уголовной палате незаметно и незавидно, — оно дает ему возможность послужить «делу общему» («res publica»). Так Пущин сделался сослуживцем Рылеева. <sup>107</sup>

Желание бороться по мере сил с произволом и злоупотреблением в области правосудия было главной причиной, по которой Пущин остановил свой выбор на судебной

должности. Это же самое желание руководило Рылеевым в его повседневной работе на посту председателя Петербургской палаты уголовного суда. Неудивительно, что у них сразу же нашелся общий язык.

Знакомству с Пушиным суждено было сыграть в жизни Рылеева роль исключительную по своим последствиям. Пушкин открыл ему существование в Петербурге тайного общества и ввел Рылеева в круг его членов. И как некогда Пушкин обрел самого себя, приобщившись к деятельности Союза Благоденствия, так день открытия важной тайны, в которую посвятил его Пушкин, стал для Рылеева днем его второго рождения.

## 2

После официального роспуска Союза Благоденствия в начале 1821 года тайное общество, созданное на юге Пестелем, постановило во что бы то ни стало стремиться к изменению существующего в России государственного строя, добиваясь «не только упразднения престола, но истребления всех лиц, кои могли бы тому препятствовать». <sup>103</sup> На севере, в Петербурге, главари тайного общества также вовсе не склонны были считать его навсегда закрытым, но в действительности оно замерло: внешние обстоятельства не благоприятствовали его деятельности. Весной того же года гвардия была выведена из Петербурга в западные губернии, а ведь именно в недрах гвардии зародилось и развивалось политическое самосознание. На время члены тайного общества оказались разобщенными между собою.

Возвращение гвардии в столицу летом 1822 года привело к возрождению петербургской управы тайного общества. Инициатором ее пробуждения к общественно-политической жизни был, по видимому, Никита Муравьев. Он служил тогда в гвардейском генеральном штабе. К нему присоединились и другие члены бывшего Союза Благоденствия, находившиеся в это время в Петербурге. Их было не так много. Князь Сергей Трубецкой служил полковником в Преображенском полку, князь Евгений Оболенский — старшим адъютантом во 2-й гвардейской пехотной дивизии, Нарышкин — полковником в Измайловском полку, Пушкин — тогда еще в гвардейской конной артиллерии; на гражданской службе — помощником статс-секретаря.

Государственного совета — состоял Николай Тургенев. Они образовали ядро тайного общества. Воскресало оно как раз в ту пору, когда Александр I рескриптом на имя министра внутренних дел запретил всякие тайные общества и масонские ложи. Отчасти из конспиративных целей учредители общества не дали ему никакого названия. К тому же они видели в нем лишь возобновление прежней управы Союза Благоденствия. Но с течением времени, в отличие от южной группы Пестеля, петербургское общество стало именоваться *Северным*. Кроме названных лиц, в Петербурге находилось еще человек десять, ранее причастных к Союзу Благоденствия, но половина из них либо вообще сторонилась политической деятельности, либо по разным причинам вскоре же отошла от вновь образовавшегося тайного общества. Неограниченным авторитетом и влиянием в кругу его членов пользовался Никита Муравьев. Он был единоличным правителем Северного общества и главным его теоретиком, работавшим над проектом конституции.

Слухи о возрождении петербургской тайной организации дошли до Пестеля. Южное общество к этому времени уже окончательно сложилось и, подчинившись полновластному идеологическому руководству Пестеля, имело перед собою готовую социально-политическую программу, нашедшую свое выражение в пестелевской «Русской Правде».

С начала 1823 года Пестель пытается распространить свое влияние и на Северное общество. Он шлет в Петербург с «дипломатическими» поручениями своих уполномоченных — членов Южного общества князя Сергея Волконского, Василия Давыдова и князя Александра Барятинского.

Волконскому Пестель поручил разведать о положении дела в Северном обществе. Муравьев сообщил ему первоначальную редакцию своей конституции. Пестель через Давыдова ответил Никите Муравьеву «предлинным письмом», в котором не оставил камня на камне от его проекта. В свою очередь он направил ему «начертание» «Русской Правды». Политический радикализм Пестеля напугал «беспокойного Никиту». В разговоре с Давыдовым он держался «неопределительно» и так же уклончиво отвечал Пестелю. Но, воспользовавшись социальной неоднородностью Южного общества, он послал текст своей конституции — конституции буржуазно-помещичьего толка —

Сергею Муравьеву-Апостолу. Зная его умеренно-политические взгляды, он полагал таким образом вбить первый клин между ним и Пестелем: разрушить организационное единство Южного общества было бы наруку северянам.

Третьим посланцем Пестеля в Петербург был Барятинский. Он сообщил Муравьеву о готовности южан к революционному выступлению и потребовал ответа, каковы же силы Северного общества. Устрашенный революционными планами Пестеля, Муравьев ссылался на необходимость «начинать с пропаганды». Так ни до чего и не договорились Барятинский и Муравьев. С негодованием отзывался Барятинский о правителе Северного общества: «Муравьев ищет все толкователей Бентама, а нам действовать не перьями».<sup>109</sup>

Вслед за Барятинским приехал в Петербург — на положении постоянного представителя Пестеля — Матвей Муравьев-Апостол. Его миссия состояла в том, чтобы добиваться соединения Северного и Южного обществ при условии подчинения обоих единому идейному и организационному руководству. Само собою разумеется, что для осуществления такого руководства намечался отнюдь не Никита Муравьев, а сам Пестель.

Давлению с юга обязано было Северное общество значительным оживлением своей деятельности. В октябре 1823 года, собравшись у Пущина, члены тайного общества «нашли необходимым дать правлению общества сильнейшее действие и потому решили дабы вместо одного правителя выбрать трех».<sup>110</sup> Триумvirат, возглавивший отныне Северное общество, состоял из Никиты Муравьева, Трубецкого и Оболенского. Тут же решено было распределить занятия между главными членами. Так за Никитой Муравьевым осталась разработка конституции, Тургенев взялся написать рассуждение об уголовном судопроизводстве, на долю Оболенского выпало изложить «обязанности гражданина». Присутствующие согласились с требованием вновь избранной Думы, чтобы в члены принимать не иначе, как с согласия директоров. На этом же собрании Пущин предложил ввести в круг членов Северного общества своего сослуживца Рылеева.

«Чтоб быть приняту в члены общества, надобно было прежде подвергнуться испытанию. Принимающий должен был узнать образ мыслей принимаемого. Если сей последний пламенно любил Россию, если он для блага ее готов



был на всякое самоотвержение, если был хорошего поведения, притом скромн и умен, то принимающий мог его принять немедленно...»<sup>111</sup> — таковы были, в изложении Рылеева, основные правила приема членов, выработанные к моменту вступления его самого в тайное общество. В глазах учредителей Северного общества Рылеев безусловно отвечал всем этим требованиям. «Испытывать» его не приходилось. Послание «К временщику», «Думы», гражданские оды, наконец деятельность на посту председателя уголовной палаты достаточно свидетельствовали об образе мыслей Рылеева.

Пушкин открыл Рылееву, что тайное общество управляется Думой, но, на первых порах утаил от него имена тех, кто в ней состоит. Одной из первейших задач общества выставил он «свободу крестьян»; долг каждого члена — «склонять умы в пользу оной».<sup>112</sup>

Поздней осенью 1823 года Рылеев был впервые приглашен на совещание членов тайного общества.<sup>113</sup> Собирались на квартире у полковника лейб-гвардии Финляндского полка Митькова. Он жил тогда на Васильевском острове, на 18-й линии. Толковали о правилах приема новых членов, об осторожности и тайне, которыми следует окружать дела общества. Из разных намеков и обмолвок Рылеев мог заключить, что общество существует уже давно. Велико ли оно, какова его сила — он не знал. Здесь, у Митькова, находилось всего шесть человек, не считая самого хозяина: то были Пушкин, Никита Муравьев, Оболенский, Тургенев, Нарышкин, Александр Поджио. Может быть, ими одними и ограничивается все общество? Но, с другой стороны, присутствие среди них действительного статского советника Тургенева как будто бы свидетельствует о том, что общество имеет свои «отрасли» в высших сферах: ведь Тургенев занимает видный пост в Государственном совете.

После совещания на расспросы Рылеева Пушкин отвечал, что общество возникло «около десяти лет тому назад» (не будучи сам свидетелем его возникновения, он ошибся на несколько лет), что до Семеновского возмущения оно было очень сильным, но позднее многие сочли благоразумным выйти из его рядов. Вследствие этого общество было «преобразовано» на московском съезде 1821 года и подверглось «некоторому усовершенению».<sup>114</sup>

За совещанием у Пушкина состоялись новые собрания —

у Оболенского, Рылеса, Нарышкина, Поджио. Установить их хронологическую последовательность, а также кто именно на каком из них присутствовал, — трудно. Показания участников этих сходов противоречивы. Очевидно одно: зима 1823—1824 года ушла главным образом на обсуждение организационных вопросов. Принято было предложение Тургенева о разделении общества на два «круга» или степени: «убежденных» и «соединенных». Первым принадлежали права: выбора Думы, принятия новых членов, получения от Думы отчета о действиях общества; вторые находились как бы в стадии испытания; основная цель общества была им известна, но в совещаниях они не участвовали, знали только того, кто их принял, и сами не имели права пополнять рядов общества новыми членами. Рылеев принадлежал к небольшому числу лиц, принятых прямо в верхний круг. Объясняется это двумя причинами: во-первых, образ мыслей Рылеева был слишком хорошо известен, чтобы подвергать его предварительному испытанию; во-вторых, в пору вступления его в тайное общество структура последнего еще не была разработана и степень «соединенных» вообще в нем отсутствовала. Учреждение ее внушалось соображениями осторожности. На осмотрительности в особенности настаивал Трубецкой. К чему набирать «пустую молодежь», которая будет только болтать, кричать и наделает шуму? А там, того и гляди, придется снова распустить общество. Нужно искать «людей солидных, постоянных и рассудительных», людей во всех отношениях надежных; «числом достоинства не заменишь». <sup>115</sup>

Выработанные на первых совещаниях правила в действительности не соблюдались с безусловной строгостью. Вскоре «соединенные» в свою очередь получили право принимать новых членов, но не более двух. Это правило также постоянно нарушалось по мере того, как общество становилось более деятельным.

В конце 1823 года Пестель снова предпринимает шаги к соединению Северного общества с Южным. Снова едут в Петербург Давыдов и Волконский, но их переговоры с Трубецким и Муравьевым не приводят ни к чему. Столь же безуспешной оказалась и миссия полковника Повалова-Швейковского, явившегося в качестве предтечи тульчинского диктатора: вслед за Швейковским в Петербург ехал сам Пестель.

Около двух месяцев провел Пестель в Петербурге. За это время он виделся и беседовал с руководителями Северного общества. Он решил повидать их сначала «по-одиночке». Это был тактический ход: Пестель рассчитывал таким образом «отклонить их друг от друга» и тем самым облегчить себе путь к переговорам с Думой в ее полном составе.

Одна из таких бесед с глазу на глаз состоялась между Пестелем и Рылеевым. Пестель уже знал или догадывался о растущем влиянии Рылеева в среде Северного общества. Кроме того, по своему общественному положению Рылеев более других был способен примкнуть к социально-политической программе южан. Матвей Муравьев-Апостол за несколько месяцев своего знакомства с ним убедился в том, что Рылеев не был принципиальным противником республиканского строя, хотя и считал, что Россия к нему еще не готова. Своих впечатлений от бесед с Рылеевым он не мог не пересказать Пестелю, встретившись с ним тотчас же по его приезде.

С Рылеевым Пестель был осторожен. Он не раскрывал ему всех своих карт, но старался наводящими вопросами и поддакиванием «выведать» его образ мыслей. Это был неоднократно испытанный им прием «пришпоривания», с тем чтобы вызвать собеседника на откровенность.

Разговор зашел о преобразовании государственного строя России. Рылеев заявил Пестелю то же, что не раз говорил и Никите Муравьеву и Матвею Муравьеву-Апостолу: он, Рылеев, питает «душевное предпочтение» к государственному устройству Северо-Американских Соединенных Штатов и считает этот «образ правления» наиболее подходящим для России «по обширности ее и разнообразности населяющих ее народов». Пестель одобрительно кивал головой. Но, — продолжал Рылеев, — «Россия к сему образу правления еще не готова». Пестель согласился и с этим, принявшись в свою очередь расхваливать конституционно-монархический строй Англии: ему, этому строю, обязана Англия своим «настоящим богатством, славой и могуществом». На возражение Рылеева, что английский государственный устав все же устарел, что народы Европы дошли уже до той степени просвещения, при которой требуется более свободный и совершенный государственный порядок, что конституция Англии отличается многими недостатками и «обольщает только

слепую чернь, лордов, купцов...» — Пестель подхватил: «...да близоруких англоманов! Вы совершенно правы». После того заговорил он об испанской конституции и не скупился на похвалы ей... Мало-помалу разговор соскользнул на события последних десятилетий, на того, чье имя еще так недавно было у всех на устах. «Вот истинно великий человек! — воскликнул Пестель. — По моему мнению, если уже иметь над собою деспота, то иметь Наполеона. Как он возвысил Францию! Сколько создал новых форту! Он отличал не знатность, а дарования...»

Рылеев насторожился: «Сохрани нас бог от Наполеона! Да, впрочем, этого и опасаться нечего. В наше время даже и честолюбец, если он только благоразумен, пожелает лучше быть Вашингтоном, чем Наполеоном».

— Разумеется, — согласился Пестель, — я только хотел сказать, что не должно опасаться честолюбивых замыслов, что если бы кто и воспользовался нашим переворотом, то ему должно быть вторым Наполеоном; и в таком случае мы все останемся не в проигрыше.

Затем он перевел разговор: «Скажите же, какое бы предпочитаете правление для России в теперешнее время?»

Рылеев повторил, что он сторонник республиканского строя Северной Америки, но «при императоре»; власть его, однако, не должна превышать власти президента республики.

— Это счастливая мысль, — раздумчиво промолвил Пестель после минутного молчания, — об этом надо хорошенько подумать...

Рылеев прибавил, что он готов присоединиться к большинству голосов членов тайного общества, хотя сам и убежден в превосходстве именно такого государственного устройства. Но он решительно возражает против насильственного введения государственного устава, выработанного совместно обоими обществами. Самое большее, что они могут сделать, это составить проект такого устава, но принять или не принять его — зависит от «Великого Народного Собора». Эти соображения Рылеева расходились с намерениями Пестеля. Он вспаривал их, настаивал на том, чтобы тайное общество всеми возможными средствами добилось утверждения своего проекта; нужно изо всех сил стараться, дабы как можно более членов общества вошло в состав народных представителей на будущем Собрании.

— Это совсем другое дело! — сказал Рылеев. — Безрас- судно б было о том не хлопотать, ибо этим некоторым образом сохранится законность и свобода принятия госу- дарственного устава.

Двухчасовой разговор Пестеля с Рылеевым закончился обсуждением земельного вопроса. У Рылеева не было на этот счет своего мнения. Известный северянам конститу- ционный проект Никиты Муравьева предусматривал уни- чтожение «крепостного состояния», но при оставлении всей земли в руках помещиков. Правда, на каждый кре- стьянский двор отводилось Муравьевым по две десятины, но по существу это было все равно что ничего. Поме- щичий status quo оставался неизменным. О «пользе освобождения крестьян» много и часто говорил Митьков. Но и он имел прежде всего в виду выгоды помещиков: «помещики получали бы вернее доходы с своих земель, если бы крестьяне были свободны». <sup>116</sup> От Пестеля Рылеев услышал нечто иное, ничуть не похожее на подобные рас- суждения петербургских либералов. Решительный враг «феодальной аристократии», Пестель меньше всего думал о помещичьих доходах. То, что услышал Рылеев, было для него так ново, что он даже не вполне разобрался в нем. Пытаясь припомнить и пересказать слышанное, — правда, уже через несколько лет, — он многое перепутал. В его изложении аграрный проект Пестеля выглядит так: «Пестель полагал, что все вообще земли, как помещичьи, так экономические и удельные, должно разделить в каж- дом селе и деревне на две половины, из коих одну поло- вину разделить поровну крестьянам (с правом дара и продажи) в вечное и потомственное владение; другую же половину... оставить помещикам. Удельных же и экономи- ческих крестьян навсегда приписать к деревням и селам их, с тем, чтобы участками из оных ежегодно наделять крестьян, смотря по требованию каждого, начиная с тех, кто требует менее. Сим последним средством предполагал он уничтожить в России нищих». На самом деле, по проекту Пестеля, вся земля, составляющая единый госу- дарственный фонд, делилась на две равные части: одна распределялась между всеми гражданами, но без права продажи или залога; другая часть могла продаваться или сдаваться в аренду желающим.

Рылеев видел Пестеля только один раз. По первому впечатлению он не смог вполне разгадать этого человека

с движениями быстрыми и властным взглядом. За два часа он представлялся ему то «гражданином Северо-Американской республики», то английским конституционалистом, то якобинцем, то бонапартистом. Мелькало смутное подозрение, не метит ли он в Бонапарты... Он и внешне чем-то напоминает Наполеона.<sup>117</sup>

В Пестеле было нечто непонятное Рылееву, нечто такое, что заставляло быть начеку. Но логическая стройность суждений, дар слова, твердый, энергичский ум подкупали с первого раза. «Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю», — записал Пушкин после своего свидания с Пестелем в Кишиневе в 1821 году. «Революционная голова» — таким остался Пестель в представлении поэта.<sup>118</sup> Едва ли не то же самое почувал в нем и Рылеев.

Пестель ничуть не походил на петербургских друзей Рылеева. Людей дела, революционных «голов» как раз недоставало Северному обществу; его лучшим членам, как покажет будущее, даны были только революционные сердца.

Приезд Пестеля и его беседы *à parte* с членами петербургского тайного общества взбаламутили размеренный строй его деятельности. Один из директоров общества совсем было поддался убеждениям Пестеля. Это «ревностный патриот и мечтатель» Оболенский. Пленившись новизной мысли и силой доводов Пестеля, он готов был принять его программу и склонялся к соединению обществ. Зато Трубецкой и Муравьев упорно и единодушно отстаивали идеологические позиции Северного общества. Под их влиянием и Оболенский отказался от своих уступок Пестелю.

В то время как вождь Южного общества пытался по-рознью завоевывать северян, последние участвовали в своих совещаниях: нужно было выработать общую линию поведения по отношению к южанам. Одно из совещаний состоялось у Рылеева. Трубецкой горячо восставал против слияния обществ. Он ссылаясь на то, что Пестель ни за что не примет муравьевской конституции, а будет непременно навязывать свою собственную. Рылеев возражал Трубецкому: находить в этом препятствие к соединению обществ есть «признак самолюбия». Он повторил то, что говорил и Пестелю: любой конституционный проект — это только проект; вопрос — быть или не быть тому или иному государственному уставу — решается Великим Народным Собо-

ром. Но Пестель,—продолжал Трубецкой,— настаивает на том, чтобы новый государственный строй был введен временным правительством, составленным из директоров общества. Это правительство должно в течение длительного срока осуществлять революционную диктатуру. Заявление это смутило Рылеева. Ему припомнились слова Пестеля о Наполеоне. То, что сейчас сказал Трубецкой, только подтверждает догадки и опасения самого Рылеева. Он не удержался, чтобы не высказать своих подозрений насчет честолюбивых замыслов Пестеля. Уж не мечтает ли он сам о единоличном всероссийском диктаторстве? «Пестель — человек опасный для России,— сказал Рылеев,— уже по одному этому соединение обществ необходимо»; это даст возможность не выпускать Пестеля из виду и следить за всеми его действиями.<sup>119</sup>

Не удалось Пестелю сбить Муравьева и Трубецкого с прочно занятых ими позиций. Вопрос о диктатуре временного правительства и «аграрный закон» послужили главными камнями преткновения в их переговорах. В первом случае опасались, как бы не попасться на удочку личного честолюбия Пестеля; во втором — не могли отступить от основных положений своей крестьянской реформы, столь безболезненной для помещиков. Но и по многим другим пунктам своей программы Пестель встретил решительное противодействие. Вождей Северного общества отпугивало не столько установление республики, сколько «истребление всех лиц, кои могли бы тому препятствовать». При таком полном расхождении в идеологических и тактических вопросах соединить общества становилось невозможным. На последнем совещании Пестель, выведенный из себя, стукнул кулаком по столу со словами: «Так будет же республика!» — и вышел, сказав Трубецкому: «Стыдно будет тому, кто не доверяет другому и подозревает в другом личные какие виды, а последствие покажет, что таковых видов нет».<sup>120</sup>

Пестель уехал. Но прежнее единство в рядах Северного общества было поколеблено. Поднятые Пестелем вопросы продолжали волновать умы северян. Быть ли России республикой, что делать с императором и всей царской фамилией, назначать ли временное правительство — эти вопросы так и не сошли с неписанных повесток их совещаний.

Казалось бы, в словопрениях с Пестелем умеренные тен-

дэнци северян одержали победу. Между тем именно эти споры привели к образованию левого течения в самом Северном обществе. Пусть Никита Муравьев остается по-прежнему главным его теоретиком, — не ему предстоит вести северян вперед — к делу. Матвей Муравьев-Апостол в том же году писал своему брату Сергею: «Северное общество останавливает Никита Муравьев, который только что толкует всем членам быть осторожнѣе», зато «Рылеев в полном революционном духе». <sup>121</sup>

Мало-помалу Рылеев становится душою Северного общества.

### 3

С вступлением в ряды тайного общества Рылеев не мог не ощутить пробелов в своем политическом и общем образовании. Недостатки эти становились в особенности заметными рядом с глубокой и разносторонней образованностью Никиты Муравьева или Николая Тургенева. Один своими богатыми познаниями в области истории, философии, экономики и права был обязан главным образом неутомимому самообразованию; другой был воспитанником двух университетов — Московского и Гёттингенского. Работая над проектом конституции, Муравьев изучил все известные дотоле конституционные уставы Европы и Америки. По своим знаниям он был достойным соперником Пестеля, голову которого друзья сравнивали с «конторкою»: стоило только заговорить о чем-нибудь, как Пестель тотчас же выдвигал один из ящичков этой «конторки» и выкладывал содержимое «с величайшею удовлетворительностью». <sup>122</sup> Письма и дневники Николая Тургенева — это не только зеркало пытливого ума, это настоящая энциклопедия чтения. В широте интересов не отставал от своих собратьев по тайным обществам и Сергей Трубецкой. В бытность свою с русскими войсками в Париже Трубецкой, по собственным словам, «слушал почти всех известных профессоров по несколько раз из любопытства, исключая профессоров естественных наук, у которых... слушал полные курсы». Политические события недавнего времени обратили его внимание на изучение «истории и законодательства различных государств»; <sup>123</sup> ему хотелось осмыслить историческую непреложность происходящего.

Этим людям, широко образованным, отлично осведомленным в вопросах европейской публицистики, Рылеев



уступал во многом. Приходилось наверстывать упущенное. Правда, Рылеев читал и раньше кое-что из французской публицистики — Бенжамена Констана, Биньона, но недостаточное знание французского языка ему мешало. Теперь в затруднительных случаях ему была обеспечена помощь людей, не только образцово владевших иностранными языками, но и сведущих в интересующих его вопросах. «Почти каждодневные беседы с людьми одинакового образа мыслей» были для Рылеева хорошей школой. Своим политическим развитием он был немало обязан этим беседам. Насколько серьезно принялся Рылеев заполнять пробелы своего образования, можно судить и по тому, что он устроил у себя дома нечто вроде семинара по политической экономии. Руководил занятиями бывший профессор Петербургского университета Моисей Гордеевич Плисов. Человек твердого и независимого характера, Плисов незадолго до того (в 1822 году) вынужден был оставить свою кафедру в университете, так как его образ мыслей не пришелся по вкусу душителям просвещения — Магницкому и Руничу. К сожалению, нам не известно, кто еще, кроме Рылеева, принимал участие в этих беседах с профессором Плисовым.<sup>124</sup>

Окруженный атмосферой умственных и политических интересов, Рылеев много читает и много думает о прочитанном. Мы знаем, что он давно уже тяготел к историческим темам. Теперь его тянет к большим историко-философским обобщениям.

Среди черновых бумаг Рылеева сохранилась программа ненаписанного трактата: «Дух времени или судьба рода человеческого».<sup>125</sup> Сочинение это было задумано Рылеевым в двух частях. «Человек от дикой свободы стремится к деспотизму; невежество причиной тому» — таков тезис первой части. Рылеев предполагал разделить ее на шесть глав: «1. Первобытное состояние людей. Дикая свобода. 2. Покушения деспотизма. Разделение политики, нравственности и религии. 3. Греция. Свобода гражданская. Философы. Цари. 4. Рим. Его владычество. Свобода в нем. Цезарь. Дух времени. 5. Рим поработенный. 6. Христос». Тут, по мысли Рылеева, наступает перелом в истории, а потому дальнейший обзор «судьбы рода человеческого» должен был составить содержание второй части. Рылеев собирался посвятить ее раскрытию тезиса: «Человек от деспотизма стремится к свободе; причиной тому

просвещение». Вторая часть, так же как и первая, делилась бы на шесть глав: «1. Гонения на христиан распространяют христианство. Распри их. 2. Феодальная система и крестовые походы. Дух времени. 3. Лютер. Свободомыслие в религии. Дух времени. 4. Французская революция. Свободомыслие в политике. 5. Наполеон. Свержение его. Дух времени. 6. Борьба народов с царями. Начало соединения религии, нравственности и политики».

Французские мыслители годов Реставрации — Шатобрианы, Местры, Бональды — связывали «свободомыслие в религии» со «свободомыслием в политике» и в этом плане подчеркивали преемственность между идеями Реформации и идеями Революции. Теми же определениями пользуется и Рылеев. Но то, что в глазах идеологов реакции имело смысл отрицательного факта, в представлении Рылеева приобретает значение факта положительного. Недаром еще в 1815 году, в одном из своих заграничных писем, он восхищался «великим, чудесным духом» Реформации.

Кроме программы, уцелело в бумагах Рылеева несколько набросков, явно относящихся к его неосуществленному замыслу. Такова, например, следующая запись: «Прежде нравственность была опорой свободы, теперь должно ею быть просвещение, которое вместе с тем род человеческий снова должно привести к нравственности. Прежде она была врожденна, человек был добр по природе; с просвещением он будет добр и добродетелен по знанию, по уверенности, что быть таковым для его блага необходимо». Особенно знаменательны мысли Рылеева о Наполеоне. Они помогают многое уяснить в споре Рылеева с Пестелем: «Тебе все средства были равны — лишь бы они вели прямо к цели; какого бы цвета волны ни были, лишь (бы) поток достигал цели. Добродетели и пороки, добро и зло в твоих глазах не имели другого различия, какое имеют между собою цвета; каждый хорош, когда в меру. Ты старался быть превыше добродетелей и пороков: они для тебя были разноцветные лучи, носящиеся около Кавказа, который, недосягаемым челом своим прорезывая их, касается неба девственными вершинами. — Твое могущество захватило все власти и пробудило народы. Цари, униженные тобою, восстали и при помощи народов низвергли тебя. Ты пал — но самовластие с тобою не пало. Оно стало еще тягостнее, потому что досталось в удел многим».

Народы это заметили, и уже Запад и Юг Европы делали попытки свергнуть иго деспотизма. Цари соединились и силою старались задушить стремление свободы. Они торжествуют и теперь в Европе мертвая тишина, но так затихает Везувий». <sup>126</sup>

Разными глазами смотрели на Наполеона Пестель и Рылеев. Республиканец Пестель самовластиею «многих» предпочитал, на худой конец, одного деспота, но такого, как Наполеон. Это не помешало Пестелю создать самый демократический по тому времени проект революционного преобразования России. Для Рылеева новая редакция Наполеона была вообще неприемлема. Он мог интересоваться Наполеоном, мог отдавать ему должное, но Наполеон никогда не был властителем его дум. Правда, он не называет его теперь «исчадьем злобным ада», как называл раньше, еще в кадетском корпусе, но «истинно великим человеком», как сказал о нем Пестель, Наполеон в глазах Рылеева не был потому, что не постиг «духа времени». Каждый век видит своих Аттил и своих Наполеонов; «к вреду законов и свободы... они являются толпой». Но Цицероны и Катоны исчисляются единицами. И Рылеев с полным убеждением возразил Пестелю: «Сохрани нас бог от Наполеона!»

О том, что такое «дух времени», Рылеев размышлял и в стихах, и в прозе, и в беседах с друзьями:

Заплатимте тому презрением холодным,  
Кто хладен может быть к страданиям народным.  
Старайтесь разгадать цель жизни человека,  
Постичь дух времени и назначенье века.

Александр Бестужев, близко наблюдавший Рылеева в это время, говорит о нем: «Он веровал, что если человек действует не для себя, а на пользу ближних и убежден в правоте своего дела, то значит само провидение им руководит. Это мнение частью делили с ним многие из нас». Ища в истории человечества, в смене эпох, проявления «духа времени», Рылеев склонялся к религиозно-мистическому истолкованию исторического развития. «Человек свят, когда соглашает поступки свои с делами Промысла, — рассуждает Рылеев. — Человечество не имеет свободы воли. Усовершенствие есть цель, к которой стремится оно по предназначению Промысла; история всех народов служит тому неопровержимым доказательством.

Никакие усилия Омаров не в состоянии остановить его на сем пути; высокие истины, обнаруженные однажды мудрецами, бессмертны. Это такие монеты, штемпель которых от времени не изглаживается, но, напротив, еще делается явственнее. Вот почему ни одна истина древних мудрецов не пропала для нас. — Человек в частности одарен свободой воли, он властен делать или не делать то, что внушают ему страсти или рассудок; но его деяния хужды или хороши только в отношении к нему, на судьбу же всего человечества они не имеют никакого влияния, особенно когда они не согласовались с видами Промысла. Противоречия намерений с последствиями деяний человеческих ясным служат тому доказательством. Брут, желая спасти мир от деспотизма, убил Цезаря. Деяние хорошее, но оно не имело влияния на судьбу человечества, ибо не было согласно с видами Промысла. Таким образом, приняв за основную истину, что человек в частности свободен, а человечество нет, можно и должно будет поставить нравственным законом для наших деяний: поступай так, чтобы твои поступки не противоречили воле Промысла. Но спросят: каким образом распознать волю сию? — Воля Промысла изъясняется в духе времени.<sup>127</sup>

Задумываясь над общими судьбами «рода человеческого», Рылеев, естественно, размышлял и о судьбах отдельных стран и народов. набросок под заглавием «Судьба России» едва ли не является сокращенной программой того же самого замысла, попыткой показать на примере своего отечества движение народа от «первобытного состояния» к деспотизму и от деспотизма к свободе.<sup>128</sup>

Принято думать, что Рылеев не был и не мог быть теоретиком. Правильность или ошибочность этого мнения зависит от того, что понимать под словом «теоретик». Кабинетным мыслителем Рылеев, разумеется, быть не мог: этому противоречила его горячая, увлекающаяся натура. Но составленная им программа историко-философского трактата свидетельствует о несомненной способности автора к теоретическому мышлению, хотя бы и насквозь идеалистическому. Итак, Рылеев мог, но не успел стать теоретиком. Для осуществления его замысла требовались: во-первых, серьезная историческая подготовка, во-вторых время. Первая всецело зависела от второго. А времени-то как раз и не хватало. Служебные обязанности, литературная и издательская деятельность, работа в тайном обществе

поглощали все его дни. Приходится удивляться тому, как много при такой разносторонней занятости сделал Рылеев за какой-нибудь двухлетний срок!

Жаль, что трактат «Дух времени или судьба рода человеческого» не был написан. Если историческую концепцию автора и можно было бы оспаривать, его труд тем не менее занял бы свое определенное место в истории русской общественной мысли двадцатых годов. Это место осталось навсегда пустым. Историков-публицистов у нас тогда не было.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

«Рылеев в полном революционном духе», — Матвей Иванович Муравьев-Апостол имел основание так думать: доказательства этого были у него в руках. Летом 1824 года, уезжая на юг, Муравьев-Апостол повез с собою копии двух сатирических песен остро-политического содержания.

На одном из первых собраний тайного общества, осенью 1823 года, Рылеев предложил воздействовать на общественное мнение посредством свободолюбивых и противоправительственных песен. Форма литературной пародии казалась ему подходящей для распространения идей тайного общества. Подобные песни были уже не новостью. К ним относится, например, пародия Федора Глинки «Боже, народ храни...»<sup>129</sup> Некоторым опытом в этом деле обладал и сам Рылеев. Им была пущена по рукам песня, высмеивавшая пристрастие Александра I к парадам и смотрам, его приверженность к иностранцам и бездарность царских военных советников:

Царь наш немец прусский  
Носит мундир узкий  
Ай да царь, ай да царь,  
Православный государь!

Царствует он где же?  
Целый день в манеже.  
Ай да царь... — и т. д.

Прижимает локти,  
Забирает в когти.  
Ай да царь... — и т. д.

Судьи все жандармы,  
Школы все казармы.  
Ай да царь... — и т. д.

Князь Волконский — баба  
Начальником Штаба.  
Ай да царь, ай да царь,  
Православный государь!

Такие «подблюдные» песни охотно распевались на холостых пирушках. «Не все были либеральны, а все слушали с удовольствием и искренне смеялись», — вспоминает Николай Иванович Греч в своих «Записках о моей жизни». <sup>130</sup>

В начале 1824 года Рылеев принял в число членов тайного общества своего друга Александра Бестужева и предложил ему заняться сочинением таких же песен. Одну песню они написали вдвоем. Это была пародия на известный романс Нелединского-Мелецкого:

Ох, тошно мне  
На чужой стороне;  
    Все постыло,  
    Все уныло;  
Друга милова нет.

Песни этого поэта давно уже сделались достоянием устной традиции. Различные их перепевы и переделки вошли в народный обиход. Когда-то Рылеев списывал листы «альбома девицы N» чувствительными стихами во вкусе Нелединского. Теперь он пользуется только формой его популярного романса, но наполняет ее содержанием, ничуть не похожим на жалобы покинутой любовницы:

Ах, тошно мне  
И в родной стороне,  
    Все в неволе,  
    В тяжкой доле,  
Видно век вековать?

Долго ль русский народ  
Будет рухлядью господ,  
    И людьми,  
    Как скотами,  
Долго ль будут торговать?

Резкая грань легла между счетом «за проданных людей» и этими негодующими строками. За два года Рылеев шагнул далеко влево. Теперь для него нет сомнения в том,

что право помещика над личностью крестьянина незаконно. Мало того — оно еще и противоестественно.

Кто же нас кабалил,  
Кто им барство присудил,  
И над нами,  
Бедняками,  
Будто с плетью посадил! —

вызывающе спрашивают Рылеев и Бестужев от лица крепостных крестьян. Обличительная сила этой песни очень высока. Бичом беспощадного стиха замахнулись «рыцари Полярной Звезды» на все темные силы самодержавно-бюрократической России. Не поздоровилось от этого бича «барам с земским судом и с приходским попом», досталось и Аракчееву («всех затеев Аракчеев и всему тому виной»), да и самому царю, изматывавшему народ то дорожными повинностями, то налогами. Каждый царский указ больно отзывается на крестьянских спинах:

Ему шутка,  
А нам жутко.  
Томно так, что ой, ой, ой.

Служба в суде, дела, подобные делу крестьян графа Разумовского, дали Рылееву немалый запас наблюдений над русским судопроизводством; он видел, что крестьянин всегда оказывается бесправным перед лицепрятием закона. Такие судьи, как он, Рылеев, да Пущин, — исключения. Вообще же в суде царит круговая порука лихоимства: дай одному, другому, третьему, но так как дают все, то выиграет тот, кто больше даст. Один современник называл тогдашние судебные порядки «торговыми оборотами». О том же говорят и следующие строфы песни Рылеева и Бестужева, резкими чертами списанные с натуры:

А уж правды нигде  
Не ищи, мужик, в суде.  
Без синюхи  
Судьи глухи,  
Без вины ты виноват.

Чтоб в палату дойти,  
Прежде сторожу плати,  
За бумагу,  
За отвагу,  
Ты за все, про все давай.

Там же каждая душа  
Покривится из гроша.  
Заседатель,  
Председатель  
Заодно с секретарем.

Во всей политико-агитационной литературе двадцатых годов самым демократическим по духу произведением была песня «Ах, тошно мне...» В ней, помимо реалистического изображения бесправия и беззащитности крепостного крестьянства, помимо обличения продажности администрации и глухоты царя к нуждам народа, прозвучал недвусмысленный призыв к народной революции:

По две шкуры с нас дерут:  
Мы посеем, они жнут;  
И свобода  
У народа  
Силой бар задушена.

А что силой отнято,  
Силой выручим мы то.

Рылеев и Бестужев сложили эту песню в то время, когда в солдатской среде накапливалось острое недовольство царем, обманувшим надежды солдат, а в деревнях возрастало крестьянское движение. Солдатские пересуды долетали до слуха правительства. Оно усилило шпионаж в армии, подсылало своих соглядатаев в питейные дома, бани и прочие общественные места, не гнушалось и услугами «гостеприимных женщин». В деревне авторитет царя еще не был подорван, и многое, исходившее от него, приписывалось произволу царских чиновников и помещиков, но общение с солдатами грозило вызвать брожение и в крестьянской среде. Недаром тайная полиция с опаской прислушивалась к «беседам откровенным между воином и поселянином». А беседы бывали такие. Приехал, например, в отпуск к матери рядовой пехотного принца Вильгельма Прусского полка Иов Гобов. Пошли разговоры о том, о сем. Односельчане Гобова и говорят: «Дай бог здоровья батюшке-царю за то, что он милосерд к подданным своим, — отпускает солдат в отпуск к сродственникам». Услышав эти слова, солдат Гобов вскочил со скамейки и «с дерзостью» сказал: «Это вы, мужики, почитаете государя за бога, а я так за чорта!» — и, плюнув, пояснил: «Государь император — лукавец глухой: обещал,



когда француз был в Москве, за спасение отечества прибавить солдатам жалованье и уменьшить срок службы, а после всех и надул...» Эти слова не могли не отозваться в сердцах слушавших. Ведь и крестьяне втайне надеялись, что за спасением отечества последует их освобождение от крепостной кабалы. Не вышло. Видно, сильна власть помещицья!<sup>131</sup>

Зная настроения, бродившие среди солдат и крестьян, Рылеев и Бестужев закончили свою песню словами:

А до бога высоко,  
До царя далеко,  
Да мы сами  
Ведь с усами,  
Так мотай себе на ус.

Написав, спохватились. А ну как крестьяне наматывают себе на ус эту песню... Что тогда будет? Наступит вторая пугачевщина. Вспыхнет крестьянская революция, длительная и кровопролитная. Запылают усадьбы. Правому и виноватому не избегать крестьянской мести. Пожалуй, и в Батове еще помнят крутого помещика, покойника Федора Андреевича.

«Одумавшись», решили не пускать этой песни в народную толщу.<sup>132</sup> Пусть ее распевают лишь в узком кругу «убежденных» и «соединенных». Но зато можно и даже нужно послать ее на юг: тамошние заговорщики увидят, о чем мыслят на севере.

Вместе с песней «Ах, тошно мне...» Матвей Муравьев-Апостол получил и другую. Какую именно, в точности мы не знаем. Известно только, что это была песня «возмутительная, на голос подблюдных».<sup>133</sup> Из всех произведений запретной политической лирики, связанных с именами Рылеева и Бестужева, наиболее соответствует такому определению «Кузнец»:

Уж как шел кузнец  
Да из кузницы —  
    Слава!  
Нес кузнец  
Три ножа —  
    Слава!  
Первый нож  
На бояр, на вельмож —  
    Слава!  
Второй нож  
На попов, на святош —  
    Слава!

А молитву сотворя,  
Третий нож на царя —  
Слава!

Появление таких песен под пером Рылеева и Бестужева свидетельствовало о возникновении в среде Северного общества резко-демократических и радикальных настроений. Весенние переговоры 1824 года с Пестелем бесспорно сыграли свою роль. Недаром как раз после приезда Пестеля Бестужев заметил в своем друге Рылееве «перемену мыслей на республиканское правление». Однажды, обсуждая с Рылеевым вопрос о введении республики в России, Бестужев усомнился в возможности осуществить это преобразование «при царствующей фамилии». Тогда Рылеев открыл ему «мнение южных» об ее «истреблении».<sup>134</sup>

В рядах Северного общества Рылеев оказался наиболее деятельным членом. Директора общества были даже несколько обеспокоены его кипучей энергией, боялись, как бы своим неумеренным рвением он не навлек на себя подозрений правительства, пытались сдерживать его пыл. Действительно, осторожность была незнакома Рылееву. При свойственной ему восторженности и доверчивости к людям его ничего не стоило вызвать на откровенность.

Летом 1824 года Рылеев вновь встретился с приехавшим в Петербург бароном Штейнгелем. Они сговорились отобедать вместе в гостинице «Лондон». В разговоре за столом перебирали разные случаи «неурядицы и злоупотреблений», коснулись политики.

«И никто этого не видит, — воскликнул Штейнгель, — неужели нет людей, которых бы интересовало общее благо!»

Рылеев весь загорелся, схватил Штейнгеля за руку и, задыхаясь от волнения, произнес: «Есть люди! Целое общество! Хочешь ли быть в числе их?»

«Любезный друг, — отвечал ему осторожный Штейнгель, — я уже не мальчик, мне сорок второй год; прежде чем отвечать на этот вопрос, мне нужно знать, что это за люди, какая цель общества; а прантивом мне быть уже неприлично».

Рылеев обещал Штейнгелю переговорить с директoрами. В следующую встречу он сказал ему, что за отсутствием директоров из Петербурга он не смог выполнить своего обещания. Нам эта отговорка кажется странной. Как раз в это время все три директора Северного обще-

ства были на месте. Видимо, они просто не сочли нужным одобрить предложение Рылеева.

Провожая Штейнгеля в Москву, Рылеев вручил ему письмо на имя Ивана Ивановича Пущина и сказал: «Он тебе все откроет». Пущин служил тогда судьей в Московском надворном суде.

Но Пущин открыл не многое. По его словам, существует общество, образовавшееся с тем, чтобы «действовать против злоупотреблений и невежества»; что с этой именно целью он и Рылеев сменили военную службу на гражданскую, что общество разделилось «по разногласию» на Северное и Южное и находится «в совершенном бездействии». <sup>135</sup>

Эпизод этот, рассказанный самим Штейнгелем, хорошо рисует экспансивность Рылеева. Таким он бывал всякий раз, когда — как ему казалось — его собеседник обнаруживал «любовь к общественному благу». «Он — наш», — думалось в подобных случаях Рылееву.

Но бывало, что Рылеев проговаривался при людях ненадежных или заведомо бесполезных для тайного общества. Впрочем, и более опытному глазу не всегда легко было распознать, где имеешь дело с искренним стремлением к свободе и где с наносным и поверхностным либерализмом.

Раз в неделю «вся литературная семья» северной столицы собиралась у Николая Ивановича Греча. Не так давно еще он слыл «отъявленным либералом», был инспектором солдатских школ, но лишился этого места после бунта Семеновского полка. Это привлекло к Гречу сочувствие либералов, но сам он с тех пор начал праветь и превращаться мало-помалу в «генерала от цензуры» и «шпиона его величества».

Постоянно бывая у Греча, но не раскусив его, Рылеев попытался завербовать его в члены тайного общества. Это был безусловно опрометчивый и ложный шаг. Греч сделал вид, что не понимает рылеевских намеков. «Сидеть тихо» — стало его жизненным девизом. <sup>136</sup>

Если Рылееву и не хватало осторожности, необходимой для заговорщика, то зато он обладал качествами, неоценимыми для агитатора, — горячностью, даром убеждения и умением привязывать к себе сердца.

«Я не знал другого человека, который обладал бы такой притягательной силой, как Рылеев, — пишет

А. В. Никитенко в своей «Повести о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был». — Среднего роста, хорошо сложенный, с умным, серьезным лицом, он с первого взгляда вселял в вас как бы предчувствие того обаяния, которому вы неизбежно должны были подчиниться при более близком знакомстве. Стоило улыбке озарить его лицо, а вам самим поглубже заглянуть в его удивительные глаза, чтобы всем сердцем безвозвратно отдаться ему. В минуты сильного волнения или поэтического возбуждения глаза эти горели и точно искрились. Становилось жутко: столько было в них сосредоточенной силы и огня».

Никитенко познакомился с Рылеевым в июне 1824 года при обстоятельствах исключительных. Приехав в Петербург хлопотать о своем освобождении от крепостной зависимости, Никитенко привез Рылееву письмо от одного его острожского приятеля. Войдя в кабинет Рылеева, он сразу же узнал в хозяине того артиллерийского офицера, которого он видел некогда на ярмарке в Острогжоске. Рылеев участливо отнесся к молодому крестьянину, стремившемуся сбросить с себя ненавистные путы рабства. Никитенко сохранил благодарное воспоминание о своем первом свидании с Рылеевым: «Я... испытал на себе чарующее действие его гуманности и доброты и, вызванный на откровенность, поведал ему всю печальную историю моих стремлений и борьбы. Он выслушал ее с большим вниманием и тут же начертил план кампании в мою пользу».

План этот сводился к тому, чтобы склонить графа Шереметева дать Никитенке отпускную, а в случае отказа — предложить графу выкуп. Нужно было во что бы то ни стало открыть талантливому юноше путь к наукам. По просьбе Рылеева Никитенко написал для него свою биографию. Она произвела сильное впечатление в кругу гвардейских офицеров, среди которых были и однополчане Шереметева. В пользу Никитенки составилась «настоящий заговор». Наиболее энергичное участие принимали в нем Александр Муравьев (брат Никиты) и Евгений Оболенский — оба члены тайного общества. Изю дня в день допекая Шереметева напоминаниями о Никитенке, они, наконец, добились своей цели и вырвали из его рук свободу молодому человеку. 11 октября 1824 года, после нескольких месяцев напряженных ожиданий и тревог, Никитенко получил вольную.

«Я отказываюсь говорить о том, что я пережил и пере-чувствовал в эти первые минуты глубокой, потрясающей радости... — вспоминал впоследствии академик Александр Васильевич Никитенко. — Хвала всемогущему и вечная благодарность тем, которые помогли мне возродиться к новой жизни!»<sup>137</sup>

2

«Офицеры сюда почти каждый день ходят, а мне такая тоска, когда там сижу; очень грустно делается, я уйду в свою половину и лежу, или что-нибудь делаю», — сетовала Наталья Михайловна Рылеева в письме к сестре.<sup>138</sup> Эти строки писаны весной 1824 года, — едва ли не в те дни, когда в связи с приездом Пестеля члены Северного общества постоянно видались друг с другом, обсуждая предложения южан.

Рылеев, по собственному признанию, был «счастлив» среди своих петербургских друзей. Но в этом же кругу жена его чувствовала себя одинокой. Ее огорчало, что их дом превратился в какой-то проходной двор, что мужа она видит почти исключительно на людях. При посторонних она старалась владеть собою, притворялась и разыгрывала роль приветливой хозяйки. Оболенский, описывая свое знакомство с Рылеевым, уделяет несколько теплых строк и его жене: «Наталья Михайловна, как хозяйка дома, была внимательна ко всем и скромным своим обращением внушала к себе всеобщее уважение».<sup>139</sup> Гости Рылеева не подозревали, чего ей стоила эта внимательность! Молодая женщина не могла не сознавать, что она постепенно теряет мужа. И, действительно, такой общественный человек, как Рылеев, не мог безраздельно принадлежать семье. Он продолжал любить свою «Натаньку», хоть и не прежней пылкой и страстной любовью, возился в часы досуга со своими двумя детьми — трехлетней дочкой Настенькой и полугодовалым сыном Сашенькой, заботился о сестре Анне Федоровне, но главные интересы его сосредоточены были за пределами семьи. Это становилось с каждым днем яснее.

Весной того же года, поступив на новую службу, Рылеев переехал в дом Российско-Американской компании на Мойке и занял квартиру в нижнем этаже. В том же этаже жил сослуживец Кондратия Федоровича, журналист

Орест Сомов, а у него временно поселился Александр Бестужев. По мере того как возрастало влияние Рылеева в Северном обществе, квартира поэта приобретала значение подлинного штаба петербургских заговорщиков. В часы, когда Рылеев бывал дома, кабинет его был полон гостей. Интересы всех этих людей были чужды Наталье Михайловне, и тем томительнее представлялась ей необходимость быть «внимательной ко всем».

Рылеев считал, что в душе настоящего патриота сознание его семейных обязанностей не должно заглушать чувства гражданского долга. Он вложил эту мысль в уста Наливайки:

Ты друг давно мне, Лобода,  
Давно твои я чувства знаю,  
Твою любовь к родному краю  
Я уважал, я чтил всегда...

Но ты отец, но ты супруг,  
А уж давно пора, мой друг,  
Быть не мужьями, а мужами.

Сам поэт свои чувства сына, супруга и отца семейства старался подчинить единому, превосходящему их по силе чувству мужа — в том понимании этого слова, в каком употребляет его Наливайко. Рылеев тяжело переживал личные утраты, но они не ослабляли в нем жизненной энергии. В сознании важности собственного существования для того дела, с которым он связал свою судьбу, находил Рылеев нужные ему поддержку и крепость.

Такому же пониманию всеподчиняющего гражданского долга учил Рылеев и других.

Когда умер зять Мордвинова, популярный в оппозиционно настроенных кругах русского общества сенатор Аркадий Алексеевич Столыпин, Рылеев обратился к его вдове с такими словами утешения:

Не отравляй души тоскою,  
Не убивай себя: ты мать;  
Священный долг перед тобою  
Прекрасных чад образовать.  
Пусть их сограждане увидят  
Готовых пасть за край родной,  
Пусть они возненавидят  
Неправду пламенной душой;  
Пусть в сонме юных исполинов  
На ужас гордых их узрим,  
И смело скажем: знайте, им  
Отец Столыпин, дед Мордвинов.

Это стихотворение, проникнутое открытой проповедью гражданского долга женщины, не заключало в себе ничего предосудительного в глазах цензуры и было допущено к печати. Но на самом деле оно не было таким безобидным. Для читателей, близких Рылееву по духу, с именами Мордвинова и Столыпина, равно как и со словами «сограждане», «неправда», «гордые», связывался определенный круг понятий, и стихотворение тем самым приобретало отчетливое политическое звучание.

Чем более созревает Рылеев-поэт, тем реже встречаются в его творчестве чисто личные мотивы: вернее, личные мотивы у него неразрывно слиты с мотивами общественными. Вот почему таким неожиданным кажется цикл любовных стихотворений Рылеева, обычно датируемых 1824—1825 годами.

В своем очерке «Воспоминание о Рылееве» Николай Бестужев передает целую романическую повесть, героем которой является Рылеев, а героиней — обольстительная полька «госпожа К.», оказавшаяся шпионкой правительства. Бестужеву предоставлена в этой повести роль проницательного наперсника, друга-советчика, открывшего Рылееву глаза на подлинные цели ловкой и коварной красавицы. В рассказе Бестужева далеко не все внушает доверие. Невероятно, прежде всего, чтобы Бестужев мог удержать в памяти от слова до слова многоречивые признания своего приятеля. Но бесспорно, что в основе этой повести лежат реальные факты. Матвей Муравьев-Апостол, беседуя впоследствии с известным исследователем эпохи декабристов Семевским, подтверждал: «Полька К., действительно, была подслана к Рылееву Аракчеевым». Это свидетельство явным образом укрепляет рассказ Бестужева. Бесспорен в какой-то степени и отзыв подлинных речей Рылеева в приписанных ему Бестужевым сердечных излияниях.

Роман Рылеева остался во многом загадочным. Не знаем мы даже полного имени той женщины, в сети которой едва не попался поэт. Одно из стихотворений его, видимо обращенных к ней, озаглавлено «В альбом Т. С. К.». Инициалы эти до сих пор не раскрыты, но намек на польское происхождение владелицы альбома содержится как в самом стихотворении, так и в черновиках к нему. Если альбомная запись и не дает возможности судить о силе чувства, возбужденного в поэте «опасной любезностью»

Т. С. К., то зачеркнутые строки черновой рукописи открывнее передают впечатление, произведенное на него этой женщиной «во всем блеске молодости и красоты»:

От вашей резвости беспечной  
И от веселости живой  
Опять певец простосердечный  
Готов утратить свой покой.

Этот покой им был утрачен. Бестужев рассказывает, как поэт разрывался между чувством долга по отношению к жене и новой страстью, вспыхнувшей в его сердце. О борьбе с «любви недугом» говорят и стихи Рылеева. Недуг этот «ужасен», но он не в силах ему противиться:

Я увлечен своей судьбою,  
Я сам к погибели бегу:  
Боюсь встретиться с тобою,  
А не встречаться не могу.

Однако в другом стихотворении Рылеев отказывается даже от самой мысли о любви: до нее ли теперь, когда славное поприще борьбы за свободу открыто перед поэтом? На деле было не совсем так. До разоблачения предательской роли «госпожи К.» Рылеев продолжал бороться со своим чувством и в то же время играть с огнем, но — как рассказывает Бестужев — «это не мешало ему работать в пользу тайного общества со всею горячностью человека, обрешшего себя на жертву для счастья отечества». Стихотворение Рылеева чрезвычайно знаменательно: оно дорисовывает новыми чертами его образ как поэта-гражданина, ибо причиной отказа от запретной любви выставляет не супружеский долг, а долг гражданский:

Я не хочу любви твоей,  
Я не могу ее присвоить;  
Я отвечать не в силах ей,  
Моя душа твоей не стоит.

Полна душа твоя всегда  
Одних прекрасных ощущений;  
Ты бурных чувств моих чужда,  
Чужда моих суровых мнений.

Прощаешь ты врагам своим,  
Я не знаком с сим чувством нежным.  
И оскорбителям моим  
Плачу отмищеньем неизбежным.



Лишь временно кажусь я слаб,  
Движеньями души владею,  
Не христианин и не раб,  
Прощать обид я не умею.

Мне не любовь теперь нужна,  
Заняття ждут меня иные,  
Отраднa мне одна война,  
Одни тревоги боевые.

Любовь никак нейдет на ум:  
Увы! моя отчизна страждет,  
Душа в волненьи тяжких дум  
Теперь одной свободы жаждет.

Роман Рылеева с «госпожей К.» получил огласку. Николаю Бестужеву не раз приходилось выгораживать его в глазах своих светских знакомых. Многие, зная, что Рылеев близок с Бестужевым, одолевали его расспросами о семейной жизни поэта, спрашивали, любит ли он жену, и на утвердительный ответ высказывали недоверие. «Я защищал его, как умел», — пишет Бестужев. Эту защиту Рылеева он перенес потом на страницы своих воспоминаний, поставив целью доказать «его привязанность к супруге и семейству».<sup>140</sup>

Дружеские побуждения Николая Бестужева делают ему честь, но семейные отношения Рылеева — по крайней мере в последний год его жизни — не отличались прежним ладом. Они возмущались вспышками гнева и ревности со стороны Натальи Михайловны. И, быть может, у посторонних были основания к тому, чтобы не считать Рылеева «отличным семейным человеком».<sup>141</sup>

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

В конце августа 1824 года Рылеев и Александр Бестужев отправились на несколько дней в Батово. Бестужев захватил с собой том Байрона и вдали от «городского стука» с жадностью погрузился в чтение. В деревенском уединении его еще больше обворожала «огненная душа» любимого поэта.

«Местоположение там чудесное... — рассказывал Бестужев в письме к матери. — Тихая речка вьется между крутыми лесистыми берегами, инде расширяется плёсом, инде

подмывает скалы, с которых сбегают звонкие ручьи. Тишь и дичь кругом, и я пять дней провел на воздухе, в лесу, на речке. Назад приехали мы в ужаснейшую грозу, но Рылеева дома ждала еще ужаснейшая...»<sup>142</sup>

Наталья Михайловна встретила мужа растерянная и заплаканная: маленький Саша заболел в отсутствие отца и теперь был без памяти. Через день он умер.

Родители были в отчаянии. Рылеев с горя захворал, жена его едва не впала в нервное расстройство. Всё вокруг напоминало им об умершем ребенке. Несмотря на надвигающуюся осень, Рылеевы решили уехать в Подгорице: он — на два месяца, она — до весны.

О петербургском наводнении 7 ноября Рылеев узнал из писем Александра Бестужева и своего сослуживца по Российско-Американской компании Ореста Сомова. Квартира Рылеева была затоплена. Бестужев самоотверженно, по колению в воде, спасал имущество своего друга и теперь «имел хождение» за его книгами, подмокшими и покврбившимися. Одновременно Сомов извещал Рылеева, что приезд его в Петербург «по многим отношениям необходим для Компании, по сближающемуся времени отправления депеш и промышленников в Америку».<sup>143</sup>

В первых числах декабря Рылеев прибыл в Москву и остановился у Штейнгелей. «Гостеприимная старушка Москва» радушно встретила Рылеева. Штейнгели приняли его «как родного», хотя знакомство их с ним было совсем недавним. Восторженно приветствовала поэта и московская литературная молодежь. «Никогда не забуду, — вспоминал А. И. Кошелёв — одного вечера, проведенного мною, восемнадцатилетним юношею, у... М. М. Нарышкина... Рылеев читал свои патриотические думы: и все свободно говорили о необходимости — *d'en finir avec ce gouvernement* (покончить с этим правительством. — К. П.). Этот вечер произвел на меня самое сильное впечатление». Кошелёв рассказал о вечере у Нарышкина своим друзьям Ивану Киреевскому, Веневитинову и Рожалину, и молодые «любомудры», дотоле чуждые политических вопросов, стали интересоваться русской политикой и толковать о том, «что необходимо произвести в России перемену в образе правления».<sup>144</sup>

Свидетельство Кошелёва — красноречивый показатель исключительной ответственности рылеевского слова и рылеевских стихов. Для определенного круга читателей

«Думы» оказывались столь же зажигательным средством, как и подблюдные песни. Видя, какое впечатление производят его «Думы» на слушателей, Рылеев счел своевременным издать их отдельной книгой. В Москве он завязал знакомство с просвещенным книгоиздателем купцом Селивановским и за несколько часов до отъезда в Петербург послал ему следующую записку:

«Почтеннейший Семен Ивановичевич. Мне желательно издать здесь и *Войнаровского* и *Думы* мои; я поручил об этом переговорить с вами Петру Александровичу Муханову; надеюсь, что вы с ним сойдетесь: человек редкой души и отличных правил. Я еду в ночь; постараюсь урвать несколько минут, чтобы еще раз увидеться с вами; в противном же случае прошу верить, что я душевно вас люблю и уважаю.

К. Рылеев». <sup>148</sup>

Петербург быстро залечивал раны, нанесенные недавним стихийным бедствием. Но квартира Рылеева еще хранила следы наводнения. Очевидцы рассказывали, что в комнатах вода поднялась выше чем на полтора аршина. Краска слезла со стен. Бюро, письменный стол, рабочий столик жены были повреждены. Перины и подушки еще не просохли. Половина библиотеки пострадала от воды.

Множество самых разнообразных дел обрушилось на Рылеева по приезде в Петербург. Никогда его время не было так заполнено, как теперь. Он разрывался между службой, литературными трудами и тайным обществом. Все шире и шире становился круг его знакомых. Новый год Рылеев встречал вместе с Александром Бестужевым и тремя «филаретами» — участниками польской студенческой организации, высланными из Варшавы в Центральную Россию. То были «поэт — любимец нации своей» Адам Мицкевич и его собратья по изгнанию — Малевский и Ежовский. «По чувствам и образу мыслей» Рылеев почитал в них друзей. Петербургские свободолюбывы не таились перед «добрыми и славными ребятами», с которыми столкнула их судьба. На дружеских сходках, под звон стаканов, Рылеев и его приятели распевали крамольные подблюдные песни. <sup>149</sup>

С возвращением Рылеева деятельность тайного общества заметно оживилась. Прежде всего он попытался наладить

связь с Балтийским флотом. Мысль об этом возникала у него и раньше.

Однажды, вскоре после свидания Рылеева с Пестелем, на собрании Северного общества зашла речь о созвании Великого Собора. «А что делать с императором, если он откажется утвердить устав представителей народных?» — спросил Рылеев. «Эго в самом деле задача!» — промолвил Пущин. «Не вывезти ли за границу?» — предложил Рылеев, вспомнив, что эту мысль высказывал ему Пестель. Трубецкой, подумав, согласился: «Более нечего делать». К нему присоединились и остальные присутствующие — Никита Муравьев, Оболенский, Тургенев, Матвей Муравьев-Апостол.

С тех пор к этому вопросу возвращались неоднократно. Рылеев говорил, что имеет виды на братьев Бестужевых — Николая и Михаила, служивших во флоте, а также и на приятеля их Торсона. Ему казалось возможным образовать при их посредстве «значительную отрасль» в Кронштадте.<sup>147</sup>

Вернувшись в Петербург из Подгорного, Рылеев «открылся» Николаю Бестужеву и, повидимому, уполномочил его принять в общество Торсона. При этом он дал на прочтение Бестужеву и Торсону собственноручно переписанный им проект конституции Никиты Муравьева. Приобретение Константина Петровича Торсона Рылеев считал важным для целей тайного общества: этот капитан-лейтенант состоял адъютантом начальника Морского штаба, много путешествовал, многое видел и был большим «пржектёром». Мы не знаем, по собственному ли почину или же по указанию Думы Северного общества ознакомил Рылеев Бестужева и Торсона с конституцией Муравьева. Во всяком случае для Рылеева мнение этих двух читателей не могло быть безразличным, — оба они наблюдали конституционные учреждения в действии, за границей; у обоих накопился не только запас теоретических умозаключений, вынесенных из книг, но и запас личных впечатлений, сложившихся на живых примерах. Муравьевский проект вернулся к Рылееву с несколькими замечаниями Бестужева, носящими характер поправок, и целым критическим рассуждением Торсона. Решительное возражение со стороны Торсона вызвал высокий имущественный ценз, предложенный Муравьевым для членов Верховной Думы и лиц, занимающих высшие государственные долж-

ности. Но ведь в таком случае, — замечает Торсон, — «умнейшему, опытнейшему и поседевшему в государственных делах человеку дверь в палату останется закрытою (потому только, что он не имеет достаточного для сего капитала). Тогда и подрядчику возможно будет судить министра, не постигая истин правления. Как предупредить, чтоб на выборах по пристрастию не исключили из членов высшей палаты человека достойного и не вместили бы невежу?.. Что последует из верхней палаты, если в одной половина членов будет собрана из людей только богатых, а не таких, которые своим умом, добродетелями, опытностью и любовью к отечеству должны представить собою римский Сенат во времена Пирра?..»<sup>148</sup>

Критика муравьевского проекта новыми членами Северного общества глубоко знаменательна. Она свидетельствует о постепенной демократизации его рядов. Общество пополняется в это время как раз такими лицами, которым имущественный ценз муравьевской конституции преграждал путь и в верхнюю палату Народного Веча и к высшим государственным должностям. Кружок, образовавшийся вокруг Рылеева, состоял из людей, мало связанных или совсем не связанных с дворянским землевладением. Общность социального положения роднила их между собою: все это были представители нуждающейся дворянской интеллигенции, существовавшей не на свои крепостные доходы, а на свой заработок.

Сам Рылеев непрочь был расторгнуть сословные рамки тайного общества. Служба в Российско-Американской компании сталкивала его с торгово-промышленными кругами. Он говорил Матвею Муравьеву-Апостолу о своем намерении принять в члены общества некоторых из петербургских купцов. По его словам, «этого желал он с одобрения Северной думы». Ближе сойдясь с бароном Штейнгелем, Рылеев рассчитывал и на его связи в купеческих кругах, но тот «решительно» отвечал ему, «что это дело невозможное, что наши купцы — невежды».<sup>149</sup> Намерение Рылеева так и осталось неосуществленным.

Для вступающих в общество новых членов притягательным центром был безусловно Рылеев. Учредители и директора Северного общества в сущности очень мало заботились об его расширении. Большинство членов, принятых за два с лишним года существования общества (осень 1823 — декабрь 1825 года), составляли «отрасль»

Рылеева или ее разветвления. Мало-помалу рылеевская группа заняла руководящее положение в Северном обществе. Ранней весной 1825 года Трубецкой уехал в Киев: он еще в декабре был назначен дежурным штаб-офицером при 4-м пехотном корпусе. На его место в Думу Северного общества был избран Рылеев. Никита Муравьев заметно удалялся от активной деятельности в тайном обществе; Оболенский же, не отличавшийся устойчивостью политических взглядов, постепенно поддавался рылеевскому влиянию.

Александр Бестужев говорил впоследствии, что у него создалось такое впечатление, будто Рылеев «мистифицировал» членов тайного общества, выставляя Думу более сильной и влиятельной, чем она была на самом деле. По каждому вопросу он якобы запрашивал мнения Думы, каждое мероприятие осуществлялось им от имени Думы, — но это были только слова. Бестужев едва ли прав. В действительности Рылеев был главным, но не единоличным руководителем Северного общества. Кабинетный теоретик Никита Муравьев и колеблющийся Оболенский не могли иметь в его глазах решающего веса, когда дело касалось не теории, а практики, и все же Рылеев постоянно сносился с ними. Но, понимая, что обществу нужен был северный Пестель, Рылеев в иных случаях сознательно принимал на себя его роль. Правда, идеалисту и романтику она была не по плечу. Многие, что представлялось ему легким и простым, на поверку оказывалось трудным и сложным. Отсюда — неизбежные разочарования.

Одной из таких задач, казавшейся Рылееву легко разрешимой, было установление связи с Балтийским флотом. Прежде чем приступить к деловым переговорам с Николаем Бестужевым и Торсоном, Рылеев обратил внимание еще на одного морского офицера. Это был лейтенант 8-го флотского экипажа Дмитрий Иринархович Завалишин.

Завалишин явился к Рылееву в начале 1825 года с рекомендательным письмом от Мордвинова. Попечитель Российско-Американской компании указывал на Завалишина, как на человека, чьи сведения и опыт могут пригодиться правлению. Конечно, хорошо знакомый с колониями, Завалишин мог быть полезен компании, но не одно это заинтересовало в нем Рылеева. Разговорившись с Завалишиным, он сразу же заметил в своем собесед-

нике «ум, познания и свободный образ мыслей». Рылеев попытался постепенно «приобретать его доверенность»<sup>150</sup>, не столько в интересах службы, сколько в видах тайного общества.

В течение нескольких месяцев Рылеев присматривался к Завалишину. Личные впечатления сверял с впечатлениями других. Общее мнение складывалось не в пользу Завалишина. «Бойкая особа, но с чересчур заносчивым воображением», — как отзывался о нем Александр Бестужев, — Завалишин казался Рылееву и его друзьям человеком неясным. Но в этой неясности было нечто интригующее. Одно обстоятельство окончательно побудило Рылеева искать сближения с ним: ему стало известно, что, находясь в кругосветном плавании, Завалишин писал Александру I «об учреждении какого-то общества в России» и вследствие этого был срочно вызван с Камчатки в Петербург. Действительно, под впечатлением Веронского конгресса, обсуждавшего меры борьбы с революционным движением в Юго-Восточной Европе и в Испании, Завалишин составил свой контрпроект «восстановления законных властей». Проект этот рисовался Завалишину в форме полумистического, полуполитического международного общества, «вселенского Ордена Восстановления. Лейтенант, действительно, писал Александру I еще в конце 1822 года, а затем, в ноябре 1824 года, представил ему свои предложения. Главным местопребыванием Ордена Восстановления Завалишин избрал Калифорнию. Александр поручил морскому министру передать Завалишину, что «составление такого общества находит он весьма трудным».<sup>151</sup>

Разумеется, все подробности, относящиеся к этому делу, оставались неизвестными вне самого узкого круга лиц, рассматривавших предложения Завалишина: это были — Аракчеев, Шишков, Нессельроде и Мордвинов. Возможно, что через Мордвинова узнал о проекте Завалишина и Рылеев, но лишь в самых общих чертах. Если верить Завалишину, Мордвинов, будто бы, говоря о нем с Рылеевым, сказал: «В его идеях заключается великая будущность, а может быть и вся будущность»<sup>152</sup>. Естественно, что Рылеев стремился проникнуть в суть этих идей.

Познакомившись ближе с Рылеевым, Завалишин рассказал ему, что в бытность свою в Англии он был принят в члены тайного общества, преследующего цель «освобождения всего мира». По словам Завалишина, отрасли этого

общества существовали почти во всех государствах Старого и Нового света. Всё это было сущей выдумкой. Однако Рылеев ему поверил. Завалишин к тому же задел его любопытство, сказав, что ему известно несколько русских членов этого «Ордена». Со своей стороны, сначала прозрачными намеками («И у нас что-то есть»), а затем прямо («Здесь есть общество») Рылеев открыл Завалишину, что в Петербурге действует тайное общество, стремящееся к введению конституции в России. Но слух о письме Завалишина к царю заставил Рылеева остеречься от немедленного принятия его в число членов.<sup>153</sup>

В мае месяце Рылеев был болен и не выходил из дому. Однажды в сумерки его пришел навестить Завалишин и нашел Рылеева за чтением последних песен «Дон-Жуана» Байрона. Разговор снова зашел о тайном обществе. Рылеев подтвердил Завалишину то, что уже говорил раньше: каждый член общества знает только того, кто его принял; это обеспечивает тайну. Дальнейшие расспросы Завалишина Рылеев прервал словами: «Будьте сначала откровенны об себе, тогда и я вам скажу более. Напрасно вы думаете скрывать от меня то, что я уже знаю. Как вы ни таитесь, а мне известно, о чем вы писали к государю».

Завалишин оторопел: он и не подозревал, что Рылеев был осведомлен об обстоятельствах его приезда в Петербург. «Меня можно обвинять, — сказал он Рылееву, — но я, право, имел чистые намерения».

Смущение Завалишина не укрылось от Рылеева. «Нам нельзя теперь принять вас, пока вы не откроетесь, — промолвил он. — Покажите нам устав вашего общества»<sup>154</sup>.

Через несколько дней после приведенного разговора Завалишин прислал Рылееву со своим кучером пакет из толстой серой бумаги с шестью сургучными печатями по краям. Посланный сказал, что его барин поручил передать этот пакет господину Рылееву, а если его нет дома, то оставить у него на кваргире. Сломав печати, Рылеев обнаружил устав Ордена Восстановления, писанный порусски на простой голландской бумаге и снабженный печатью, оттиск которой был настолько бледен, что не поддавался прочтению; можно было только разобрать изображение скипетра. К уставу был приложен похвальный лист на французском языке, выданный советом Ордена «командору» Завалишину. Это был обдуманый ход в его игре: Завалишин рассчитывал, что «командорство»,



которым он сам себя наградил, откроет ему путь к «значительной степени» в рылеевском обществе. Тщеславный и властный, он никогда не довольствовался вторыми ролями. Ему мало было знать в тайном обществе одного Рылеева и беспрекословно повиноваться его воле. Положение подчиненного, исполнителя вовсе не улыбалось Завалишину: составитель фантастических проектов, он сам хотел повелевать.

Кроме устава и похвального листа, в пакет было вложено письмо Завалишина к Рылееву. Вспоминая об этом письме год спустя, Завалишин уверял, что в нем содержались следующие слова: «Посылаю к вам устав Ордена и еще другую бумагу, кои докажут как существование Ордена, так и цель его, согласную с вашей; я надеюсь, что сим будут отвращены все препятствия и по уничтожении всякого сомнения на счет мой вы можете принять меня на прежнем условии — открытия некоторых старших членов, дабы и я с своей стороны мог увериться в существовании и цели вашего общества».<sup>155</sup>

Устав Ордена Восстановления заставил Рылеева насторожиться: его «можно было толковать и в пользу свободы народов и в пользу неограниченных властей». Рылеев показал присланные бумаги Александру Бестужеву и его приятелю Александру Одоевскому, незадолго до того принятому в тайное общество. Тут же с обоих документов были сняты копии. Похвальный лист «командору» Завалишину возбудил у друзей Рылеева подозрение в своей подлинности: сквозь его французские фразы слишком уж явно прорывались русские обороты. «Мы не знали сами, что думать о сем Ордене, — говорил потом Бестужев, — молодость Завалишина и достоинство командора не клеились вместе, а язык похвального листа еще более давал повода к сомнению». Рылеев, наконец, решил, что, поскольку Завалишин не хочет открывать всего, то и ему не следует доверяться вполне.<sup>156</sup>

На другой день Рылеев возвратил документы Завалишину. «Как можно такие важные бумаги доверять человеку! — сказал он ему при этом. — Во-первых, самый пакет так странен, что мог бы обратить внимание; во-вторых, как можно велеть оставить у меня, если нет дома? Ну ежели бы кто пришел ко мне и полюбопытствовал посмотреть? А более всего, как можно в письме писать об обществах?»<sup>157</sup>

Из этих слов Завалишин заключил, что Рылеев поверил в действительное существование Ордена. Повидимому, оно так и было: сомневаясь в достоверности похвального листа, Рылеев вряд ли сомневался в подлинности устава. Но цели Ордена были ему подозрительны. Хотелось бы толковать их «в пользу народов», но слух о том, что Завалишин писал к Александру I, заставлял Рылеева быть начеку.

На вопрос Завалишина, примут ли его теперь, Рылеев ответил полуутвердительно: он полагал, что примут, но это зависит не от него. «Надобно, чтоб сие дело было рассмотрено». <sup>158</sup>

Копии с сообщенных ему Завалишиным документов Рылеев передал в Думу Северного общества, то есть познакомил с ними Никиту Муравьева и Оболенского. Решено было переслать устав Ордена Восстановления Трубецкому.

Встретившись снова с Завалишиным, Рылеев сказал ему, что «в уставе его есть многие неясности», которые наводят на размышления не в пользу Ордена. У Завалишина была отговорка: поскольку устав предлагался вниманию царя, необходимо было усыпить его подозрительность. Показывая устав некоторым из своих товарищей моряков, Завалишин говорил, что Орден «имеет истинною целью соделание связи между народами». Самое название «Орден Восстановления» Завалишин расшифровывал так: «союз народов для восстановления представительных или республиканских правлений», — толкование натянутое. Давая читать устав товарищам — морякам, Завалишин пояснял, что «слово законная власть есть двусмысленное, ибо для правительства оно означает законную власть его, а под сею личиною настоящее значение сего слова есть восстановление прав, сколь можно ближе к естественным, и ограничение правителей». Нельзя сомневаться в том, что в таких же выражениях излагал Завалишин сущность устава и Рылееву. Но ему не удалось рассеять в нем подозрение, что «Орден имеет другую цель». Рылеев потребовал, чтобы Завалишин назвал кого-нибудь из русских членов Ордена; только при таком условии он соглашался принять его в тайное общество. <sup>159</sup>

«Вы можете быть сами не что иное как игрушка намерений других, ибо цель ваша темная, — говорил Рылеев, — а я вам всем прямо говорю, что нашего общества цель

есть введение в России свободного правления. Следовательно, если вы того же желаете, то для вашей собственной пользы же должны открыть членов, чтоб не быть самим обманутыми, ибо никакое общество без нас ничего не может сделать...» Развивая свои подозрения, Рылеев добавил, что сама структура Ордена Восстановления напоминает монархический строй: «У вас основанием один, следовательно он может даже сам лично иметь другую цель, и при том его власть велика; у нас же не может быть подлога, ибо основанием трое, да и те переменяются». <sup>160</sup>

На требование Рылеева назвать имена Завалишин ответил отказом. «Не говорите нет, а подумайте», — предложил ему Рылеев. <sup>161</sup>

Завалишин оказывался в затруднительном положении. Назвать он никого не мог, так как Ордена на самом деле не существовало. Назвать кого-либо наобум было опасно: того и гляди попадешь на людей, принадлежащих к петербургскому тайному обществу, или же на таких людей, в чьей благонадежности Рылеев сомневался. В первом случае ему легко будет установить ложность сообщения Завалишина, во втором — он только укрепитя в своих догадках, что «цель Ордена другая». А поэтому Завалишину не оставалось ничего иного, как тянуть игру и прикидываться влиятельным «командором» воображаемого общества.

Итак, члены Северного общества не доверяли Завалишину. Но не доверяло ему и правительство: когда Российско-Американская компания предложила Завалишину перейти к ней на службу и намеревалась послать его в Америку, то Александр I этому воспротивился. Он опасался, как бы своими широкими проектами Завалишин «не вовлек Россию в столкновение с Англиею или с Соединенными Штатами». <sup>162</sup>

Завалишин был дважды уязвлен правительством: первый раз в 1824 году — тем, что его проектам не было дано ходу; второй раз в 1825 году — отказом отпустить его в колонию, что лишало его выгодного места. Он стал фрондером. Его слова отличались порою большей резкостью, чем его убеждения. И, однакоже, начертанный им устав Ордена Восстановления допускал — как правильно подметил Рылеев — толкование, обратное тому, какое давал ему Завалишин. Недаром меньше чем через год он старался внушить правительству, что Орден Восстановления — это, дескать, уловка, дабы залучить политиче-

ских вольнодумцев и создать для них своеобразный и заманчивый карантин в далекой Калифорнии.

Впоследствии, когда волею событий Завалишину пришлось разделить судьбу членов Северного общества, он с три короба наврал в своих «Записках» и, не будучи членом общества, выставил себя одним из главных его деятелей. В этих «Записках», где из каждой десятой строки назойливо выпирает тщеславное и самодовольное «я», Завалишин пишет: «В докладе следственной комиссии сказано было, что я первенствовал в кругу офицеров Гвардейского экипажа и других моряков, но я первенствовал и в общих собраниях, если принять в соображение, что, не принимая ни звания директора, ни председателя совещаний, я оканчивал всегда тем, что направлял совещания на предметы, которые считал существенными, и руководил совещаниями, как в особенности это было при обсуждении об уничтожении крепостного права, о суде, о народном войске и пр. И при этом влияние мое росло и в общих совещаниях до того быстро, что возбудило, наконец, зависть в самом Рылееве, особенно при виде и внешних успехов моих». <sup>163</sup>

Ничего этого не было, и сообщение следственной комиссии на этот раз ближе к истине, чем рассказ, сочиненный Завалишиным. Как известно, никаких «общих собраний» тайного общества в 1825 году не бывало. Лишь декабрьские совещания носили такой «общий» характер, но на них-то Завалишин и не присутствовал, так как был в это время в Москве. Впрочем, сам Завалишин маленькой сноской выдает себя с головой. Упомянув об обсуждении крестьянского вопроса, он делает примечание: «Действиями моими при этом совещании Федор Николаевич Глинка был до того доволен, что хлопал в ладоши и постоянно вскрикивал: «Мала птичка, а когти остреньки». Но ведь Федор Глинка, бывший член Союза Благоденствия, не принадлежал к Северному обществу, хотя знал об его существовании. Близко знакомый с Глинкой, Рылеев замечал, что он «неохотно склоняется к разговору об оном». Трубецкой не зря говорил о Глинке: «Его надо оставить в покое; он нам бесполезен». <sup>164</sup>

«Записки» Завалишина — один из самых ненадежных источников во всей мемуарной литературе декабристов. Ко всем сообщениям «командора» приходится относиться с величайшей осторожностью. Но, несмотря на это, трудно

отвергать их целиком. Длинные разговоры, воспроизведенные через несколько десятков лет после того, как они велись, всегда сомнительны. Никто не станет ручаться в том, что убеждения, с которыми обращался Рылеев к Завалишину, понуждая его назвать членов Ордена, переданы в его «Записках» с дословной точностью. Завалишин мог по произволу своей памяти связать воедино обрывки разных разговоров, но общий их смысл и интонация не противоречат тому представлению о взаимоотношениях Рылеева с Завалишиным, которое складывается у нас по другим данным.

На первый взгляд, Рылеев уделял слишком большое внимание этому лгуну с замашками авантюриста. Но нас это не должно удивлять. Сначала он видел в нем одного из возможных агентов Северного общества в Гвардейском экипаже. Затем поддался мистификации. Зародилось недоверие, но вместе с тем и желание устранить недосказанности. Если Орден стремится к той же цели, что и тайное общество, то важно приобрести в нем себе союзника.

Рылеев и его друзья всегда говорили, что они были осторожны при Завалишине. Действительно, внутренняя жизнь Северного общества осталась для него закрытой. Как он ни добивался, а так-таки и не узнал, кто руководит обществом, когда предполагается переворот и что будет после него. Что Рылеев член общества — это ему было известно, о других он только мог догадываться. Но, скрывая от Завалишина имена и планы, Рылеев свободно рассуждал с ним на политические темы, причем эти разговоры не всегда были отвлеченными. Послушаем, как передает их Завалишин:

«Я не отвергаю, — будто бы говорил ему Рылеев, — что ваши идеи могут быть очень возвышены и принесут пользу в будущем, но нам нужна немедленная помощь; вы сами видите, какие усилия делают, чтобы обратить Россию назад. Готова ли Россия или нет к новому порядку вещей — теперь об этом можно, конечно, спорить, но уж никак зато нельзя сомневаться, что при теперешнем направлении, чем дольше это продолжится, тем менее она будет готова...

Мы мало того, что не признаем законным настоящее правительство, мы считаем его изменившим и враждебным своему народу, а потому действия против него не только не считаем незаконными, но глядим на них, как на обяза-

тельные для каждого русского, как если бы пришлось действовать против неприятеля, силою или хитростью вторгнувшегося в страну и захватившего ее...»<sup>185</sup>

«Рылеев называет преступником того, кто не думает о перевороте», — сказал Завалишин штаб-ротмистру Оржицкому после одного из таких разговоров с Рылеевым:<sup>186</sup> Оржицкий, подобно Завалишину, принадлежал к числу полупосвященных в замыслы Северного общества.

Свобода, с какою Рылеев и Александр Бестужев спорили в присутствии Завалишина о разных родах правления, об избирательных правах, о значении военной силы в революционных переворотах, открыла ему путем догадок много такого, чего открывать они не хотели. Повидимому, они и сами поняли, что зашли в этом отношении слишком далеко. Шагнув назад, можно было дать почувствовать Завалишину, что ему не доверяют, но нельзя было показывать, что его боятся. И Рылеев сознательно идет на хитрость: говоря с Завалишиным, преувеличивает силу и численность тайного общества, намекает на то, что среди его членов состоят видные военные сановники империи, что общество может «смело действовать» против Ордена Восстановления, если цели их окажутся несогласными друг с другом. Одновременно он старается уверить Завалишина в том, что борьба против общества обречена на неудачу: оно неуязвимо.

Однажды, в конце августа 1825 года, встретившись с Завалишиным в правлении Российско-Американской компании, Рылеев отвел его в сторону от посторонних ушей и сказал: «Будьте осторожны: меня известили, что в Кронштадте, в обществе морских офицеров, говорили, что в Петербурге есть тайное общество и что я принадлежу к числу его членов. Известие сие не могло иначе проникнуть туда, как через вас. Впрочем, за общество я не боюсь, ибо оно устроено слишком прочно, чтобы можно было его открыть. Могу погибнуть я или одна отрасль, но это еще не важная потеря для общества. Майор Раевский третий год сидит в крепости, а не открыл никого из своего общества. Да притом и общество в России не одно».<sup>187</sup>

Целые полгода (с мая по октябрь 1825 года) безуспешно пытался Рылеев то притворной откровенностью, то хитростью, склонить Завалишина «предпочесть благо отечественное иностранному» и для внесения полной ясно-

сти в их отношения наименовать ему русских членов Ордена Восстановления. Но Завалишину указать было некого, и на решительный и последний вопрос Рылеева он ответил, что связан клятвою, воспрещающей ему называть кого бы то ни было. Тогда Рылеев объявил ему, что не может принять его в члены тайного общества.

Рылеев не ошибся, воздержавшись от формального присоединения Завалишина к Северному обществу. Человек этот безусловно вел двойную игру. Ибо, в то самое время, когда он распространял республиканскую пропаганду среди «свободомыслящих людей» Гвардейского экипажа, он же собирався послать Александру I письмо такого содержания:

«Всемиловитейший государь! Напрасно ты удаляешь меня от себя. Я должен видеть тебя, говорить с тобою.

Если не ошибаюсь, великая опасность угрожает тебе, России, Европе. Но более сказать не могу, пока не увижу тебя лично.

Бог, в чьей руке сердце твое, да располагает им в сию минуту. Благоволи призвать к себе меня. Да предстанет пред тебя твой верноподданный Дмитрий Завалишин». <sup>108</sup>

Он не послал письма, но доволен и того, что оно было написано.

## 2

С той минуты, как сомнение в искренности и честности Завалишина запало в голову Рылееву, он начал искать иных путей для распространения своего влияния на Гвардейский экипаж. Николай Бестужев, которого он принял именно с этой целью, оказывался одним из самых умеренных членов общества. Рылеев не раз выговаривал ему за то, что он, ограничившись принятием Торсона, не старается привлечь в общество морских офицеров. Он развивал перед Бестужевым мысль, что в случае неудачи восстания, Кронштадт может стать «для русских тем же, чем был остров Леон для гишпанцев». Бестужев и Торсон, не разделявшие республиканских замыслов Рылеева, доказывали ему несостоятельность его расчетов на Кронштадт. Разговаривая между собою, они называли эти планы «пылкими и химерическими». Торсон по некоторым словам Рылеева мог заключить, что общество еще «слишком маловажно и бессильно»; между тем Рылеев говорит о «завладении Кронштадтом». Свои сомнения Торсон вы-

сказал Бестужеву: а что, если Дума, о которой оба они не имеют никакого понятия, принимает решения «подобно тому, как рассуждает Рылеев»? «Хорошо погибнуть тогда, когда знаешь, что эта гибель будет с пользой»; но какой смысл жертвовать собою «без всякой пользы для блага отечества»? К тому же и Бестужев, и Торсон находили своих товарищей-моряков все не склонными к политической деятельности.<sup>169</sup>

3 июня 1825 года Рылеев ездил в Кронштадт вместе с Александром Бестужевым, Вильгельмом Кюхельбекером и Одоевским. Младший Бестужев — Петр, мичман 27-го флотского экипажа, пригласил их на спектакль, устроенный морскими офицерами в Кронштадте. Рылеев воспользовался этим приглашением, чтобы самому проверить справедливость наблюдений Николая Бестужева и Торсона.

Впечатления от поездки не были обнадеживающими. Рылеев даже признался Николаю Бестужеву, что «всякое намерение в рассуждении флота должно оставить». Для роли острова Леона Кронштадт не годится.<sup>170</sup>

Однако Рылеев не терял надежды, что, быть может, найдется в Кронштадте «несколько офицеров», при помощи которых можно будет отправить императорскую фамилию за границу.

Бывший член Союза Благоденствия фон дер Бригген уезжал в Киев. Нужно было через него осведомить Трубецкого о положении дел в Северном обществе. С юга поступали сведения о том, что тамошнее общество вот-вот готово подняться. Рылеев поручил передать Трубецкому о своем намерении «вновь стараться» подготовить почву в Кронштадте.

Действительно, при свидании с Торсоном летом того же года Рылеев спросил, можно ли рассчитывать на фрегат с надежным капитаном и офицерами. «Для чего?» — «Чтобы отправить, в случае надобности, царствующую фамилию за границу». Торсон нашел этот план опасным. Он предложил лучше задержать императорскую семью во дворце. «Нет, в Петербурге нельзя, — возразил Рылеев, — разве в Шлиссельбурге. Там можно приставить к ней старый Семеновский полк. В случае же возмущения, — добавил он многозначительно, — пример Миновича».

«После говорили мы о разных образах правлений, — вспоминал Рылеев. — Торсон отдавал преимущество конституции английской, я же предпочитал американскую.



Говорил я также ему, что положено удалить императорскую фамилию, если императором будет отвергнута конституция, принятая народными представителями. Торсон почитал необходимым избрать в таком случае императора. Я на то отвечал, что теперь Наполеоном нельзя быть. Также сказал я, что надо спешить, ибо дела на Юге в таком положении, что едва можно удерживать... Все это говорил я, желая возбудить в Торсоне ревность к принятию членов в Кронштадте, дабы воспользоваться их содействием, когда здешнее общество достаточно усилится». <sup>171</sup>

Единства в рядах Северного общества не было, как не было у него и твердо выработанного плана действий. «Одинакий образ мыслей», выражавшийся в желании «общего блага» и в оппозиции правительству, на самом деле отличался разного рода оттенками, которые либо прямо отталкивали петербургских заговорщиков друг от друга, либо создавали атмосферу взаимного недоверия. К тому же членам Северного общества безусловно недоставало организаторских талантов. Самому Рылееву было свойственно упрямство в отстаивании своих мнений, но он не обладал силой воли, выдержкой и гибкостью, необходимыми в его положении члена Думы. А между тем направлять работу общества приходилось именно ему.

### 3

Не один Завалишин доставил Рылееву столько хлопот: не мало беспокойства причинили ему также два неукротимых тираноборца — Каховский и Якубович. Их неуместная ретивость грозила подвергнуть Северное общество большим опасностям.

С отставным армейским поручиком Петром Григорьевичем Каховским Рылеев познакомился в начале 1825 года у Ф. Н. Глинки. Каховский только что вернулся из путешествия за границу, где он провел два года, и теперь собирался ехать в Грецию, чтобы принять участие в борьбе за освобождение греков.

Каховский был на два года моложе Рылеева, но между ними было много общего. Легко сходившийся с людьми, Рылеев быстро сдружился с близким ему по духу и взглядам Каховским. Этот молодой человек невзрачной наружности с обыкновенным лицом и оттопырившейся губой, придававшей ему вид дерзости, <sup>172</sup> был одинок и беден.

В отзывчивом к людским нуждам Рылееве он сразу же пробудил участие и сострадание. Рылеев сам пережил тяжкие годы нищеты, когда приходилось рассчитывать каждую копейку. Он и теперь не был богат, но служба в Российско-Американской компании и литературно-издательская деятельность создали ему материальную обеспеченность. Теперь он мог помогать своим друзьям, мог ссужать их деньгами взаймы и — что всего приятнее — забывать об их долгах.

Каховский, так же как и Рылеев, был законченным типом революционера-романтика, перекочевавшим со страниц книги в живую действительность двадцатых годов. По собственным словам, учителями его были «уединение, наблюдение и книги»; с детства он был «воспламенен героями древности». <sup>173</sup> Тот же пламень горел и в душе Рылеева. Когда Войнаровский говорит:

Чтить Брута с детства я привык;  
Защитник Рима благородный,  
Душою истинно свободный,  
Делами истинно велик —

так ведь это устами своего героя говорит сам Рылеев. Политическое свободомыслие проявлялось в этом преклонении перед античностью. В сознании Рылеева, Каховского и их современников имена Брута или Катона вырастали до значения политических символов, политических аллегорий. Статья русским Брутом — такова была заветная мечта Каховского.

Стоит прочесть позднейшие замечательные письма Каховского к своим судьям, чтобы убедиться в том, насколько общим был язык, на котором изъяснялись Рылеев и Каховский. Последний напряженно думает об окружающем зле и произволе; он зорек и наблюдателен; он проявляет способность к обобщениям, и его критика современной социально-политической действительности отличается меткостью и остротой определений. Сколько истин, сказанных царям без малейшего оттенка улыбки и снисходительности, содержат эти письма! И как много в них такого, что прямо перекликается с убеждениями и словами Рылеева.

«С царями народам делать договор невозможно», <sup>174</sup> — утверждает Каховский, словно пересказывая Рылеева:

Нет примиренья, нет условий  
Между тираном и рабом;  
Тут надо не чернил, а крови,  
Нам должно действовать мечом.

Эти четыре строки записаны Рылеевым среди черновых набросков поэмы «Наливайко», свидетельствуя о том, какие мысли занимали поэта в первые месяцы 1825 года, как раз в начале его знакомства с Каховским.

Из разговора Рылеева с Пестелем мы помним, что Рылеев преклонялся перед Вашингтоном и питал «душевное предпочтение» к государственному строю Северной Америки. Эти чувства его разделял и Каховский: «Образование Нового Света, Северо-Американские Штаты своим устройством подвинули Европу к соревнованию. Они будут сиять в пример и отдаленному потомству. Имя Вашингтона, друга, благодетеля народного, пройдет из рода в род; при воспоминании его закипит в груди граждан любовь к благу отечества».<sup>175</sup>

Вспоминая о начальной поре своего знакомства с Рылеевым, Каховский писал: «Я познакомился с Рылеевым у Глинки; скоро с ним сошелся довольно коротко, бывал часто у него, он у меня, и всегда при свиданиях разговор наш большею частью был о правительстве. Согласие во мнениях нас подружило. Он открыл мне о тайном обществе, принял меня в оное и при самом принятии открыл мне и цель оногo: истребление царствующей фамилии и водворение правления народного. Я с ним во всем был согласен. Он просил меня распространять сведения, стараться усиливать общество надежными и полезными людьми, сказав: «Особливо старайся принимать офицеров гвардии, но будь осторожен в выборе и не открывай цель настоящую, а лишь возбуждай ненависть к правительству и стремление к свободе, до прочего каждый сам дойдет. Рисковать нам много не надо. Мне с тобой скрываться не нужно, ты сам столько же готов, как и я; ты многое узнаешь, но, пожалуйста, при приеме не открывай членов и береги общество»... Рылеев мне не сказал ничего нового, точно я давно был готов; он меня не составил — через него я лишь соединился с обществом».<sup>176</sup> Таков был путь многих.

Пылкий до дерзновения, Каховский предстал перед Рылеевым как человек, «готовый на самоотвержение». Штейнгель отозвался о Каховском еще решительнее: он

почуял в нем романтическую готовность «на обречение». <sup>177</sup> Каховский был живым воплощением образа рылеевского романтического героя, жертвующего отчизне самым дорогим, что есть у него:

Любя страну своих отцов,

Ее спасая от оков,

Я жертвовать готов ей чеством <sup>178</sup>.

А вот исповедь Каховского: «Я за первое благо считал не только жизнью — чеством жертвовать пользе моего отечества. Умереть на плахе, быть растерзану и умереть в самую минуту наслаждения, не все ли равно? Но что может быть слаще, как умереть, принеся пользу?.. Увлеченный пламенной любовью к родине, страстью к свободе, я не видал преступления для блага общего. Для блага отечества я готов бы был и отца родного принести в жертву». <sup>179</sup>

Скоре после того, как Рылеев принял Каховского в члены тайного общества, он пришел к Рылееву и заявил: «Послушай, Рылеев! Я пришел тебе сказать, что я решил убить царя. Объяви об этом Думе. Пусть она назначит мне срок»:

Рылеев испугался.

«Что ты сумасшедший! Ты, верно, хочешь погубить общество!» — воскликнул он и принялся доказывать Каховскому, что Дума не одобрит сейчас такого поступка, который может быть пагубным для цели тайного общества, а оно еще не готово к решительным действиям. Все было тщетно. Каховский стоял на своем, говоря, что «он никого не выдаст», но что «он решился и намерение свое исполнит непременно».

Тогда Рылеев попытался затронуть в нем чувство дружбы:

«Любезный Каховский! Подумай хорошенько о своем намерении. Схватят тебя, схватят и меня, потому что ты у меня часто бывал. Я общества не открою, но вспомни, что я отец семейства. За что ты хочешь погубить мою бедную жену и дочь?»

Каховский призадумался. Слезы заблестели у него в глазах.

«Ну, делать нечего, — сказал он со вздохом, — Ты убедил меня!».

Рылеев воспользовался тем, что ему удалось растрогать Каховского. «Дай же мне честное слово, — промолвил он, — что ты не исполнишь своего намерения». Каховский обещал.<sup>180</sup>

С этого дня черная кошка пробежала между Рылеевым и Каховским. Рылеев сделался скрытен в его присутствии. Каховский стал часто погружаться в мрачную задумчивость. Тень взаимного недоверия легла на их отношения.

Через несколько месяцев Рылееву пришлось иметь дело с другим, еще менее покладистым романтическим «эдодем». О нем он слышал задолго до его приезда в Петербург в июле 1825 года. Александр Иванович Якубович, бывший корнет лейб-гвардии уланского полка, за участие в нашумевшей дуэли графа А. П. Завадовского с В. В. Шереметевым был переведен в армейский Нижегородский драгунский полк и отправлен на Кавказ. В экспедициях против горцев Якубович завоевал себе славу отчаянного храбреца. Приезд его в Петербург был вызван лечением тяжелой раны, полученной им на Кавказе, и хлопотами об обратном переводе в гвардию. Старания Якубовича в этом последнем направлении не увенчались успехом, но в петербургском обществе он быстро вошел в моду. Все в Якубовиче обращало на себя внимание: мужественная осанка, воинственный взгляд, хохлацкие усы, громкий голос и хвастливый тон, черная повязка на лбу, скрывавшая незаживающую рану. Якубович был далек от политики, но не мог простить Александру I своих служебных невзгод и пламенел личной ненавистью к нему.

«Решительный характер» Якубовича полюбился Рылееву, и он «с первого свидания возымел намерение принять его в члены общества». Но стоило только Рылееву «открыться» Якубовичу, как тот с горячностью возразил ему: «Признаюсь, я не люблю никаких тайных обществ. По моему мнению, один решительный человек полезнее всех карбонаров и масонов. Я знаю, с кем говорю, и потому не буду таиться. Я жестоко оскорблен царем. Вы, может, слышали...» Тут он вытащил из кармана полуистлевший и засаленный приказ о переводе его из гвардии в армию и продолжал «все с большим и большим жаром»: «Вот пилюля, которую я восьмой год ношу у ретивого; восьмой год жажду мщения». С этими словами он сорвал с головы повязку и, указывая на выступившую кровь, сказал: «Эту рану можно было залечить и на Кав-

казе..., но я этого не захотел и обрадовался случаю хоть с гнилым черепом добраться до оскорбителя. И, наконец, я здесь! И уверен, что ему не ускользнуть от меня. Тогда пользуйтесь случаем; делайте, что хотите! Созывайте ваш Великий Собор и дурачьтесь досыта!»

Повторился отчасти разговор, происходивший у Рылеева с Каховским. Но уговорить Якубовича отказаться от своего замысла было труднее: до судьбы тайного общества ему дела не было, а других доводов Рылеев и не мог привести. «Общее благо» не существовало для Якубовича; он пылал жадной личной мщенией. «Только две страсти движут мир, — говорил он, — это благодарность и мщение. Все другие — не страсти, а страстишки. Слов своих на ветер я не пускаю и дело свое совершу непременно». Свое намерение он собирался осуществить во время маневров или петергофского праздника. До праздника оставалось уже недолго.

Рылеев сообщил Думе о своем разговоре с Якубовичем. Муравьев и Оболенский поручили Рылееву «всячески стараться отклонить Якубовича от его намерения». Двухчасовой разговор с ним Рылеева кончился тем, что он вышел от Якубовича «в чрезвычайном волнении и негодовании». Разговор происходил в присутствии Александра Бестужева и Одоевского. Последний считал Якубовича «сумасшедшим и пустым говоруном». Рылеев не соглашался с Одоевским: горячий упрямец представлялся ему «самым опасным человеком» для целей общества. Прощаясь с друзьями, Рылеев сказал: «Я решился на все. Его завтра же вышлют»: Он был вне себя.

На следующий день Бестужев и Одоевский спозаранок пришли к Рылееву и стали отговаривать его от таких крайних мер против Якубовича: «Ты обесславишь себя». Не лучше ли вызвать Якубовича на дуэль?

Пыл Рылеева несколько поутихнул за ночь. Он отвечал, что не хочет губить Якубовича, что надо общими усилиями убеждать его хотя бы «отложить свое намерение на некоторое время». Эти усилия привели к желанному результату. Якубович, наконец, уступил. Он обещал сначала «отложить свое предприятие на год», а затем «на неопределенное время». Рылеев выиграл борьбу.<sup>181</sup>

Но если Рылееву удалось успокоиться насчет Якубовича, то в сентябре ему пришлось выдержать новый натиск со стороны Каховского. Наскучив ожиданием, «русский

Брут» снова выступил со своими планами истребления тирана и требовал, чтобы Рылеев представил его членам Думы. Рылеев отказал ему в этом и даже промолвил с раздражением: «Якубович гораздо чище тебя; он для общества отложил свое намерение, не будучи членом, а ты принадлежишь к обществу и хочешь действовать вопреки его видам». Требование Каховского открыть ему состав Думы Рылеев рассматривал как прямое нарушение правил общества. «Я жестоко ошибся в тебе, — сказал он Каховскому, — и раскаиваюсь в том, что принял тебя в общество». <sup>182</sup>

Каховский был оскорблен и сбит с толку. Он хорошо видел возраставшую «сухость» Рылеева к нему. Однако же Рылеев явно не хотел отпускать его далеко от себя. Когда, еще в мае месяце, Каховский думал было уехать к брату в Смоленск, Рылеев его удерживал. Убеждал поступить на службу в новгородское военное поселение, уверяя, что обществу нужно иметь там своих людей. На это Каховский не согласился, но и в Смоленск не уехал, а остался в Петербурге. Тогда Рылеев стал советовать ему снова определиться в какой-нибудь полк, говоря, что в мундире ему легче будет воздействовать на солдат. Каховский видел, что Рылеев за него держался, — иначе не стал бы он отговаривать его от поездки в Смоленск. Тем более возмущало его стремление Кондратия Федоровича во что бы то ни стало настоять на своем. Рылеев как будто бы вовсе не считался с его мнением: стоило Каховскому о чем-нибудь с ним заспорить, как он тотчас насмешливо обзывал его «ходячей оппозицией». Как-то раз на одно предложение Каховского, касающееся общества, Рылеев сказал: «Пожалуйста, не мешайся, ты ничего более как рядовой в обществе». Правда, он тут же прибавил: «Да и от меня не много зависит; как определит Дума, так и будет», — однакоже его слова больно задели Каховского: как, он — «рядовой в обществе», он, которому предстоит почетная роль «русского Брута»! Ведь обещал же ему Рылеев (желая сгладить неприятное впечатление от сравнения его с Якубовичем), что «если общество решится начать действия свои покушением на жизнь государя, то никого, кроме его, не употребит к тому». А теперь всячески подчеркивает, что Каховский только рядовой исполнитель! Закрадывалось подозрение: уж не смотрят ли на него как на «ступеньку» для возвышения других? <sup>183</sup>

На самом деле Рылеев совсем по другой причине дорожил Каховским: он был важен для него как связующее звено между Северным обществом и лейб-гвардии Гренадерским полком. В этом полку служил старый товарищ Каховского поручик Сутгоф. Каховский открыл ему существование общества, а так как Сутгоф и сам желал «содействовать благу общему», то Каховский принял его в число членов. Рылееву это, разумеется, было известно.

Сложные взаимоотношения с Завалишиным, Якубовичем и Каховским, попытки установления связи с Гвардейским экипажем через Николая Бестужева и Торсона, «почти каждодневные беседы с людьми одинакого образа мыслей» свидетельствуют о том, что Рылеев жил в 1825 году напряженной и лихорадочной жизнью руководителя тайного общества. Но эта кипучая и беспокойная деятельность не отвлекала его от литературных интересов. Он полон творческих планов. Он оживленно делится с друзьями своими мнениями по вопросам литературы. Теперь, более чем когда-либо, поэзия становится в его глазах одной из важнейших отраслей общественно-гражданского служения.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 1

Графин простой водки, несколько кочней кислой капусты и обыкновенный ржаной хлеб — таково было меню «русских завтраков» Рылеева. Но Александр Бестужев бывал рад, когда герцог Вюртембергский, при котором он состоял адъютантом, отпускал его до обеда. Тонкие произведения герцогской кухни не стоили, в его глазах, демократических яств Рылеева.

Участники рылеевских завтраков — братья-романтики Бестужевы, пылкий энтузиаст князь Одоевский, холодный скептик Грибоедов, добродушный флегматик Дельвиг и многие другие петербургские свободолюбцы и литераторы — собирались обычно между двумя и тремя часами пополудни. Толковали о политике, злословили насчет правительства. Иногда кто-нибудь затягивал «подблюдную» песню, вроде «Уж как шел кузнец...», а остальные подхватывали ее припев. Говорили о пренебрежении высших кругов общества к русскому языку, о замене иностранных названий государственных учреждений и чинов рус-



скими, о красоте и удобстве русского платья сравнительно с уродством иноземных фасонов. Обменивались последними литературными новостями, читали стихи.<sup>184</sup>

Однажды — это было весной 1825 года — кто-то завел речь о Жуковском. «Лавры на челе его начинают блекнуть в придворной атмосфере». Дельвиг недаром утверждает, что Жуковский «погиб невосвратно для поэзии».<sup>185</sup> Одни сожалели о нем, другие считали, что влияние его на русскую литературу вообще не было благотворным. Смеялись над тем, с какой серьезностью выполняет Жуковский свои придворные обязанности. Наконец Александр Бестужев, к всеобщему удовольствию присутствовавших, произнес импровизированную эпиграмму:

Из савана оделся он в ливрею,  
На пудру променял свой лавровый венец,  
С указкой втерся во дворец,  
И там, пред знатными сгибая шею,  
Он руку жмет камер-лакею...  
«Бедный певец!..»<sup>186</sup>

Этот спор о Жуковском на «русском завтраке» у Рылеева был продолжением эпистолярного спора на ту же тему, завязавшегося несколько ранее того между Рылеевым, Бестужевым и Пушкиным.

В последних числах декабря 1824 года появился счастливый соперник «Полярной Звезды», альманах Дельвига «Северные Цветы». Он открывался «Письмом к графине С. И. С. о русских поэтах», написанным Плетневым. В этом письме Плетнев посвятил несколько восторженных страниц Жуковскому, назвав его «образцом всех наших новейших поэтов». Бестужев не согласился с этой оценкой и в письме к Пушкину сурово отозвался о Жуковском. «Согласен с Бестужевым во мнении о критической статье Плетнева, но не совсем соглашаюсь с строгим приговором о Жуковском, — писал Пушкин Рылееву 25 января 1825 года. — Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым. Ох, уж эта мне республика словесности! За что казнит, за что венчает?»<sup>187</sup>

Рылеев отвечал за своего друга: «Неоспоримо, что Жуковский принес важные пользы языку нашему; он имел решительное влияние на стихотворный слог наш — и мы

за это навсегда должны остаться ему благодарными, но отнюдь не *за влияние его на дух нашей словесности...* К несчастью, влияние это было слишком пагубно: мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, растрлили многих и много зла наделали». <sup>188</sup>

Было время, когда Бестужев «увлекался мечтательною поэзиею Жуковского», а Рылеев называл его «несравненным». Теперь иные времена. Иные потребны песни. Оба они отдают предпочтение «тому, что колеблет душу, что ее возвышает, что трогает русское сердце». <sup>189</sup>

Пробуждающейся русской Свободе нужен певец высоких «предметов», нужен русский Тиртей.

Кто мог бы им стать?

В самом себе Рылеев не находил достаточного дарования, чтобы выполнить эту почетную миссию. В посвящении «Войнаровского» Александру Бестужеву он со всею скромностью заявил:

Прими ж плоды трудов' моих,  
Плоды беспечного досуга...

Как Аполлонов строгий сын  
Ты не увидишь в них искусства:  
Зато найдешь живые чувства;  
Я не поэт, а гражданин.

Но русский Тиртей, русский Байрон, русский Рига должен быть не просто гражданином и не просто поэтом: он должен быть *поэтом-гражданином*.

Рылеев и Бестужев понадеялись было на Боратынского. Ему, казалось бы, доступен их образ мыслей: недаром он так восхищается «Войнаровским» и иронизирует насчет русского правительства, которое «парит превыше всех законов». Он за мальчишескую проделку в Пажеском корпусе расплачивается солдатчиной, его молодость отравлена, он имеет основания ненавидеть правительство. Как поэт, он стоит на распутии. Он уже отвернулся от «унылой элегии». Ему самому надоело «вытье жеманное поэтов наших лет». Нужно помочь ему выйти на настоящую дорогу. Издатели «Полярной Звезды» начали приручать Боратынского. Собирались выпустить его стихотворения отдельным изданием, наталкивали его на возвышенные те-

мы, подбивая перевести на русский язык гираноборческую трагедию Гиро «Маккавей». <sup>190</sup>

Но Боратынский не оправдал надежд своих «милых собратьев» Бестужева и Рыльева. В сущности, этого и следовало ожидать. Уже послание к Гнедичу, написанное в 1823 году, указывало на то, что Боратынскому не по пути с Рылевым и Бестужевым. Для Боратынского поэзия — «суетная забава», и странно ему, что от нее требуют «общеполезного назначения». Гнедич советует ему обратиться к обличительной поэзии, но в наше время сатира все равно бессильна исправить нравы. Во-первых, цензура не даст в обиду того, кого следует:

... к обществу усердьем пламеня,  
Я смею ль указать на всякого злодея?  
Гражданского глупца позволено ли мне  
С негодным рифмачом цыганить наравне?

Во-вторых, если один поэт станет обличать «гражданского глупца», так уж другой наверняка превознесет его до небес, и он, конечно, поверит не словам правды, а словам лжи и лести. Итак, пищей сатирика могут быть лишь одни «негодные рифмачи». Но стоит ли размениваться на словесную войну с «парнасскими чудаками» и наживать себе врагов? Нет, «мудрец прямой идет путем иным»: он «хладнокровно» взирает на «слабости людские», зная, что «кудрявыми словами» их не исправить.

Для Боратынского песни свободы — не только «прекрасные», но и «опасные» песни. <sup>191</sup> Ему не пристало раздражать правительство, от которого он ждет решения своей участи, своей личной свободы. Быть тише воды, ниже травы — таково правило житейской мудрости Боратынского.

Ясно становилось, что рассчитывать на Боратынского не приходится. И Бестужев с явным раздражением пишет Пушкину 9 марта 1825 года: «Что... касается до Боратынского, я перестал веровать в его талант. Он изфранцузился вовсе. Его *Эда* есть отпечаток ничтожности, и по предмету, и по исполнению, да и в самом *Черепе* я не вижу целого — одна мысль, хорошо выраженная, и только. Конец — мишура». <sup>192</sup>

Другим кандидатом на роль поэта-гражданина, поэта-вождя и по своему таланту, и по своей политической репутации, естественно, выступал сам Пушкин.

В январе 1825 года Иван Иванович Пушкин посетил своего опального друга в Михайловском. Он привез ему письмо от Рылеева. Незадолго перед тем Рылеев впервые прослушал «Цыган». Беспутный гуляка и весельчак Левушка Пушкин, несмотря на запрет брата разглашать до печати его новую поэму, читал «Цыган» направо и налево. Рылеев был в восторге. Этой восторженностью дышит его обращение к Пушкину:

«Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с Цыганами. Они совершенно оправдали наше мнение о твоём таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца. Я пишу к тебе: ты, потому что холодное *вы* не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям. Пушкин познакомит нас короче. Прощай, будь здоров и не ленись: ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы». <sup>193</sup>

Считая Пушкина своим «и по душе, и по мыслям», Рылеев пыгается обратить его музу к высоким гражданским темам. Когда тот же Левушка читает ему первую главу «Евгения Онегина» — он восхищается, но вместе с тем и разочарован. Бестужев, прослушавший ее еще раньше, успел уже начать с Пушкиным эпистолярную полемику: от изгнанника-поэта он, как и Рылеев, ждал иных песен.

Пушкин спорит: «...Ужели хочет он изгнать все легкое и веселое из области поэзии?» А что же делать со сказками Лафонтена, «Девственницей» Вольтера, «Душенькой» Богдановича, баснями Крылова и многим другим? Выкинуть? «Это немного строго».

И он поручает Рылееву передать своему другу, что «он не прав». <sup>194</sup>

Но Пушкину не удастся разубедить ни Бестужева, ни Рылеева. Они подробно возражают ему: «Картины светской жизни входят в область поэзии» — это верно, особенно при «чертовском даровании» Пушкина. Но почему поэт не поставил своего героя «в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты?» Влюбленный в сильных и мятежных героев Байрона, Бестужев с досадой видит в Онегине «франта, который душой и телом предан моде», человека, каких тысячи встретишь на каждом шагу, «ибо самая холодность и мизан-

тропия и странность теперь в числе туалетных приборов». Пушкин описал петербургский свет поверхностно; он «не проник в него». То ли дело Байрон в «Дон-Жуане»! Как он умел обрисовывать человеческие характеры с их «страстями и страстишками»! «И как зла, и как свежа его сатира!»

Основные возражения Бестужева направлены против образа героя. Зато все лирические отступления вызвали с его стороны одобрение: вся «мечтательная часть прелестна», ибо тут Евгений уступает место самому Пушкину.<sup>196</sup>

«Не знаю, что будет Онегин далее, — пишет Пушкину Рылеев 10 марта 1825 года, — быть может, в следующих песнях он будет одного достоинства с Дон-Жуаном: чем дальше в лес, тем больше дров; но теперь он ниже Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника. Я готов спорить об этом до второго пришествия».<sup>196</sup>

Но Пушкин «до второго пришествия» спорить не собирався. В ответном письме к Бестужеву он заявил, что в «Евгении Онегине» нет ничего общего с «Дон-Жуаном», а следовательно нельзя их и сравнивать. «Где у меня сатира? О ней и помину нет в *Евгении Онегине*. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатире. Самое слово *сатирический* не должно бы находиться в предисловии».

Сравнение с «Дон-Жуаном» возникало у читателей не случайно. Сам Пушкин, приступая к «Онегину», называл его романом в стихах «вроде Дон-Жуана». Он хотел вернуть в своем романе сатирическое изображение современного светского общества, «захлебнуться желчью». Хотя поэт и отступил от этого намерения, но следы первоначального замысла нет-нет да и проскальзывали в «Онегине», особенно же в первой главе.

Пушкин дал понять Бестужеву, что по началу нельзя судить о целом: «1-ая песнь просто быстрое введение, и я им доволен (что очень редко со мною случается). Сим заключаю полемику нашу...»<sup>197</sup>

Было бы ошибочно думать, что, полемизируя с Пушкиным, Рылеев и Бестужев требовали от него безусловного подражания Байрону. Вовсе нет. Байрон являлся в их глазах лишь мерилом для сравнения.

«Как велик Байрон в следующих песнях Дон-Жуана! — пишет Рылеев Пушкину 12 мая 1825 года. — Сколько поразительных идей, какие чувства, какие краски! Тут Бай-

рон вознесся до невероятной степени: он стал тут и выше пороков и выше добродетелей. Пушкин, ты приобрел уже в России пальму первенства: один Державин только еще борется с тобою, но еще два, много три года усилий, и ты опередишь его: тебя ждет завидное поприще: ты можешь быть нашим Байроном, но ради бога, ради Христа, ради твоего любезного Магомета не подражай ему. Твое огромное дарование, твоя пылкая душа могут вознести тебя до Байрона, оставив Пушкиным. Если б ты знал, как я люблю, как я ценю твое дарование. Прощай, чудотворец».<sup>198</sup>

Звонкий тон этих строк понятен. За последние недели Рылееву довелось услышать неизданные произведения михайловского затворника. Пушкин шел вперед исполинскими шагами. Чего стоят, например, «Подражания Корану»! Левушка Пушкин недавно читал их у Плетнева в присутствии Рылеева и Кюхельбекера. Изображение Страшного суда потрясло Рылеева. В особенности запомнились ему жуткие строки:

И брат от брата побежит,  
И сын от матери отпрянет.

Эти два «превосходные» стиха долго звучали в его ушах.

Там же, у Плетнева, в четвертый раз слышал Рылеев пушкинских «Цыган». Слушал их «с новым, с живейшим наслаждением». Старался «привязаться к чему-нибудь» и нашел только, что «характер Алеко несколько унижен. Зачем водит он медведя и собирает вольную дань? Не лучше ли б было сделать его кузнецом?»<sup>199</sup>

Рылеев и сам сознавал, что это, в сущности, придирка.

В другой раз, на «русском завтраке» у самого Рылеева, тот же неутомимый чтец братниных стихов прочел под шумные восторги слушателей отрывок из третьей главы «Евгения Онегина» — разговор Татьяны с няней. Рылеев и Бестужев тут же пристали к нему, чтобы он продал им этот отрывок для их альманаха. Левушка запросил по пяти рублей ассигнациями за строчку.

«Ты промахнулся, Блёвушка\*, не потребовав за строку по червонцу, — со смехом сказал ему Бестужев. — Я бы тебе и эту цену дал, но только с условием пропечатать

\* Прозвище, данное Льву Сергеевичу Пушкину его друзьями и намекающее на умеренное употребление вина.

нашу сделку в Полярной Звезде, для того чтоб знали все, с какою готовностью мы платим золотом за золотые стихи». <sup>200</sup>

Чем-то глубоко русским, настоящим, народным пахнуло на слушателей от этого диалога старушки-няни с героиней романа. Пушкин в своих новых созданиях приближался к тому идеалу поэта, о котором мечтал Бестужев: «Уединение зовет его, душа просит природы; богатое нечерпанное лоно старины и мощного, свежего языка перед ним расступается: вот стихия поэта, вот колыбель гения!» <sup>201</sup>

## 2

Ранней весной 1825 года в Москве вышли из печати «Думы» и «Войнаровский». Вслед за ними появилась в Петербурге третья, сильно запоздавшая книжка «Полярной Звезды». Смерть сына Рылеева, отъезд его самого в Воронежскую губернию, петербургское наводнение 1824 года — все это помешало выпустить альманах в срок, то есть к новому году. «Полярная Звезда» вместо святочного подарка читателям превратилась в пасхальный. В этой книжке альманаха Рылеев напечатал три отрывка из своей новой поэмы «Наливайко».

И «Думы», и «Войнаровский», и «Наливайко» были восторженно приняты читателями. Книги раскупались на расхват. В первые же недели Рылеев «заработал» тысячи две. Похвалы раздавались со всех сторон.

14 марта Рылеев получил свежий номер «Северной Пчелы». Развернув его, он нашел в отделе «Новые книги» подробный разбор «Войнаровского».

«Вот истинно национальная поэма! — читал он. — Чувствования, события, картины природы, — все в ней русское, списанное, так сказать, на месте... Предоставляем строгим судьям поэзии находить недостатки в этой поэме; они, конечно, отыщут некоторые повторения, некоторые неровности в стихах, может быть излишнее пристрастие автора к описанию картин природы, которые, впрочем, живы и прелестны. Но эта поэма доставила нам удовольствие даже при неоднократном чтении. Это чистая струя, в которой отсвечивается душа благородная, возвышенная, исполненная любви к родине и человечеству».

Статья была подписана инициалами: Ф. Б. — Фаддей Булгарин.

Эта статья взволновала Рылеева. Некогда он дружил с Булгариным, но вот уже полтора года как они не видались. Неблаговидный поступок Булгарина с Воейковым, — попытка перебить у него аренду на издание «Русского Инвалида», — побудил Рылеева открыто высказать первому свое порицание. Отсюда — разрыв. Теперь, при виде подписи Булгарина, Рылееву вспомнилось, сколько «грубостей и глупостей» наговорили они тогда друг другу, как он письменно просил Булгарина забыть об его существовании, ибо — «по разному образу чувствования и мыслей нам скорее можно быть врагами, нежели приятелями». <sup>202</sup> Вспомнилось и последнее письмо Булгарина, где он писал, что, несмотря на расхождение, навсегда сохранит к Рылееву чувства любви и уважения.

В то время Булгарин, хотя и далеко не безупречный морально, еще не запятнал себя черной славой «шпиона, переметчика и клеветника». Он пользовался репутацией влиятельного журналиста. Держа нос по ветру, непрочь бывал и полиберальничать. Вот почему в литературных кругах Булгарин еще не считался фигурой одиозной, какою он стал впоследствии. Дружба с ним не казалась предосудительной.

Читая в «Северной Пчеле» отзыв о «Войнаровском», Рылеев убеждался в том, что Булгарин сдержал свое слово. Не пора ли забыть о прошлой размолвке? И Рылеев первый протянул ему руку в знак примирения. <sup>203</sup>

Несколько дней спустя в той же газете появилась другая статья Булгарина — о «Думах». Журналист расценивал их как «драгоценный подарок для русских патриотов», возбуждающий «высокие чувства» в читателях. На всем сборнике лежит, по его мнению, печать «любви к отечеству» и «чистейшей нравственности». Сам поляк, Булгарин отдавал предпочтение «занимательным» думам Рылеева перед «единообразными» думами Немцевича: «У г. Рылеева во многих думах есть действие, движение, и это самое придает им занимательность и достоинство неболших поэм». <sup>204</sup>

Круг рылеевских читателей был достаточно широк и разнообразен. Даже в доме директора Публичной библиотеки и Академии Художеств Оленина, этом штабе литературных «старозеров», и то «восторгались» поэзией Рылеева. Одна из дочерей Оленина до старости лет сохранила увлечение «Думами». <sup>205</sup> В среде литературных и по-



литических единомышленников Рылеева одновременное появление всех самых значительных его произведений рассматривалось как событие, выходящее далеко за пределы литературы. Особенно живым и нежосродственным было восприятие «Исповеди Наливайки». Глубокая действительность отрывка сказалась тотчас же, как только он был написан. Это было в начале 1825 года. Пользуясь отсутствием семьи, Рылеев приютил у себя больного лейтенанта Михаила Бестужева. Однажды Рылеев вошел в комнату к Бестужеву и прочел ему только что законченную «Исповедь Наливайки»:

Известно мне: погибель ждет  
Того, кто первый восстает  
На утеснителей народа —  
Судьба меня уж обрекла.  
Но где, скажи, когда была  
Без жертв искуплена свобода?  
Погибну я за край родной, —  
Я это чувствую, я знаю...  
И радостно, отец святой,  
Свой жребий я благословляю!

Эти заключительные строки «Исповеди» поразили Бестужева. «Знаешь ли, — сказал он, — какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобой. Ты как будто хочешь указать на будущий свой жребий в этих стихах».

— Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть минуту в своем назначении? — сказал Рылеев. — Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей погибели, которую мы должны купить нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих россиян».

Так в своем «Воспоминании о Рылееве» передает этот разговор брат Михаила Бестужева Николай.<sup>206</sup> Как известно, Бестужев-мемуарист любил диалоги. Историческая правда обычно переплетается в них с литературным вымыслом, и дословность их справедливо заподозрена. Но нужно помнить, что и Рылеев, и Бестужев, и Одоевский, и Кюхельбекер, и многие другие ратники русской Свободы были революционерами-романтиками. Романтизм накладывал свой отпечаток на их образ мыслей и часто определял их поступки. Зная, до какой степени манили их к себе героические темы самопожертвования и обреченности, мы верим, что общий смысл разговора между Михаилом

Бестужевым и Рылеевым мог быть именно таким. За пересказом Николая Бестужева сохраняется значение полного исторического правдоподобия. Не пройдет и года, как «Исповедь Наливайки» действительно превратится в подлинную исповедь целого поколения — поколения первых русских революционеров. Мысли, выраженные в ней, неоднократно высказывались на собраниях членов Северного общества, но громче и убежденнее других исповедывал их всегда сам Рылеев. Немудрено, что в представлении тех, кто знал его лично, образ поэта как бы сочетал в себе черты его любимых героев. Говоря о том, что вся жизнь Рылеева «дышала любовью к отечеству», Розен пишет в своих «Записках декабриста»: «Прочтите его сочинения: вы повсюду найдете эту любовь, готовую принять все муки адские, лишь бы быть полезным своей стране родной! Читайте думу «Волынский», «Исповедь Наливайки», поэму «Войнаровский», вы в них услышите и увидите самого Рылеева».<sup>207</sup>

Многие удивлялись тому, каким образом цензура, пугавшаяся, как святотатства, «ангельской прелести» и «божественной красоты», пропустила «Исповедь Наливайки», — до того прозрачным казался ее второй план. Явное агитационное значение этого отрывка из новой поэмы Рылеева ускользнуло от бдительного цензора Бирукова. Это дало свободу некоторым критикам печатно хвалить в своих рецензиях именно «Исповедь Наливайки». Вяземский нашел в ней «сильные мысли и правильные чистые стихи»; рецензент «Сына Отечества» усмотрел «отпечаток души великой, непреклонной, воспламененной любовью к родине. Наливайко мыслит как герой, говорит как неукротимый сын природы, чувствует как человек, не рожденный пресмыкаться под игом иноплеменных».<sup>208</sup> Так отзываться о Наливайке было вполне приемлемым в условиях тогдашнего цензурного устава. Зато те, кому был доступен подлинный смысл отрывка, вычитывали в нем не только мысли «героя» и слова «неукротимого сына природы», но прежде всего заветные думы патриота-революционера. В сердцах таких читателей любовь к родине и любовь к свободе были неотделимы друг от друга, а понятие «иго иноплеменных» воспринималось гораздо шире, чем это позволяло прямое значение слов.

У каждого писателя среди собственных созданий есть любимые. Рылеев из всего им написанного, быть может,

наиболее дорожил «Исповедью Наливайки». Но и в «Войнаровском», и в «Думах» были страницы, близкие его душе. Успех всех этих произведений убеждал Рылеева в том, что «дух времени» был им угадан верно. Он с удовлетворением и радостью прислушивался к впечатлениям читателей и с нетерпением ожидал, что-то скажет Пушкин.

В апреле 1825 года в Михайловское доехал Дельвиг. «Как я был рад баронову приезду! — сообщал Пушкин брату. — Он очень мил! Наши барышни все в него влюбились, а он равнодушен, как колода, любит лежать на постели, восхищаясь Чигиринским старостою». Этот же отрывок из «Наливайки» («Смерть Чигиринского старосты») особенно понравился и самому Пушкину. Зато Дельвиг «уморительно сердился» на посвящение «Войнаровского», и Пушкин ему поддакивал: «Я не поэт, а гражданин, — повторял он, смеясь, — если ты пишешь стихи, то прежде всего должен быть поэтом; если же хочешь просто гражданствовать, то пиши прозой». <sup>209</sup>

Поэзия Рылеева не встречала со стороны Пушкина полного признания. В отношении великого поэта к своему литературному собрату заметны колебания. Первое время отношение это — скажем прямо — было пренебрежительным. Припомним в хронологической последовательности основные высказывания Пушкина о Рылееве.

Прочитав в 1822 году думу Рылеева «Богдан Хмельницкий», Пушкин писал брату: «Милый мой, у вас пишут, что луч денницы проникал в полдень в темницу Хмельницкого. Это не Хвостов написал — вот что меня огорчило». Вскоре после того он наткнулся на исторический анахронизм в думе «Олег Вещий»: Рылеев упоминал в ней о «щите с гербом России», тогда как на щите Олега герба быть не могло. Подобные промахи вызывали у щепетильного на этот счет Пушкина предвзято скептическое отношение к поэту, который путает утреннюю зарю с полдневным солнцем и, берясь за исторические сюжеты, обнаруживает недостаточное знакомство с историей. «Знаменитый Рылеев», иронически упоминается им наряду со «знаменитым Панаевым» и «прочими знаменитыми нашими поэтами». <sup>210</sup>

Однако под впечатлением отрывков из «Войнаровского», напечатанных в «Полярной Звезде» на 1824 год, тон пушкинских высказываний о Рылееве меняется: «Рылеева

*Войнаровский* несравненно лучше всех его *Дум*, слог его возмужал и становится истинно-повествовательным, чего у нас почти еще нет». «С Рылеевым мирюсь — *Войнаровский* полон жизни». Ожидая встретить отрывки из «*Войнаровского*» и в следующей книжке альманаха, Пушкин пишет самому Рылееву в январе 1825 года: «Жду Полярной Звезды с нетерпеньем, знаешь для чего? Для *Войнаровского*. Эта поэма нужна была для нашей словесности». Почти одновременно он приветствует появление «*Палея*»\*: «По журналам вижу необыкновенное брожение мыслей; это предвещает перемену министерства на Парнассе. Я министр иностранных дел и, кажется, дело до меня не касается. Если *Палей* пойдет, как начал, Рылеев будет министром». Опасавшийся ранее, как бы Плетнев и Рылеев не «отучили» его от поэзии, Пушкин теперь грозит, что бросит писать поэмы из страха перед сильным соперником. Бестужев и Рылеев приняли эти слова за «великую лесть». Пушкин оправдывался в письме к Бестужеву: «Откуда ты взял, что я льщу Рылееву? Мнение свое о его *Думах* я сказал вслух и ясно, о поэмах также. Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своею дорогою. Он в душе поэт. Я опасуюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай\*\*», да чорт его знал! Жду с нетерпением *Войнаровского* и перешлю ему все свои замечания. Ради Христа, чтобы он писал — да более, более!»<sup>211</sup>

Как только вышли из типографии «*Войнаровский*» и «*Думы*», Пушкин, по поручению Рылеева, переслал их в Михайловское. Рылеев знал, что Пушкин «не жалуется» его «*Думы*», художественная слабость некоторых из них и самому ему была очевидна. Но вместе с тем он был «убежден душевно, что *Ермак*, *Матвеев*, *Волынский*, *Годунов* и им подобные хороши и могут быть полезны не для одних детей».<sup>212</sup> Вслед за «*Войнаровским*» и «*Думами*» Рылеев послал Пушкину «*Полярную Звезду*» с отрывками из «*Наливайки*».

В конце апреля вернулся Дельвиг и пересказал Рылее-

\* Под таким заглавием напечатан был в «Северной Пчеле» отрывок из поэмы, над которой Рылеев работал параллельно с работой над «*Наливайко*».

\*\* Повидимому, намек на неизвестные нам обстоятельства, относящиеся ко времени первого знакомства Пушкина с Рылеевым в 1819—1820 годах.

ву впечатления Пушкина. О многом хотелось поспорить, но Пушкин обещал прислать ему письменные замечания, и Рылеев решил обождать. Одно только удивило его: Пушкин, по словам Дельвига, с похвалами отзывался о «Смерти Чигиринского старосты» и ни слова не сказал об «Исповеди Наливайки». Почему? «В *Исповеди* мысли, чувства, истины, словом гораздо более дельного, чем в описании удальства Наливайки, хотя, наоборот, в удальстве более дела». <sup>213</sup>

По отъезде Дельвига Пушкин перечитал «Войнаровского» и на полях книги набросал свои замечания. Этот экземпляр он и отослал автору.

Друзья Рылеева были удивлены: многие стихи «истинно-поэтические, истинно-прекрасные», стихи, волновавшие их головы и сердца, остались не замеченными Пушкиным. Зато ему нравились местные описания, отдельные жизненно-верные подробности. В том месте, где Рылеев изображает палача, Пушкин вычеркнул строку: «Вот засучил он рукава» и на полях приписал: «Продай мне этот стих!» Миллера он назвал «истуканом». Хорош собеседник, который на протяжении всей поэмы только слушает! И Рылеев был вынужден согласиться, что Пушкин прав: именно Миллер мог бы поспорить с Войнаровским «за нашего Великого Петра». Тогда не пришлось бы «прибегать к хитростям и говорить за Войнаровского для Бирукова». <sup>214</sup>

Зная, что брат приятельствует с Рылеевым и что тот, конечно, покажет ему его маргиналии, Пушкин спрашивал Льва Сергеевича: «...Каковы мои замечания? Надеюсь, не скажешь, что я ему кажу — а виноват: *Войнаровский* мне очень нравится. Мне даже скучно, что его здесь нет у меня». <sup>215</sup>

Действительно, Пушкин был одним из немногих читателей, которые не «кадили» Рылееву. Но «прямодушные замечания» его на «Войнаровского» не обидели поэта, и он дважды благодарил за них «милого чародея».

Благодарность Рылеева была вполне искренней. Весь тон его письма к Пушкину не оставляет на этот счет никаких сомнений. Тем более странным и неожиданным кажется следующее стихотворение, проникнутое горечью уязвленного самолюбия и написанное как раз в это время:

Хоть Пушкин суд мне строгий произнес  
И слабый дар, как недруг тайный, взвесил.  
Но от того, Бестужев, еще нос  
Я недругам в угоду не повесил.

Моя душа до гроба сохранит  
Высоких дум кипящую отвагу;  
Мой друг! Не даром в юноше горит  
Любовь к общественному благу!

В чью грудь порой теснится целый свет,  
Кого с земли восторг души уносит,  
На зло врагам тот всегда поэт,  
Тот славы требует, не просит.

Так и ко мне, храня со мной союз,  
С улыбкою и с ласковым приветом,  
Слетит порой толпа вертявых муз,  
И я вдруг делаюсь поэтом.

Что же случилось? Отчего «милый чародей» превратился в «недруга тайного»? Разве сам Рылеев не просил Пушкина быть к нему строгим? Откуда же это чувство обиды, которое он решился поверить другу?

Едва Рылеев отослал свое письмо к Пушкину, как получил письмо от него. Пушкин писал:

«Думаю, ты уже получил замечания мои на *Войнаровского*. Прибавлю одно: везде, где я ничего не сказал, должно подразумевать похвалу, знаки восклицания, прекрасно и проч. Полагая, что хорошее писано тобою с умыслу, не счел я за нужное отмечать его для тебя.

Что сказать тебе о думах? Во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы *Петра в Острогожске* чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из *общих мест* (*Loci topici*). Описание места действия, речь героя и — нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имен (исключая *Ивана Сушанина*, первую думу, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант). Ты напрасно не поправил в Олеге *герба России*. Древний герб, святой Георгий, не мог находиться на щите язычника Олега; новейший, двуглавый орел, есть герб византийский и принят у нас во время Иоанна III. Не прежде. Летописец просто говорит: *Таже повеси щит свой на вратех на показание победы*.

Об *Исповеди Наливайки* скажу, что мудрено что-нибудь у нас напечатать истинно хорошего в этом роде. Нахожу отрывок этот растянутым; но и тут конечно наложил ты свою печать.

Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Как быть! Прощай, поэт, — когда-то свидимся?»<sup>216</sup>

Мог ли отрицательный отзыв о «Думах», содержащийся в этом письме, вызвать стихотворное обращение Рылеева к Бестужеву? Едва ли. Ведь мнение свое о «Думах» Пушкин еще раньше высказывал «вслух и ясно» — и Рылеев его знал. На перемену впечатления он и не мог рассчитывать. К тому же сам Рылеев смотрел в это время на «Думы», как на пройденный творческий этап; второй цикл их недаром остался неосуществленным. Отзыв Пушкина о «Думах» в письме к Рылееву не заключал в себе ничего оскорбительного для автора и был даже более беспристрастным (Пушкин, как видим, отдает должное двум из них), чем его одновременные высказывания по их поводу в письмах к друзьям. Возвышенная цель «Дум» не искупала в глазах Пушкина их художественных недостатков: «Думы Рылеева и целят, а все невпопад». Ради красного словца, он способен был сказать еще резче: «Думы — дрянь, и название сие происходит от немецкого dum, а не от польского, как казалось бы с первого взгляда».<sup>217</sup> Но острил он в письмах к Жуковскому и Вяземскому, а Рылееву писал иначе: его суждение было сдержанным и серьезным. Никакого повода к тому, чтобы назвать Пушкина «недругом тайным», оно не давало: это было бы признаком болезненно-щекотливого самолюбия. Скорее мог задеть Рылеева обидно-лаконический отзыв об его любимой «Исповеди Наливайки». Не вдаваясь к разбор ее, Пушкин явно дал понять Рылееву, что отрывок ему не нравится. Но на вкус и на цвет товарища нет. При чем же тут «недруг тайный»?

Стихи Рылеева, видимо, написаны под влиянием острого и жгучего чувства сомнения в искренности и справедливости пушкинской критики. Напрашивается предположение: а что, если Рылееву стала известна своеобразная этимология слова «дума», заключавшаяся в письме Пушкина к Вяземскому? На первый взгляд это предположение кажется невероятным, но оно вполне правдоподобно. Письмо свое Пушкин переслал брату для передачи Вяземскому, которого в это время ожидали в Петербурге. Лев Сергеевич по ошибке распечатал конверт.<sup>218</sup> По ошибке он мог и прочесть письмо. Ничего удивительного не было бы в том, если бы болтун и балагур Левушка

Пушкин пересказал Рылееву шутку брата насчет его «Дум». А подобная шутка задела бы самолюбие любого автора...

Эта догадка поясняет все остальное. Рылеев счел себя обманутым в своей доверии к Пушкину. Встревоженному воображению представилось то, чего не было. Спокойно-деловитый тон последнего письма Пушкина показался теперь Рылееву признаком скрытого недружелюбия. В новом свете выступили перед ним и пометки Пушкина на полях «Войнаровского», и критика «Дум», и умолчание об «Исповеди Наливайки». Все это — «суд строгий», но пристрастный. Пушкин — не друг, а «недруг». Кто знает, — быть может, именно этими огорчениями объясняется почти полугодовой перерыв в переписке Рылеева с Пушкиным, перерыв тем более странный, что между ними только что завязалась новая полемика. Поводом к ней послужил критический обзор Александра Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов», напечатанный в «Полярной Звезде».

Незадолго до выхода альманаха Рылеев писал Пушкину: «Уверен заране, что тебе понравится первая половина взгляда Бестужева на словесность нашу. Он в первый раз судит так основательно и так глубокомысленно».<sup>219</sup>

Рылеев обманулся.

Именно первая, так сказать — теоретическая половина обзора Бестужева вызвала со стороны Пушкина ряд возражений. Игривый, тревожный и неглубокий ум Бестужева менее всего был склонен к критическому анализу. Падкий на эффекты, Бестужев в своих статьях проявляет чрезмерное влечение к стилистическим выкрутасам. Местами его обзоры представляются сплошным нагромождением сравнений, метафор и афоризмов, почти всегда вычурных. Эти внешние эффекты часто сбивают мысль Бестужева на парадоксы, заставляют его противоречить самому себе. Он увлекается поисками «общих законов» литературного развития, которые на поверку трезвого ума оказываются шаткими и несостоятельными. Так получилось и с настоящей статьей.

Пушкин подверг «Взгляд» Бестужева строгому разбору. Не согласился он с утверждением критика, что в истории словесности каждого народа «век гениев» предшествует «веку посредственности». Не согласился с тем, что «у нас есть критика и нет литературы», и переименовал



фразу Бестужева так: «Литература кой-какая у нас есть, а критики нет». Не согласился с суровым приговором Бестужева: «У нас нет гениев и мало талантов литературных», — и в пример гениальных писателей привел Державина и Крылова\*. Наконец особенно горячо восстал против той части обзора, где Бестужев задает вопрос о причинах отсутствия в России гениев и скудости в талантах и говорит: «Предслышу ответ многих, что: от недостатка ободрения. Так, его нет, и слава богу! — Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует хворосту и мехов, чтобы разгореться — но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе!.. Гении всех веков и народов, я вызываю вас! Я вижу в бледности изможденных гонением или недостатком лиц ваших — рассвет бессмертия! Скорбь есть зародыш мыслей, уединение их горнило». После длинного отступления о пагубности для писателей «ободрения» и «корыстных ласк меценатов» Бестужев утверждает, что недостатки образования и страсть к подражанию препятствуют появлению у нас больших талантов.<sup>220</sup>

Пушкин ответил Бестужеву перечислением писателей, пользовавшихся покровительством великих мира сего: Державин и Дмитриев — министры, Карамзин — официальный историограф, Жуковскому и Крылову нельзя пожаловаться на отсутствие внимания, «Гнедич в тишине кабинета совершает свой подвиг, — посмотрим, когда появится его Гомер. Из неободренных вижу только себя да Боратынского — и не говорю: слава богу!» Неверно и то, что «ободрение может оперить только обыкновенные дарования». Пушкин напоминает Бестужеву имена Тасса и Ариоста, Шекспира и Мольера, самого Вольтера наконец. Свои возражения он прерывает словами: «...Ты не то сказал, что хотел; я буду за тебя говорить. — Так! мы можем праведно гордиться: наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения. Наши

---

\* Бестужев, очевидно, забыл, что в своем первом обзоре («Взгляд на старую и новую словесность в России» — «Полярная Звезда» на 1823 год) он называл Державина «поэтом вдохновенным, неподражаемым», «лириком-философом», «гением», «русским Пиндаром» и превозносил «простодушие рассказа», «народность языка» и «осязаемость нравоучения» басен Крылова.

таланты благородны, независимы... У нас писатели взяты из высшего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт является в его передней с посвящением или с одою — а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, — дьявольская разница!»<sup>221</sup>

Рылеев рассмеялся, читая это письмо. Пушкин, «милая Сирена», «чудотворец», Пушкин, славивший вольность и «карающий кинжал», сделался аристократом!

Бестужев не смог сразу ответить Пушкину, и за него отвечал Рылеев: «Главная ошибка твоя состоит в том, что ты и ободрение и покровительство принимаешь за одно и то же. Что ободрение необходимо не только для таланта, но даже для гения, я твердил Бестужеву еще до получения твоего письма; но какое ободрение. Полагаю, что характер и обстоятельства гения определяют его... И покровительство в состоянии оперить, но думаю, что оно скорей может действовать отрицательно. Сила душевная слабеет при дворах и гений чахнет; все дело добрых правительств состоит в том, чтобы не стеснять гения; пусть он производит свободно все, что внушит ему вдохновение. Тогда не надобно ни пенсий, ни орденов, ни ключей камергерских; тогда он не будет без денег, следовательно без пропитания; он тогда будет обеспечен. Гений же немного и требует в жизни. Тогда потерпят, быть может, только одни самозванцы-гении. Прощай, гений». Заканчивая письмо, демократ Рылеев не удержался, чтобы не сделать аристократу Пушкину упрека: «Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством? И тут вижу маленькое подражание Байрону. Будь, ради бога, Пушкиным. Ты сам по себе молодец».<sup>222</sup>

На этом письме полемика Рылеева с Пушкиным временно оборвалась. «Разные неприятные обстоятельства, то свои, то чужие», как оправдывается Рылеев, помешали ему откликнуться на ответное письмо Пушкина. Поэт стоял на своем, развивая и уточняя положения своего прежнего письма к Бестужеву.

Только 20 ноября, улучив свободную минуту — и, быть может, дав за несколько месяцев остынуть чувству личной обиды, взялся Рылеев за перо, чтобы снова написать Пушкину: «Ты мастерски оправдываешь свое чванство

шестисотлетним дворянством, но несправедливо. Справедливость должна быть основанием и действий и самых желаний наших. Преимуществ гражданских не должно существовать, да они для поэта. Пушкина ни чему и не служат ни в зале невежды, ни в зале знатного подлеца, не умеющего ценить твоего таланта. ...Чванство дворянством непростительно особенно тебе. На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин».<sup>223</sup>

Этим строкам суждено было стать последним заветом гражданина Рылеева поэту Пушкину.

### 3

Переписка Рылеева с Пушкиным показывает, что Рылеев принимал близко к сердцу вопросы литературной критики. Быть самим собою — вот в чем, по его мнению, заключалась главная задача писателя. Литературные течения — классицизм или романтизм — сами по себе представляли в глазах Рылеева значение второстепенное. Свои эстетические взгляды он счел нужным печатно высказать в конце 1825 года. «На-днях будет напечатана в *Сыне Отечества* моя статья о поэзии, желаю узнать об ней твои мысли», — писал Рылеев Пушкину в последнем из цитированных здесь писем.

Уже несколько лет как в литературных собраниях и на страницах журналов кипела горячая полемика о классической и романтической поэзии. Одной из стадий этой полемики явились литературно-теоретические споры, открывшиеся в начале 1825 года в связи с выходом первой главы «Евгения Онегина». Подвести итог этим спорам о классицизме и романтизме и попытался Рылеев в своей статье «Несколько мыслей о поэзии (отрывок из письма к N. N.)».

«Спор о романтической и классической поэзиях давно уже занимает всю просвещенную Европу, а недавно начался и у нас. Жар, с которым спор сей продолжается, не только от времени не протывает, но еще более и более увеличивается. Несмотря однакож на это, ни романтики, ни классики не могут похвалиться победою. Причины сему, мне кажется, те, что обе стороны спорят, как обыкновенно случается, более о словах, нежели о существе предмета, придают слишком много важности формам, и что на самом деле нет ни классической, ни романтической

поэзии, а была, есть и будет одна истинная, самобытная поэзия, которой правила всегда были и будут одни и те же». — Таково основное положение статьи Рылеева, сразу же высказанное им в первом абзаце. Затем Рылеев переходит к разъяснению терминов «классический» и «романтический».

Понятие *классический* или *образцовый* возникло в средние века; так «некоторые ученые люди» называли древних авторов, «избранных ими... для чтения в классах и образца ученикам». Преклонение перед прославленными поэтами Греции и Рима породило «несчастное предубеждение», что только слепым подражанием духу и формам их поэзии «можно достигнуть до той высоты, до которой они достигли». Но «подражатели никогда не могли сравниться с образцами», а самих себя «лишали... сил своих и оригинальности». В особенности неудачны такие произведения, сюжеты которых «почерпнуты из новейшей истории, а вылиты в формы древней драмы».

Рылеев считает, что современные понятия о поэзии и о поэтах сбивчивы потому, что название «классик» часто присваивалось «без различия многим древним поэтам неодинакового достоинства». В свою очередь назывались «классиками» и новейшие поэты, подражавшие древним образцам. «Когда же явилось несколько таковых поэтов, которые, следуя внушению своего гения, не подражая ни духу, ни формам древней поэзии, подарили Европу своими оригинальными произведениями, тогда потребовалось классическую поэзию отличить от новейшей, и немцы назвали сию последнюю поэзией романтической, вместо того, чтоб назвать просто новою поэзиею. Дант, Тасс, Шекспир, Ариост, Кальдерон, Шиллер, Гете наименованы романтиками. К сему прибавить должно, что самое название романтический взято из того наречия, на котором явились первые оригинальные произведения трубадуров... Таким образом поэзиею романтической назвали поэзию оригинальную, самобытную...»

Разделение поэзии на классическую и романтическую представляется Рылееву неверным и искусственным. Считая, что поэзия различается «только по существу и формам, которые в разных веках приданы ей духом времени, степенью просвещения и местностью той страны, где она появилась», Рылеев предлагает делить ее на древнюю и новую. Новая поэзия, в зависимости от понятий и духа

разных веков, «имеет свои подразделения». Одно из таких «подразделений» образуют создания Шиллера, Гете и Байрона: каждый из этих поэтов стремился изобразить «страсти людей, их сокровенные побуждения, вечную борьбу страстей с тайным стремлением к чему-то высокому, к чему-то бесконечному».

Рылеев отказывается придавать чрезмерное значение формам поэзии. Обязательные законы и правила, вроде пресловутых трех единств, теперь стесняют «свободу гения», между тем как у древних они были оправданы: «Все почти деяния происходили тогда в одном городе или в одном месте; это самое определяло и быстроту и единство действия». Однако Рылеев не хочет этим сказать, что правило трех единств должно быть вовсе изгнано из современной драматургии. Почему не воспользоваться им, если описываемое событие свободно укладывается в «формы древней драмы»? «Нарочно только не надобно искажать исторического события для соблюдения трех единств, ибо в сем случае всякая вероятность нарушается».

Поэтическое творчество Рылеева, одновременная работа над «классическими» одами и «романтической» поэмой, свидетельствует о том, что поэт не был безоговорочным сторонником того или иного литературного направления. Точка зрения Рылеева на спор о классической и романтической поэзии, по замечанию позднейшего исследователя, «была продиктована совершенно определенной тенденцией поэта-декабриста создать *синтетическую* форму, пригодную для выражения его политических идей». <sup>224</sup> Недаром в своей статье Рылеев вскользь обронил такой недвусмысленный намек: «Многолюдность и неизмеримость государств новых, *степень просвещения народов, дух времени*, словом, все физические и нравственные обстоятельства нового мира определяют и *в политике и в поэзии поприще более обширное*»\*, чем то, на котором подвизались исторические деятели древних времен.

Статья Рылеева не отличается внешним литературным блеском. Она ничуть не похожа на критические «Взгляды» Бестужева. У него — фейерверк словесных искр, ослепляющий читателя; здесь — сухие, тяжеловатые периоды, ни единой попытки стилистических украшений. Но мысль автора просто и ясно доходит до читательского сознания.

\* Курсив наш. — К. П.

Заключительные строки статьи существенно важны для уяснения литературно-эстетических воззрений Рылеева: «Великие труды и превосходные творения некоторых древних и новых поэтов должны внушать в нас уважение к ним, но отнюдь не благоговение, ибо это противно законам чистейшей нравственности, унижает достоинства человека и вместе с тем вселяет в него какой-то страх, препятствующий приблизиться к превозносимому поэту и даже видеть в нем недостатки. Итак, будем почитать высоко поэзию, а не жрецов ее и, оставив бесполезный спор о романтизме и классицизме, будем стараться уничтожить в себе дух рабского подражания и, обратясь к источнику истинной поэзии, употребим все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близких человеку и всегда недовольно ему известных».<sup>225</sup>

Книжка «Сына Отечества» со статьей «Несколько мыслей о поэзии» появилась в двадцатых числах ноября 1825 года. Этот первый и единственный критический опыт Рылеева был последним произведением поэта, напечатанным при его жизни.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### 1

«Чванство дворянством непростительно», — писал Рылеев в ноябре 1825 года. За последние месяцы он с особенной непримиримостью стал относиться к аристократической спеси. Осень началась для него с трагического события, в котором «барская спесь» как раз сыграла решающую и роковую роль.

У Рылеева были двоюродные братья и сестры Черновы. Отец их, генерал-майор Пахом Кондратьевич Чернов, служил генерал-аудитором 1-й армии. Маленькое имение Черновых находилось по соседству с Батовом. Летом 1824 года старшей дочерью Чернова Екатериной увлекся флигель-адъютант Владимир Дмитриевич Новосильцов. Это был красивый молодой человек, отличный музыкант и танцор, владелец семи тысяч душ крестьян. В августе состоялась его помолвка с Черновой. Однако сговор произошел без ведома матери и деда жениха (отца Новосильцова уже не было в живых). Новосильцов написал матери,

но в ответ получил приказание прекратить всякие сношения с семейством незнатного Чернова. Скрыв от невесты полученный им запрет, Новосильцов поехал для объяснений к матери в Москву; он сказал, что вернется через три недели. По матери Новосильцов приходился родственником графу Орловым. Надменная кавалерственная дама не могла примириться с мыслью, что ее невесткой будет *какая-то* Чернова. Слабохарактерный сын терялся в присутствии матери и подпадал под ее влияние. Он прекратил переписку с невестой и не вернулся к назначенному сроку в Петербург. Пошли сплетни. Тогда старший из братьев Черновых Константин послал Новосильцову вызов на дуэль и вместе с братом Сергеем поехал в Москву. Испуганная мать Новосильцова обратилась к московскому генерал-губернатору, который и выступил посредником между Новосильцовым и Черновым. Первый уверял, что он вовсе не отказывался от мысли жениться на Черновой; второй просил извинения в том, что он сомневался в честности Новосильцова. Свадьба была назначена через шесть месяцев. Это было в декабре 1824 года, как раз в то время, когда Рылеев, возвратившийся из Подгорного, проезжал через Москву. Сообщая жене разные московские новости, Рылеев писал: «Представь себе, я встретил здесь Черновых — Константина и Сергея Пахомовичей; они приехали сюда стреляться с Новосильцовым и уже чуть не было дуэли; наконец, все кончилось миром... Скоро будет свадьба. Слава богу, что так благополучно кончилось. Здесь только и говорят об этом».<sup>226</sup>

Тем временем в Петербурге распространились слухи, что Константин Чернов *принудил* Новосильцова жениться. Товарищи стали смеяться над безвольным Новосильцовым. Офицер лейб-гвардии Гусарского полка, флигель-адъютант, аристократ, а жена у него будет... *Пахомовна!* Хотя Константин Чернов сам был гвардеец, подпоручик Семеновского полка, но его перевели в гвардию из армии после известной «Семеновской истории», когда старый состав полка был раскассирован по разным армейским частям. Новых семеновцев ни в среде гвардейского офицерства, ни в петербургском светском обществе не считали настоящими гвардейцами. Часто их даже не приглашали на большие празднества, балы и тому подобные светские собрания. И вот перед таким армейским офицеришкой спасовал блестящий флигель-адъютант! Задетый подобными

толками, Новосильцов сделал вызов Чернову, но, удовлетворившись его объяснениями, что он не распускал обидных для него слухов, взял свой вызов обратно. Однако он продолжал под разными предлогами оттягивать время свадьбы. Эта отсрочка становилась оскорбительной для семейства Черновых. Получалось впечатление, что они гонятся за знатным и богатым женихом, а он всячески от них увиливает. Нужно было самим отказать Новосильцову, хоть и жалко было упускать выгодную для дочери партию.

Рылеев был вдвойне затронут перипетиями этого незадачливого сватовства. С Черновым его связывали не только родственные, но и дружеские узы. Образ мыслей молодого подпоручика был ему по душе. Чернов — «наш», думалось Рылееву — и не без основания. В 1825 году Рылеев принял его в ряды тайного общества.

В августе 1825 года Александр Бестужев писал сестрам о Рылееве: «Он хлопотал теперь о дуэли Чернова и, слава богу, смастерил хорошо. Принудил Новосильцова ехать в Могилев к отцу невесты для изъяснения — разумеется, ему откажут».<sup>227</sup>

Рылеев и его друзья заранее предвкушали удовольствие при мысли о том, как почтенный — даром что неродовитый — генерал-майор Чернов проучит знатного маменькина сынка.

Но случилось иначе...

Прежде чем Новосильцов успел выехать в Старый Быхов, Могилевской губернии, где находился старик Чернов, как тот сам прислал ему письменный отказ. Одновременно он сообщил сыну Константину, что отказ этот был вынужден у него графом Сакеном, главнокомандующим 1-й армией, который в угоду госпоже Новосильцовой угрожал ему большими неприятностями по службе. Возмущению молодого Чернова не было предела, и это возмущение разделялось его друзьями.

По просьбе Чернова, Рылеев составил письменный вызов Новосильцову. Дуэль была назначена на 10 сентября. Накануне секунданты Чернова — Рылеев и полковник Герман встретились с секундантами Новосильцова — ротмистром Реадом и подпоручиком Шиповым. Сообща они выработали условия дуэли. Тем временем Александр Бестужев изложил на бумаге последнюю волю Чернова: «Бог волен в жизни, но дело чести, на которое теперь отправляюсь, по всей вероятности, обещает мне смерть... Стре-



ляюсь на три шага, как за дело семейственное, ибо, зная братьев моих, хочу кончить собою на нем, на этом оскорбителе моего семейства, который для пустых толков еще пустейших людей преступил все законы чести, общества и человечества. Пусть паду я, но пусть падет и он, в пример жалким гордецам, и чтобы золото и знатный род не насмеялись над невинностью и благородством души». <sup>22в</sup>

На следующий день, к шести часам утра, противники со своими секундантами съехались за Выборгской заставой, в Лесном. Два выстрела раздались одновременно. Новосильцов был ранен в бок, Чернов — в голову. Спасти их не было возможности. Первый умер через четыре дня, второй страдал около двух недель. Так трагически завершилась эта «пресловутая битва московской спеси с петербургскою простотою».

Рылеев сам отвез раненого Чернова к нему на квартиру и дежурил у его постели. Собратья Чернова по тайному обществу наперерыв стремились засвидетельствовать свое сочувствие умирающему. Приходил Оболенский, лично до тех пор незнакомый с ним. Приходил Якубович и приветствовал раненого импровизированной речью, полной огня и пафоса. 22 сентября Чернов скончался.

Едва лишь кончились предсмертные муки Чернова, как Рылеев излил на бумаге все, что за эти дни накопело у него на душе:

Клянусь честью и Черновым —  
Вражда и брань временщикам,  
Царей трепещущим рабам,  
Тиранам, нас угнесть готовым.

Нет! Не отчества сыны,  
Питомцы пришлецов презренных.  
Мы чужды их семей надменных:  
Они от нас отчуждены.

Так, говорят не русским словом,  
Святую ненавидят Русь.  
Я ненавижу их, клянусь,  
Клянуся честью и Черновым.

На наших дев, на наших жен  
Дерзнет ли вновь любимец счастья  
Взор бросить полный сладострастья, —  
Падет, перуном поражен.

И прах твой будет в посмеянье,  
И гроб твой будет в стыд и срам.  
Клянусь дочерям и сестрам:  
Смерть, гибель, кровь за поруганье.

А ты, брат наших ты сердец,  
Герой, столь рано охладельный,  
Вносишь в небесные пределы:  
Завиден, славен твой конец.

Ликуй, ты избран русским богом  
Нам всем в священный образец,  
Тебе дан праведный венец,  
Ты чести будешь нам залогом.

26 сентября состоялись похороны Чернова. Товарищи по полку и по тайному обществу, родственники, сочувствующие и просто любопытные провожали гроб до Смоленского кладбища. «Ты, я думаю, слышал уже о великолепных похоронах Чернова, — писал Штейнгель М. Н. Загоскину. — Они были в каком-то новом, доселе небывалом духе общестственности. Более 200 карет провожало: по этому суди о числе провожавших пешком». <sup>229</sup> Из этих двухсот карет сто было нанято тайным обществом. «Новый, доселе небывалый дух», которым была проникнута печальная церемония, бодрил и радовал тех, кто принимал близко к сердцу благородные побуждения покойного. Александр Бестужев, указывая подполковнику Батенкову на толпу провожающих, «с радостным видом» сказал: «Напрасно полагают, будто бы у нас нет еще общего мнения». <sup>230</sup> Как всегда экзальтированный, Кюхельбекер порывался прочесть над могилой Чернова стихи Рылеева. Его удержал Завалишин.

Тридцать лет спустя Оболенский так вспоминал о похоронах Чернова: «Все, что мыслило, чувствовало, соединилось тут в безмолвной процессии и безмолвно выражало сочувствие тому, кто собою выразил идею общую, которую всякий сознавал и сознательно и бессознательно: защиту слабого против сильного, скромного против гордого». <sup>231</sup>

Е. И. Якушкин, сын декабриста, рассказывал со слов очевидцев, что в похоронной процессии приняли участие все члены тайного общества, в ту пору находившиеся в Петербурге: «Это была их первая открытая манифестация, первый публичный протест». И значение этой манифестации не умалялось тем, что происходила она в безмолвии. А стихотворение Рылеева «На смерть Чернова», благодаря своей резко-политической окраске, воспринималось современниками поэта как настоящая стихотворная прокламация. <sup>232</sup>

Если в течение 1825 года главным действующим лицом и двигателем Северного общества в Петербурге был Рылеев, то находившийся в отъезде Трубецкой также не сидел сложа руки. Он воспользовался своим переводом в Киев, чтобы установить непосредственную связь с Васильковской управой Южного общества, возглавлявшейся Сергеем Муравьевым-Апостолом и Михаилом Бестужевым-Рюминным. Давний, еще со времен Союза Спасения, антагонист Пестеля, Трубецкой настойчиво стремился к объединению обоих тайных обществ под своим руководством. В переговорах с Васильковской управой он вынужден был сделать южанам ряд уступок. Так, он согласился в принципе на введение в России республиканского строя и в сущности присоединился к мысли об убийстве Александра I, — по крайней мере, «не оспаривал» ее больше. Но он попрежнему возражал против диктатуры временного правительства и самочинного провозглашения им конституции Пестеля. Трубецкой настаивал на созыве Великого Собора, от решения которого и будет зависеть принятие той или иной конституции. По этому вопросу — важнейшему в глазах Трубецкого — ему удалось достигнуть соглашения с Васильковской управой. Тем самым осуществление задуманного политического переворота вырывалось из рук Пестеля. На юге Трубецкой нашел себе союзника в лице Сергея Муравьева-Апостола: он так же, как и Трубецкой, внимательно следил за тем, как бы Пестель не затеял чего-либо «для себя».

За время пребывания Трубецкого в Киеве окончательно сложился так называемый «белоцерковский» план военной революции, отвергнутый Пестелем и его сторонниками. Васильковская управа, предложившая план и оставшаяся ему верной, принимала революционный почин на себя. Летом 1826 года предполагался царский смотр Южной армии в Белой Церкви. Заговорщики намерены были открыть свои действия «нанесением удара» Александру I. Затем предстояло издать две прокламации — войску и народу, после чего часть восставших войск должна была занять Киев и оставаться в нем, а другая — следовать через Москву в Петербург, поднимая расположенные на своем пути войска. Одновременно Северному обществу предписывалось захватить правительственные учреж-

дения в Петербурге, арестовать императорскую фамилию и образовать временное правительство.

Общие контуры этого плана, видимо, стали известны Рылеву еще до личного свидания его с Трубецким осенью 1825 года, но для осуществления переворота в Петербурге Северным обществом было сделано очень мало — почти ничего. Члены общества исходили в бунтарских разговорах, обнаруживавших отсутствие у них четких политических устремлений и единой тактической программы. Даже в самой Думе Северного общества не было необходимой сплоченности. Н. Муравьев, Оболенский и Рылеев были людьми разного склада, и это не могло не отражаться на их отношении к делу. Муравьев почти исключительно занимался обработкой своего конституционного проекта и, видимо, намеренно не спешил: из некогда «беспокойного Никиты» он все более и более превращался в осторожного и рассудительного. В конце сентября 1825 года он взял длительный отпуск и уехал из Петербурга. В Думе тайного общества его заменил Александр Бестужев. Выбор этот не был удачным. Бестужев был склонен кипеть негодованием и пламенеть восторгом, но он скоро выдыхался, и политическая деятельность не являлась для него потребностью ума и сердца. Бестужев справедливо называл сам себя «крикуном». Рылеев и Оболенский часто ссорились с ним, говоря, что серьезные предметы служат ему поводом для каламбуров. «Фанфарон! За флигель-адъютантский аксельбант готов отдать все конституции», — язвили они на его счет. «Вы — мечтатели, — возражал им Бестужев, — а я солдат; я гожусь не рассуждать, а действовать». Он и доказал впоследствии, что в решающую минуту друзья могли на него рассчитывать: в нем было сильно развито чувство товарищества, и в увлечении он был способен на многое. Но зато он не был рожден для вдумчивой, последовательной работы. Не ощущалось в нем и настоящей преданности делу. Ему иногда доставляло удовольствие дразнить своих друзей. Бестужев затевал с ними споры, причем сам «нарочно спорил и роуг (за) и contre (против), чтобы заставить их разбиться в мнениях». Это его забавляло, но все подобные выходы Бестужева сердили Рылеева, и с осени 1825 года отношения их между собою далеко не были такими сердечными, как раньше. Что касается Оболенского, то в нем порою проявлялась недостаточная твер-

дость политических убеждений. Вот что рассказывает он сам в своих воспоминаниях: «...К началу осени 1825 года... возникло во мне самом сомнение, довольно важное для внутреннего моего спокойствия. Я сообщил его Кондратию Федоровичу; оно состояло в следующем. Я спрашивал себя, имеем ли мы право, как частные люди, составляющие едва заметную единицу в огромном большинстве, составляющем наше отечество, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения на государственное устройство налагать почти насильственно на тех, которые, может быть, довольствуясь настоящим, не ищут лучшего, если же ищут и стремятся к лучшему, то ищут и стремятся к нему путем исторического развития? Эта мысль долго не давала мне покоя в минуты и часы, когда на мысль приходит процесс самоиспытания. Может быть, она родилась во мне вследствие слова, данного нами Павлу Ивановичу Пестелю, и решения, принятого нами, воспользоваться или переменою царствования, или другим важным политическим событием для исполнения окончательной цели Союза, т. е. для государственного переворота, теми средствами, которые будут готовы к этому времени. Сообщив свою думу Кондратию Федоровичу, я нашел в нем жаркого противника моему воззрению. Его воззрения были справедливы: он говорил, что идеи не подлежат законам большинства или меньшинства, что они свободно рождаются и свободно развиваются в каждом мыслящем существе; далее, что они общительны и, если клонятся к пользе общей, если они не порождения чувства себялюбивого или свекорыстного, то суть только выражения несколькими лицами того, что большинство чувствует, но не может еще выразить. Вот почему он полагал себя в праве говорить и действовать в смысле цели Союза, как выражения идеи общей, еще не выраженной большинством, в полной уверенности, что едва эти идеи сообщатся большинству, оно их примет и утвердит полным своим одобрением. Доказательством сочувствия большинства он приводил бесчисленные примеры общего и частного неудовольствия на притеснения, несправедливости и частные и проистекающие от высшей власти, наконец приводил примеры свобододлюбивых идей, развившихся почти самобытно в некоторых лицах, как купеческого, так и мещанского сословия, с которыми он был в личных сношениях... Много и долго спорили мы с Кондратием Федоро-

вичем или, лучше сказать, менялись мыслями, чувствами и воззрениями. Ежедневно, в продолжение месяца или более, или он приходил ко мне, или я к нему, и в беседе друг с другом проводили мы часы и расставались, когда утомлялись от долгой и поздней беседы. В этих ежедневных беседах вопросы были и философские, и религиозные. Но после многих отступлений Кондратий Федорович всегда переходил к теме, заданной мною сначала, и я видел, что он понимал ее как охлаждение с моей стороны к делу общества, и потому усилия его клонились к тому, чтобы не допустить меня до охлаждения». <sup>233</sup>

Не легким было положение Рылеева, если один из старейших и главных членов Северного общества испытывал подобные настроения, а другой вновь избранный член Думы проявляя склонность к «фанфаронству». Когда в октябре 1825 года Трубецкой явился к Рылееву и, сообщив ему, что на юге два корпуса «совершенно готовы» к революционному выступлению, спросил: «Что может сделать Северное общество для содействия Южному?» — Рылеев смешался и отвечал: «Ничего, если прочие члены Думы будут действовать попрежнему». Сам он со своей «отраслью», пожалуй, готов «подняться», но ведь это ничего не даст: «они будут верные и бесполезные жертвы». — «А что Якубович?» — «Якубовича можно с цепи спустить, да что будет проку?» <sup>234</sup>

Трубецкой замолчал и задумался. Дальнейшие расспросы привели его к определенному выводу: за время его отсутствия общество численно выросло, но оно не было сплоченным и организованным. Нужна была еще большая предварительная работа, чтобы Северное общество смогло присоединиться к открытому политическому выступлению. Рылеев и сам сознавал, что тайное общество не скоро еще будет в состоянии что-либо предпринять. Недаром, заботясь о том, чтобы в каждом гвардейском полку иметь своих людей, он говорил после смерти Чернова: «Вон и этот бы был через десять лет полковником и командовал бы полком. Также не бездельная опора». <sup>235</sup> Но обстоятельства сложились таким образом, что общество оказалось вынужденным перейти к открытым действиям гораздо раньше, чем предполагал Рылеев.

В половине двадцатых чисел ноября 1825 года стали бродить по Петербургу глухие слухи о болезни Александра I. Император находился в Таганроге, и курьеру, для того чтобы добраться оттуда до столицы, требовалось дней девять-десять. Когда в Зимнем дворце был получен первый бюллетень о состоянии здоровья Александра, царь уже несколько дней лежал на смертном одре. А в Петербурге люди, имевшие доступ ко двору или связи в правительственных кругах, шопотом передавали друг другу на ухо: «Говорят, опасен».

27 ноября Якубович ворвался к Рылееву со словами: «Царь умер; это вы его у меня вырвали!»<sup>236</sup> Вслед за Якубовичем появился Трубецкой и сообщил, что дворцовый караул, придворные чины, войска петербургского гарнизона и правительственные учреждения приведены уже к присяге императору Константину I.

Воцарение нового монарха спутывало все расчеты тайного общества и заставляло его врасплох.

Узнав о случившемся, Николай Бестужев и Торсон также поспешили к Рылееву, и между ними произошел приблизительно такой разговор:

«Где же общество, о котором столько рассказывали ты? — спрашивал Бестужев. — Где же действователи, которым настала минута показаться? Где они соберутся, что предпримут, где силы их, какие их планы? Почему это общество, если оно сильно, не знало о болезни царя, тогда как во дворце более недели получают бюллетени об опасном его положении? Ежели есть какие намерения, скажи их нам, и мы приступим к исполнению, — говори!»

Рылеев молчал. О болезни Александра I он услышал дня два тому назад от Трубецкого. «Нам надо будет собраться», — сказал ему при этом Трубецкой. Но остальные члены тайного общества не были оповещены о полученном известии.

«Это обстоятельство явно дает нам понятие о нашем бессилии, — промолвил наконец Рылеев. — Я обманулся сам, мы не имеем установленного плана, никакие меры не приняты, число наличных членов в Петербурге невелико, но, несмотря на это, мы соберемся опять сегодня ввечеру; между тем, я поеду собрать сведения, а вы, ежели можете, узнайте расположение умов в городе и войске».<sup>237</sup>

Смерть царя в далеком Таганроге произвела во дворце, по удачному выражению государственного секретаря Оленина, «обыкновенную суматоху нечаянных случаев». <sup>238</sup> Таковую же суматоху и растерянность вызвал этот «нечаянный случай» и в рядах членов Северного общества. В тот же день вечером у Рылеева собрались Оболенский, Трубецкой, Александр и Николай Бестужевы. В первоначальных планах тайного общества смерть монарха и переход престола к его преемнику рассматривались как момент, наиболее благоприятный для революционного переворота. Позднее этот замысел сменился другим — насильственным устранением «тирана», «нанесением удара» Александру под Белой Церковью. Теперь этот второй план рухнул, и обстоятельства сами собою возвращали заговорщиков к их первому плану. Но за последние годы они как-то совершенно упустили из виду возможность естественной смерти царя и вовсе к ней не подготовились. Собрание у Рылеева вечером 27 ноября 1825 года кончилось ничем. «Поздравляя друг друга с неожиданным для нас происшествием, мы сознались все в слабости наших сил и невозможности действовать сообразно цели, нашей и расстались, не положив ничего решительного», — рассказывает Оболенский. <sup>239</sup> Само по себе Северное общество предпринять ничего не могло, но что делать в том случае, если южные «подымутся»? Ясно было, что нужно произвести учет сил и, в зависимости от наличных возможностей, либо перейти к решительным действиям, либо отказаться от них на более или менее продолжительный срок, может быть даже закрыть общество.

Трубецкой и Оболенский, видимо, не склонны были к самообольщению, и бессилие Северного общества казалось им очевидным. Но Рылеев не легко мирился с этой мыслью. Оставшись втроем с Бестужевыми, он начал измышлять средства, каким образом лучше всего воспользоваться сложившимися обстоятельствами. Ему удалось увлечь обоих братьев. Решено было попытаться воздействовать на умы солдат. Рылеев и его друзья начали писать прокламации, намереваясь разбросать их в казармах. Исписали несколько листов и тут же изорвали их, признав этот способ пропаганды неудобным. Затем сговорились вместе «итти ночью по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завета-



ния покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлена до 15 лет солдатская служба». На немедленное восстание Рылеев и Бестужев не рассчитывали, но, по словам одного из них, «это положено было рассказывать, чтобы приготовить дух войска для всякого случая, могшего представиться впоследствии».

Надев шинели, все трое вышли на улицу. Стояла сырая ноябрьская ночь.

— Знаете, братцы, — спрашивали они встречавшихся солдат, — что мы присягнули цесаревичу, а в сенате было завещание покойного государя, в котором бог знает что было написано, и нам его не объявили?

— Не можем знать, ваше благородие, — раздавалось в ответ.

Тогда они начинали пересказывать солдатам содержание воображаемого манифеста.

«Нельзя представить жадности, с какой слушали нас солдаты, — вспоминает Николай Бестужев, — нельзя объяснить быстроты, с какой разнеслись наши слова по войскам; на другой день такой же обход по городу удостоверил нас в этом».<sup>240</sup>

В этих ночных прогулках по улицам Петербурга Рылеев простудился. У него сильно распухло горло, так что он едва мог переводить дыхание и с трудом произносил слова. Врач определил ангину — «жабу», как тогда говорили. На две недели Рылеев сделался домашним затворником.

Для членов тайного общества наступили горячие дни. Как повествует Оболенский, на первых совещаниях «решено было стараться приготовить новых членов..., поспешить принятием тех, которые были уже у нас в виду, и вообще сообразовать действия наши с обстоятельствами».<sup>241</sup>

Несмотря на болезнь, Рылеев продолжал быть «душой» общества. Он вновь привлек к себе Каховского, и тот деятельно принялся пополнять ряды тайного содружества знакомыми ему офицерами. Считая нужным установить единство действий и подчинить их общему руководству, Рылеев предложил своей «отрасли» — Александру и Николаю Бестужевым и Каховскому — избрать в «диктаторы» князя Трубецкого. Предложение это было принято также «отраслью» Оболенского. Избрание диктатором именно Трубецкого не было случайным. Поскольку революционное выступление мыслилось в формах военного заговора, нужно было «имя, которое бы ободрило». Тру-

бецкой подходил для этой роли и как давний — с 1816 года — член тайных обществ, и как человек, хорошо знакомый с военным делом. Его боевое прошлое — участие в сражениях при Бородине и под Кульмом — говорило за то, что он умел в минуты опасности сохранять присутствие духа. Кроме того, приходилось считаться и с непомерным честолюбием Трубецкого. К тому же им была налажена связь с Южным обществом.

Вследствие болезни Рылеева дом его превратился в конспиративную квартиру тайного общества. Трубецкой бывал у него раза по три в день. Кроме старых членов — Бестужевых, Оболенского, Каховского, Торсона, — приходили недавно принятые: поручик лейб-гвардии Гренадерского полка Сутгоф, лейтенант Гвардейского экипажа Арбузов, подполковник корпуса инженеров путей сообщения Батенков, полковник 12-го егерского полка Булатов и другие. Впрочем, настоящих общих собраний не созывалось. Главным посредником между членами Северного общества и диктатором был Рылеев. Случалось, что Рылеев, Трубецкой и Оболенский в присутствии других членов удалялись для совещаний в отдельную комнату, куда по одному или по два вызывались остальные. Некоторых обижала эта скрытность: им казалось, что их готовят к ролям рядовых исполнителей. «Нас, брат, баранами считают», — сказал как-то Сутгоф Каховскому. Недостаток доверия со стороны вождей тайного общества ощущал и Михаил Бестужев. Стоило ему притти к Рылееву при Трубецком и Оболенском, как его тотчас отсылали «к хозяйке», — «чтоб не было приметно, что нас много в комнате». <sup>242</sup>

Напряженная и неясная обстановка, сложившаяся в Петербурге, побудила Ивана Ивановича Пущина выехать из Москвы и присоединиться к своим братьям по Северному обществу. Из москвичей находился с ними и Штейнгель.

Тем временем начали распространяться слухи о действительно существовавшем манифесте Александра, но только касавшемся престолонаследия. Станным казалось, что новый император сидит в Варшаве, попрежнему выполняя обязанности главнокомандующего польской армией, и не торопится прибыть в столицу. Между тем великий князь Николай Павлович переехал в Зимний дворец и фактически принял бразды правления. Воцарилась

атмосфера беспокойного ожидания. В окнах книжных магазинов появилось гравированное изображение курносого человека в мундире, напоминавшего собою императора Павла, с подписью: «Константин Первый, император и самодержец всероссийский». А в одной из витрин кто-то дерзнул выставить рядом портреты двух революционеров — итальянца Квируги и испанца Риэги.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«Столица государства представляла тогда странное явление, — вспоминал впоследствии Трубецкой. — Был государь названный, но не было действительного, и никто не знал наверное, кто им будет». <sup>243</sup>

По мере того, как «сомнения насчет наследства престола возрастали», подавая повод к толкам о новой присяге, на этот раз — Николаю, Северное общество переходит к подготовке решительных действий. Великий князь не пользовался расположением войск. Как начальник гвардейской дивизии, он был жесток с солдатами и резок с офицерами. Образованных офицеров он иронически называл «философами» и грозился вогнать их в чахотку. <sup>244</sup> «Дух неприязни к Николаю», разлитый в войсках, создавал благоприятную почву для агитации тайного общества.

Однако до 10 декабря Рылеев и его друзья думали, что, поскольку присяга Константину уже принесена, цесаревич в конце концов вступит на престол. В случае воцарения Константина I Трубецкой предлагал отказаться от революционного выступления, распустить общество, «а самим, оставшись между собой друзьями, действовать каждому отдельно согласно правил наших и чувствований сердца». При этом Трубецкой считал желательным, чтобы члены закрытого общества старались в течение ближайших двух-трех лет занять «значительнейшие места в гвардейских полках». Рылеев со своей стороны предложил «обязать членов не выходить в отставку и не переходить в армию». <sup>245</sup>

Все эти вопросы обсуждались Рылеевым, Трубецким и Оболенским втроем. На вопрос Оболенского, что делать, если «император откажется», Трубецкой отвечал: тогда «мы должны все способы употребить для достижения цели общества». <sup>246</sup>

Рылеев и Оболенский согласились с мнением Трубецкого.

План революционного выступления, разработанный Трубецким на случай второй присяги, заключался в следующем: «Полк, который откажется от присяги, надобно стараться вывести из того места, где он будет собран для присяги, и вести его к ближнему полку, на который надеются, и когда тот пристанет, то идти к следующему и так далее». Когда «важнейшие из начальствующих лиц будут присланы их уговаривать, ...должно настаивать только на одном: требовать прибытия государя-цесаревича, и если будет объявлено, что будет послано к государю-цесаревичу, тогда вытребовать место для квартирования полков до того времени, как его высочество прибывает. Сим образом будет соблюден весь вид законности и упорство полков будет сочтено верностью, но цель общества — введение конституции — будет уже потеряна». В случае же отказа цесаревича принять присягу полки должны двинуться к Сенату и требовать обнародования манифеста, «что государь-цесаревич не принял присяги», а поскольку «таковой пример есть в нашем государстве первый, каких подобных еще не было», то созывается «общее собрание депутатов из всех губерний», по одному или по два от каждой. Это учредительное собрание установит «законоположение для управления государством на будущее время». Тот же сенатский манифест должен даровать всем сословиям равные гражданские права, — «не произнося однако ж слова *вольности* для крестьян, чтоб тем не сделать возмущений», — сократить срок службы солдатам и назначить временное правительство «для управления государством до решения, какое последует от депутатского собрания». <sup>247</sup> Из «известнейших особ», которых заговорщики прочили в члены временного правительства, наиболее тверды были кандидатуры Мордвинова и Сперанского. Итти в Сенат с готовым текстом манифеста должны были Рылеев и Пушкин.

Рылеев и Оболенский считали, что для бескровного осуществления этого плана достаточно располагать пятью-шестью полками. На примете у них были: Гвардейский экипаж, Измайловский, Московский, Егерский, Финляндский полки гвардии и конно-пионерный эскадрон. Совещаясь с Трубецким и Оболенским «о средствах к возмущению солдат», Рылеев предложил уже испытанный им в

первые дни междуцарствия способ воздействия путем распространения слуха о мнимом завещании Александра. Склонность к увлечению и тут не изменила Рылееву. Он легковерно надеялся на то, что «в каждом полку достаточно одного решительного капитана для возмущения всех нижних чинов, по причине негодования их против выскательности начальства». <sup>248</sup> Но предварительный опрос офицеров, принадлежавших к обществу, показал, что подобные расчеты мало оправданы.

10 декабря штабс-капитан лейб-гвардии Финляндского полка Репин вызвал к себе поручика того же полка барона Розена и в самых общих чертах изложил ему цель восстания, надеясь заручиться содействием 1-го батальона. Но Розен не решился отвечать за весь батальон, так как сам командовал в нем только стрелковым взводом и не полагался на ротных командиров. Репин повез товарища к Рылееву.

Они застали Рылеева одного. Он выздоравливал, но вокруг его шеи был обернут теплый шерстяной платок. Рылеев читал недавно вышедшую книгу «Российский ратник или общая военная повесть: о государственных войнах, неприятельских нашествиях, уронах, бедствиях, победах и приобретениях, от древности до наших времен, по 1805 год; сочинение Тимофея Мальгина». <sup>249</sup>

В своих позднейших «Записках декабриста» Розен так рассказывает об этом свидании с Рылеевым: «Во взорах его выразительных глаз, всех чертах его лица виднелась восторженность к великому делу; речь его убедительная просто текла без всякой самонадеянности, без надменности, без фигурных фраз и возгласов; вскоре приехали Бестужевы и князь Щепин-Ростовский и положили собраться при первом нужном случае, смотря по получении вестей из Варшавы». <sup>250</sup>

Розен был не одинок в своих сомнениях и не один нуждался в «убедительных» уговорах. Но сам Рылеев, действительно, пылал «восторженностью к великому делу». В него словно вселился дух его любимого Наливайки. «Предвижу, что не будет успеха, — говорил Рылеев, — но потрясение необходимо; тактика революций заключается в одном слове: *дерзай*, и ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других». <sup>251</sup>

В тот же день, 10 декабря, стало известно об окончательном отречении Константина.

12 декабря днем Оболенский собрал у себя офицеров Кавалергардского, Измайловского, Московского, Финляндского и Конногвардейского полков. На совещание приехал Рылеев. Присутствующие обсуждали «большую или меньшую возможность, которую каждый имел поднять роты и действовать на солдат». Заметив нерешительность в словах некоторых офицеров, Рылеев прервал совещание, сказав, что они собрались здесь затем, чтобы «обязаться честным словом быть на площади в день присяги с тем числом войск, которое каждый может привести», или в крайнем случае, при невозможности увлечь за собою солдат, притти самому.<sup>252</sup>

Вечером состоялось совещание у Рылеева. Это не было настоящее общее собрание членов тайного общества; одни приходили, другие уходили, но за несколько часов здесь перебивало большинство участников заговора.

Совещание протекало в атмосфере нервной возбужденности. Рылеев поражал колеблющихся своим «совершенным самоотвержением». Отозвав отдельно Розена, он спросил его, можно ли рассчитывать на 1-й и 2-й батальоны Финляндского полка. Розен откровенно изложил все препятствия к тому. Тогда Рылеев «с особенным выражением в лице и голосе» сказал ему: «Да, мало видов на успех, но все-таки надо, все-таки надо начать; начало и пример принесут плоды».<sup>253</sup> Это «все-таки надо» долго звучало в ушах молодого поручика.

Историк А. Е. Пресняков дал очень верную психологическую характеристику состояния и поведения Рылеева в эти дни: «В момент дерзания основное — решимость. Подъем воли к действию должен подавить колебания сознательного подсчета возможностей и затруднений. Такого момента Рылеев не пережил, хотя отчетливо сознавал его значение и силу. Революционер-романтик ослаблял в нем революционную волю к победе. В его речах, переданных близкими к нему в эти дни, громко звучали иные настроения»,<sup>254</sup> — настроения обреченности.

Эта же романтическая восторженность при мысли о мученическом венце охватила и некоторых других участников декабрьских совещаний. Ее выразил Александр Одоевский в своем восклицании: «Умрем, ах, как славно мы умрем!» В один из последних дней перед восстанием Иван Иванович Пущин писал в Москву члену тайного общества Семенову: «Нас по справедливости называли бы

подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай. Когда ты получишь это, все уже будет кончено... Прощай, вздохни об нас, если...»<sup>255</sup>

Но, наряду с такими настроениями, прорывались у присутствовавших на совещаниях и иные чувства. Так, Александр Бестужев, переступая порог рылеевского кабинета, возгласил: «Переступая через Рубикон, а руби-кон значит руби все, что попало». На упреки Николая Бестужева и Штейнгеля, что члены общества больше рассуждают, чем распоряжаются делом, Каховский отозвался: «С этими филантропами ничего не сделаешь; тут просто надобно резать, да и только. Если не согласятся, то я пойду первый и сам на себя все объявлю».<sup>256</sup>

Среди лиц, бывших у Рылеева вечером 12 декабря, промелькнул и Федор Глинка. Лет пять назад он был одним из тех, кто развивал свободолобивые настроения Рылеева. С тех пор Глинка отстал от политики. «Он нам бесполезен», — говорил про него Трубецкой... Теперь, при появлении Глинки, разговор замялся.

— Будем, господа, продолжать; при Федоре Николаевиче, кажется, можно, — предложил Рылеев.

Но Глинка «приметно засуетился» и, сказав: «Я на минуточку», увлек Рылеева в соседнюю комнату.

— Ну, слышали? Опять присяга на-днях.

— Знаем, — отвечал Рылеев, — и общество непременно решило воспользоваться этим случаем.

— Смотрите, господа, — предостерегающе заметил Глинка, — чтобы крови не было.

— Не беспокойтесь; приняты все меры, чтобы дело обошлось без крови.<sup>257</sup>

13 декабря Рылеев узнал, что на завтра назначается новая присяга. Для окончательных приготовлений к восстанию оставались одни только сутки. Утром Рылеев заехал к Оболенскому, чтобы обсудить с ним последние слухи.

Оболенский жил в Коломне, в одном доме со своим сослуживцем по штабу гвардейской пехоты Яковом Ивановичем Ростовцевым. Видались они по нескольку раз в день. По вечерам Ростовцев любил бывать у Оболенского, «беседовать о науках и словесности» с хозяином и его друзьями. Здесь встречался он и с Рылеевым. Ростовцев и сам писал стихи, напечатал еще в 1823 году трагедию «Персей», а теперь работал над патриотической траге-

дней — «Князь Пожарский». Оболенский ценил в Ростовцеве «истинную любовь к отечеству» и «пылкое воображение».

Вечерние беседы у Оболенского порою касались и политики. По наблюдению Ростовцева, «Рылеев был до невероятности упрям в своих суждениях и никогда не отступал от мысли, единожды им принятой, хотя иногда явно видел свое заблуждение. Оболенский, напротив того, ...беспрестанно изменял образ мыслей своих и увлекался всегда идеєю, которая была последнею. Оба они были всегда мрачны, хотя Оболенский и старался иногда казаться веселым. Рылеев всегда расхваливал правление народное; Оболенский же был то за правление республиканское, то за конституционное».

Был ли Ростовцев членом тайного общества — сказать трудно: данные об этом противоречивы. Во всяком случае Оболенский предлагал Ростовцеву соединиться с ним узами «теснейшими» и «священнейшими», чем узы дружбы. Если верить Ростовцеву, он понял намек Оболенского и решительно уклонился от участия в тайном обществе. О существовании заговора он, однако, не знал ничего определенного, хотя и подозревал, что Оболенский и его друзья замышляют нечто против правительства. На эту мысль его навели продолжительные отлучки Оболенского из дому и неоднократные приезды к нему Трубецкого, с которым он затворялся для разговоров «по нужному для него делу».

Дружеские отношения с Оболенским не мешали Ростовцеву держаться иных политических взглядов. Не разделяя он и глубокой личной «ненависти» Оболенского к великому князю Николаю. На этой почве у них бывали частые споры. «Я за одно не люблю тебя, — говорил Ростовцеву Оболенский, — ты иногда слишком снисходителен к великому князю».

Догадавшись в смутные дни междоусобия «о могущем быть возмущении», Ростовцев удерживал Оболенского и предостерегал его, что откроет заговор: 12 декабря днем он случайно попал на совещание офицеров в квартире Оболенского. Смущение, овладевшее ими при его появлении, окончательно укрепило Ростовцева в его подозрениях.

На следующий день Ростовцев пришел к Оболенскому, когда у него в кабинете сидел Рылеев.

«Господа. — обратился к ним Ростовцев, — я имею



сильные подозрения, что вы намереваетесь действовать против правительства; дай бог, чтобы подозрения эти были неосновательны, но я исполнил долг свой. Я вчера был у великого князя. Все меры против возмущения будут приняты, и ваши покушения будут тщетны. Вас не знают; будьте верны своему долгу, и вы будете спасены!»

С этими словами он вручил им копию со своего письма к Николаю и запись разговора с ним.

«В народе и войске распространился уже слух, что Константин Павлович отказывается от престола, — писал Ростовцев Николаю. — Следуя редко влечению вашего доброго сердца, излишне доверяя льстецам и наушникам вашим, вы весьма многих против себя раздражили. Для вашей собственной славы, погодите царствовать! Противу вас должно таиться возмущение; оно вспыхнет при новой присяге...» Ростовцев умолял великого князя «преклонить Константина Павловича принять корону» или же убедить его приехать в Петербург и «всенародно, на площади», самому провозгласить брата Николая императором.

Письмо Ростовцева по сути дела не содержало ничего нового для Николая. С утра этого же дня у него на столе лежало обстоятельное донесение начальника Главного штаба Дибича о заговоре офицеров Южной армии и гвардейских полков петербургского гарнизона. В письме Ростовцева не упоминалось ни одного имени. Никого не назвал он и в личном разговоре с великим князем.

Копия письма и запись беседы находились теперь в руках Рылеева и Оболенского. «Рылеев зачал читать оные вслух, — рассказывает Ростовцев в своих воспоминаниях об этом дне. — Оба они побледнели и чрезвычайно смешались. По окончании чтения Оболенский сказал мне: «С чего ты взял, что мы хотим действовать? Ты употребил во зло мою доверенность и изменил моей к тебе дружбе. Великий князь знает наперечет всех нас, либералов, и мало-помалу искоренит нас; но ты должен погибнуть прежде всех и будешь первою жертвою!» Я: «Оболенский, ежели ты считаешь себя в праве мстить мне, то отищиай теперь!» Рылеев бросился мне на шею и сказал: «Нет, Оболенский, Ростовцев не виноват, что различного с нами образа мыслей! Не спорю, что он изменил твоей доверенности; но какое право имел ты быть с ним излишне откровенным? Он действовал по долгу своей совести, жертвовал жизнью, идя к великому князю, вновь жерт-

вует жизнью, придя к нам; ты должен обнять его, как благородного человека!» Оболенский обнял меня и сказал: «Да, я его обнимаю и желал бы задушить в моих объятиях!»<sup>259</sup>

Рассказ этот может показаться невероятным, но он подтверждается другим документом: письмом Ростовцева к Оболенскому от 18 ноября 1858 года.<sup>259</sup> Почти через тридцать три года после описываемого события Ростовцев в тех же подробностях напоминает бывшему товарищу об этих удивительных «объятиях». При той крайней степени экзальтации, в которой находились Рылеев и Оболенский накануне 14 декабря, понятен этот первый порыв безотчетного восхищения перед прямою чело века «различного с ними образа мыслей». Но очень скоро поступок Ростовцева предстал перед их глазами в ином свете.

Под живым впечатлением сцены, происшедшей в кабинете Оболенского, Рылеев отправился к Николаю Бестужеву и положил перед ним обе бумаги, полученные от Ростовцева: «Прочти и скажи, что ты об этом думаешь?» Бестужев свидетельствует, что при этом вид у Рылеева «был беспокойный».

«Уверен ли ты, что все, писанное в этом письме, и разговор совершенно согласны с правдою и что в них ничего не убавлено против изустного показания Ростовцева? — спросил Бестужев. — ...Я думаю, что Ростовцев хочет ставить свечу богу и сатане. Николаю он открывает заговор, пред нами умывает руки признанием. ...В этом признании он мог написать, что ему угодно, и скрыть то, что ему не надобно сказывать».

Эти соображения Николая Бестужева охладили и без того уже начавшую остывать голову Рылеева. «Рыцарство» Ростовцева потускнело в его представлении и уступило место опасениям за судьбу тайного общества. Рассказывая о своем свидании с Рылеевым, Бестужев прибегает к излюбленной им диалогической форме повествования. На этот раз воссоздаваемый им разговор вполне убедителен. Его стоит воспроизвести здесь целиком.

На сомнения Бестужева в искренности Ростовцева Рылеев возразил:

«Но если бы сказано было что-нибудь более, нас, конечно, тайная полиция прибрала бы к рукам.

— ...Николай боится сделать это. Опорная точка наше-

го заговора есть верность присяге Константину и нежелание присягать Николаю. Это намерение существует в войске, и, конечно, тайная полиция о том известила Николая, но как он сам еще не уверен, точно ли откажется от престола брат его, следовательно, арест людей, которые хотели остаться верными первой присяге, может показаться с дурной стороны Константину, ежели он вздумает принять корону.

— Итак, ты думаешь, что мы уже заявлены?

— Непременно, и будем взяты, ежели не теперь, то после присяги.

— Что ж, ты полагаешь, нужно делать?

— Не показывать этого письма никому и действовать. Лучше быть взятым на площади, нежели на постели. Пусть лучше узнают, за что мы погибнем, нежели будут удивляться, когда мы тайком исчезнем из общества, и никто не будет знать, где мы и за что пропали.

Рылеев бросился мне на шею.

— Я уверен был, — сказал он с сильным движением, — что это будет твое мнение. Итак, с богом! Судьба наша решена! К сомнениям нашим, конечно, прибавятся все препятствия. Но мы начнем. Я уверен, что погибнем, но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы отечества».<sup>280</sup>

Не всех мог воодушевлять подобный революционный романтизм. Поэтому совет Николая Бестужева не показывать письма Ростовцева был предусмотрителен: многие деятели тайного общества, узнав о том, что если не они сами, то их намерения «заявлены» правительству, могли бы отступить от своих обещаний. Но по мере того, как в Рылееве складывалось убеждение, что отныне не дни, а часы тайного общества сочтены, поступок Ростовцева все более и более принимал в его сознании формы предательства. Вернувшись домой, он не утерпел, чтобы не рассказать обо всем Штейнгелю. От первого впечатления, которому поддался Рылеев, не осталось теперь и следа. Он «с сердцем» говорил о Ростовцеве: «Его надо убить для примера!» И на уговоры Штейнгеля ответил «тоном более презрительным, нежели злобным»: «Ну, черт с ним, пусть живет!»<sup>281</sup>

Штейнгель был из числа тех, кого мог остановить поступок Ростовцева. Странник мирных преобразований, давший увлечь себя общим течением, Штейнгель неохотно

думал о революционном перевороте. Сейчас, после того, что открыл ему Рылеев, мысль эта стала казаться Штейнгелю вполне безрассудной.

— Неужели вы думаете действовать? — спросил он Рылеева.

— Действовать непременно. Мы сильны, и отлагать не должно.<sup>262</sup>

Рылеев, видимо, умышленно старался убедить других в том, в чем сам не был уверен. Три последних дня отчетливо показали, что реальные силы, на которые рассчитывали руководители Северного общества, были крайне незначительны. Попытка Трубецкого привлечь на сторону заговора командира Семеновского полка Сергея Шипова, бывшего члена Союза Спасения и Союза Благоденствия, не увенчалась успехом. Не оправдались и надежды на полковника Моллера, командира 2-го батальона Финляндского полка. Моллер заявил Николаю Бестужеву и Торсону, что «не намерен служить орудием и игрушкой других в таком деле, где голова нетвердо держится на плечах». В конце концов оказалось, что «во всем полку только Розен отвечает за себя».<sup>263</sup> Расчет на привлечение артиллерии был крайне сомнителен, а вопрос о вооружении солдат по сути дела и не обсуждался. Повидимому, руководители готовившегося восстания надеялись на то, что все обойдется без кровопролития. По мере того, как выяснялась ограниченность сил, находившихся в распоряжении Северного общества, менялся и первоначальный тактический план восстания. Вначале Трубецкой, заботясь о том, чтобы восставшие войска не учиняли «никакого буйства», намеревался произвести при их помощи не вооруженное восстание, а вооруженное давление на правительство. Неутешительные результаты подсчета сил привели «диктатора» к заключению, что успех дела может быть обеспечен только внезапностью и решительностью нападения. Отсюда, в качестве первоначальной цели восстания, возникла задача захватить дворец, арестовать царскую фамилию (а может быть, и «истребить» ее «в беспорядке, обыкновенно в таких случаях бываемом»), занять сенат и крепость. Это предполагалось осуществить тотчас после сбора необходимых воинских частей.

Говоря Штейнгелю: «Мы сильны», — Рылеев на самом деле видел «множество неудобств к счастливому окончанию» задуманного плана. Больше всего страшила Рылеева

мысль: а что, если Николай, завтрашний император, «не будет схвачен»? Ведь тогда неминуемо разгорится «междоусобная война». Как предотвратить эту угрозу? И он вспомнил об обещании, данном несколько месяцев тому назад мятежному Каховскому.

В тот же обильный переживаниями день 13 декабря Оболенский был очевидцем и участником следующей сцены. Он пришел к Рылееву под вечер и застал у него Пущина, Каховского и Александра Бестужева. Говорили снова о плане действий на завтра. Рылеев сказал, что всем нужно собраться на Петровской площади и ждать распоряжений от Трубецкого. Затем он подошел к Каховскому и обнял его со словами: «Любезный друг, ты сир на сей земле; ты должен собою жертвовать для общества; убей завтра императора».<sup>264</sup>

Бестужев, Пущин и Оболенский бросились в свою очередь обнимать Каховского, и каждый из них запечатлел братский поцелуй на челе этого «русского Брута».

Позднее на квартире Рылеева состоялось последнее собрание членов Северного общества — шумное и многолюдное. В последний раз проверяли свои ряды и силы. Арбузов отвечал за Гвардейский экипаж. Михаил Бестужев «довольно слабо» ручался лишь за одну роту Московского полка, да и то опасался, что ему не удастся вывести ее, если остальные роты не тронутся. Репин выражал сомнение в возможности «возмутить» Финляндский полк. Зато Корнилович, накануне приехавший с Юга, уверял, что во 2-й армии сто тысяч человек готовы взяться за оружие.

На этом решающем совещании Трубецкой, казалось, готов был итти на попятный. Он начал говорить, что пользы не будет, если отдельным офицерам удастся «возбудить роты свои». Другое дело, если бы, «солдаты целыми полками отказались присягать», но на это мало надежды. Он даже намекнул Арбузову, Сутгофу, Михаилу Бестужеву и младшему Пущину (капитану конно-пионерного эскадрона), чтобы они сами не слишком уговаривали солдат. Это возмутило Рылеева.

— Нет, уже теперь так оставить нельзя, — воскликнул он, — ведь один Арбузов наверно может вывести за собой до четырехсот человек!

— Хорошо нам говорить, — возразил Трубецкой, — мы не можем никого привести за собой и, следовательно, погубим только других.

— Да, для истории, — вмешался Александр Бестужев.  
— Мы на смерть обречены, — сказал Рылеев. — Я становлюсь в ряды в роту Арбузова.<sup>265</sup>

Реплики Рыльева и его друга хорошо рисуют то приподнятое состояние, в каком находились многие участники совещания. Их возбуждения не разделял Трубецкой. Он непрочь был отменить подготовку к восстанию и попросил, чтобы его «отпустили» в Киев. Но Рылеев и думать не хотел об отступлении.

— Видите ли, — обратился он к Трубецкому, показывая ему копию письма Ростовцева, — нам изменили; двор уже многое знает, но не все...<sup>266</sup>

Трубецкой, один из немногих, отдавал себе отчет в действительных возможностях Северного общества. Последние дни убедили его в сомнительности успеха. Первоначальный план восстания в созданных условиях оказывался чересчур сложным и требовал упрощения.

Положено было, что Арбузов и Якубович выведут Гвардейский экипаж и с ним вместе пойдут «подымать» Измайловский полк. Младший Пушкин должен присоединиться к ним с конно-пионерным эскадроном. Николаю Бестужеву и Рылееву предписывалось находиться при Гвардейском экипаже. Александр Бестужев должен был возглавить Московский полк, поднятый Михаилом Бестужевым и Щепиным-Ростовским, а Булатов — лейб-Гренадерский, выведенный Суггофом. Якубович и Булатов назначались главными помощниками Трубецкого, которому предстояло возглавить все войска, отказавшиеся принести новую присягу. Сборным местом определена была Петровская площадь, но на последнем совещании Трубецкой распорядился, чтобы часть войск, пришедшая первой на площадь, немедленно шла занимать Зимний дворец. Осторожный «диктатор» на этот раз не предусмотрел возможности оборонительных мер со стороны противника. Тут же Трубецкой поручил Рылееву написать манифест об аресте царской семьи, установлении временного правительства и созыве Великого Собора народных представителей. Рылеев был слишком занят и передал это поручение Штейнгию.

Михаил Бестужев оставил нам красочное описание «бурливого» совещания 13 декабря. Читая это описание, вспоминаешь пушкинского летописца:

На старости я сызнова живу,  
Минувшее проходит предо мною...

Чувствуется, что Михаил Бестужев, «сей остальной из стаи славной», заново переживал памятный вечер, когда семидесятилетним стариком набрасывал эти строки:

«Многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно-высоконастроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобноисполнимые предложения и распоряжения, слова без дел, за которые многие дорого заплатились... Зато как прекрасен был в этот вечер Рылеев! Он был нехорош собою, говорил просто, но не гладко; но когда он попадал на свою любимую тему — на любовь к родине — физиогномия его оживлялась, черные, как смоль, глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава, и тогда, бывало, не устанешь любоваться им.

Так и в этот роковой вечер, решивший туманный вопрос: «to be or not to be» (быть или не быть. — К. П.), его лик, как луна бледный, но озаренный каким-то сверхестественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипящего различными страстями и побуждениями». <sup>267</sup>

Да, в эти часы величайшего душевного напряжения он был, он должен был быть таким — этот страстный трибун и революционер-поэт. Неудержимо рвался он к борьбе с «утеснителями народа» и своим примером, своим словом увлекал других. Такой Рылеев был недоступен соображениям трезвого расчета. В ту минуту он искренне верил, что «надобно нанести первый удар, а там замешательство даст новый случай к действию». Он не задумывался над тем, может или нет это «замешательство» охватить ряды восставших. Не думали об этом и те, кого он вел за собою. «Мы так твердо были уверены, что или мы успеем или умрем, что не сделали ни малейших сговоров на случай неудачи», — признается другой Бестужев — Александр. <sup>268</sup>

Только обрывки этих зажигательных речей Рылеева дошли до нас в передаче его товарищей, и нам приходится на слово верить неотразимой действительности его ораторских импровизаций. Но мы вряд ли ошибемся, если скажем, что в своих устных выступлениях Рылеев-оратор повторял Рылеева-поэта. А поэт не дремал в нем и в эти дни, когда он так безудержно отдавался политической деятельности. Мало того. Именно теперь, в накаленной атмосфере близящейся борьбы, обретает Рылеев одному ему

присущий поэтический голос. По свидетельству Ивана Пущина и Николая Бестужева, как раз в дни подготовки к восстанию создает Рылеев свое стихотворение «Гражданин»<sup>269</sup> — бесспорно самое сильное и художественно зрелое из всего им написанного до тех пор:

Я ль буду в роковое время  
Позорить Гражданина сан,  
И подражать тебе, изнеженное племя  
Переродившихся Славян?  
Нет, неспособен я в объятьях сладострастья,  
В постыдной праздности влачить свой век молодой,  
И изнывать кипящею душой  
Под тяжким игом самовластья.  
Пусть юноши, своей не разгадав судьбы,  
Постигнуть не хотят предназначенья века  
И не готовятся для будущей борьбы  
За угнетенную свободу человека.  
Пусть с холодной душой бросают холодный взор  
На бедствия своей отчизны  
И не читают в них грядущий свой позор  
И справедливые потомков укоризны.  
Они раскаются, когда народ, восстав,  
Застанет их в объятьях праздной неги  
И, в бурном мятеже ища свободных прав,  
В них не найдет ни Брута, ни Риэги.

Когда в 1823 году возникло Северное общество, Оболенскому было поручено написать сочинение «об обязанностях гражданина». Оболенский написал его. Оно было очень невелико и заключало краткое изложение главных обязанностей человека по отношению к семейству и отечеству. Как пояснял Оболенский, он имел при этом в виду, чтобы члены общества давали читать это сочинение своим знакомым, замечая «влияние нравственное, какое оно могло произвести на молодых людей, еще не познавших всех высоких обязанностей своих, и по влиянию сему судили о большей или меньшей готовности их вступить в общество». Рукопись Оболенского затерялась «при передаче для чтения от одного к другому», но никто из причастных к тайному обществу не вспоминал о ней. Видимо, особенного следа в их сознании сочинение Оболенского не оставило, а потому и не заняло места в агитационном арсенале декабристов.<sup>270</sup>

На пороге восстания требовалось новое изложение «обязанностей гражданина» — с открытой целью пробудить «переродившихся» потомков Вадима, растолковать им



«предназначенье века» и склонить их стряхнуть с себя ярмо «самовластья». На эту боевую и злободневную задачу отозвался Рылеев своим стихотворением «Гражданин». Видимо, он успел распространить его в рядах Северного общества, и за несколько дней оно отпечатлелось в сердцах многих. 14 декабря утром, выходя из дому, Булатов сказал брату: «Явятся и у нас Бруты и Риэги, а может быть и превзойдут тех революционеров». <sup>271</sup>

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### 1

Когда у Рылеева происходило последнее совещание деятелей тайного общества, члены Государственного совета собрались на «секретное» заседание. Великий князь Николай Павлович намеревался огласить высшим сановникам империи манифест о своем вступлении на престол и ознакомить их с перепиской, в которой излагалась — по остроумному выражению Герцена — «длинная история семейных учтивостей», завершившаяся закреплением престолонаследия за ним, Николаем. «Личным свидетелем и вестником братней воли» должен был выступить на этом заседании младший из великих князей — Михаил. Он находился на пути из Варшавы в Петербург и, несмотря на посланного за ним нарочного, не успел вовремя прибыть в столицу. Собранные к восьми часам вечера члены Государственного совета тшкетно ждали его приезда, да так и не дождались. Наконец, чуть ли не в полночь, Николай «сел на первое место» и сам прочел им манифест и приложения к нему «акты». Читая, он наблюдал за присутствовавшими. Ему показалось странным, что по окончании чтения адмирал Мордвинов прежде всех «вскочил» из-за стола и «ниже прочих» отвесил ему, новому императору, верноподданнический поклон. А ведь старик слыл за либерала! <sup>272</sup>

Через несколько часов после этого заседания, ранним утром 14 декабря, приведены были к присяге Государственный совет, сенат, синод, Преображенский, Конногвардейский и Семеновский полки.

Рылеев еще был в постели, когда к нему приехал Трубецкой. Накануне Рылеев сказал ему, что спозаранку отправится в казармы Гвардейского экипажа и присоеди-

нится к роте Арбузова. Это беспокоило Трубецкого. «Мне не хотелось, — объяснял он потом, — чтоб он, то есть экипаж, выходил первый, потому что он всех слабее и его примеру не надеялся, чтоб другие полки последовали». Трубецкой не знал, что уже после его отъезда Рылеев условился с Пушиным «ободрять» войска на площади, так как «во фраках» трудно было бы проникнуть в казармы. Пушин обещал захватить за ним в восемь часов утра. Между тем приходили и другие члены тайного общества, рассказывали о начавшейся повсюду присяге, которая проходит спокойно. Репин сообщил, что «в Финляндском полку офицеров потребовали к полковому командиру и что они присягают особо от солдат». Штейнгель еще не дописал манифеста, но выражал сомнение в том, чтобы таковой понадобился: он, «кажется, останется в кармане». <sup>273</sup>

По отъезде Трубецкого появился у Рылеева Николай Бестужев. Свой разговор с ним он передает в следующих выражениях:

«— Я дожидал тебя, — сказал он, — что ты намерен делать?»

— Ехать, по условию, в Гвардейский экипаж; может быть, там мое присутствие будет к чему-нибудь годно.

— Это хорошо... Я же, с своей стороны, еду в Финляндский и лейб-Гренадерский полки, и если кто-либо выйдет на площадь, я стану в ряды солдат с сумою через плечо и с ружьем в руках.

— Как, во фраке?

— Да, а может быть, надену русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы.

— Я тебе этого не советую. Русский солдат не понимает этих тонкостей патриотизма, и ты скорее подвергнешься опасности от удара прикладом, нежели сочувствию к твоему благородному, но неуместному поступку. К чему этот маскарад? Время национальной гвардии еще не настало.

Рылеев задумался.

— В самом деле, это слишком романически, — сказал он, — итак, просто, без излишеств, без затей. Может быть, — продолжал он, — мечты наши сбудутся, но нет, вернее, гораздо вернее, что мы погибнем».

Рылеев вышел из дому вместе с Николаем Бестужевым и Иваном Пушиным. Первый из них вспоминает о тяже-

лой сцене, разыгравшейся у них на глазах: «Жена его (Рылеева. — К. П.), выбежала к нам навстречу, и, когда я хотел с нею поздороваться, она схватила мою руку, и, заливаясь слезами, едва могла выговорить:

— Оставьте мне моего мужа, не уводите его, я знаю, что он идет на погибель.

Кто из моих товарищей испытал чувствования, одушевлявшие каждого из нас в эти незабвенные дни, тот может представить, что напряженная душа готова была ко всем пожертвованиям, и потому я уговаривал ее такими словами, как будто супруга и мать должна была понимать мои чувства, но это было холодно для ее сердца. Рылеев, подобно мне, старался успокоить ее, что он возвратится скоро, что в намерениях его нет ничего опасного. Она не слушала нас, но в это время дикий, горестный и испытующий взгляд больших черных ее глаз попеременно устремлялся на обоих — я не мог вынести этого взгляда и смутился. Рылеев приметно был в замешательстве, вдруг она отчаянным голосом вскрикнула:

— Настенька, проси отца за себя и за меня!

Маленькая девочка выбежала, рыдая, обняла колени отца, а мать почти без чувств упала к нему на грудь. Рылеев положил ее на диван, вырвался из ее и дочерних объятий и убежал.

Здесь мы расстались». <sup>274</sup>

Когда декабристы пытались восстановить в своей памяти все, что произошло 14 декабря, они, естественно, не могли соблюсти в своих рассказах строгой последовательности. В этот день, казавшийся им тревожным сном, представление о времени стерлось: минуты тянулись как часы, а часы летели как минуты. Проследить шаг за шагом, куда ходил и что делал каждый из участников восстания, едва ли возможно. Их собственные свидетельства многочисленны, но лаконичны и противоречивы. Трудно, например, с полной отчетливостью представить себе, как провел этот день Рылеев. Утром, расставшись с Николаем Бестужевым, он побывал вместе с Пушиным «у ворот» казарм Московского полка, но «ни одного офицера, ни солдата не видели: приезжали же узнать, что делается». С такой же разведывательной целью проезжали они «мимо Измайловского полка к казармам Экипажа», но внутрь опять-таки не входили. <sup>275</sup> На улицах не происходило ничего необычайного. Над городом нависло пасмурное пе-

тербургское утро. Петровская площадь была пуста. Присяга сената уже закончилась, и сенаторы разъехались по домам. Тем самым намерение заговорщиков проникнуть в сенат потеряло свою основную цель: помешать присяге уже было бы невозможно.

Трубецкой жил на Английской набережной, по соседству с сенатом. Рылеев и Пущин зашли к нему. «Диктатор» показал им только что полученный из сенатской типографии манифест. Трубецкой полагал, что присяга повсеместно пройдет благополучно.

— Однакож вы будете на площади, если будет что-нибудь? — спросил его Пущин, уходя.

— Да что ж, если две какие-нибудь роты выйдут, что ж может быть? Кажется, все тихо пройдет, уж многие полки присягнули.

— Мы на вас надеемся, — повторил Пущин, закрывая за собой дверь.<sup>276</sup>

От Трубецкого Рылеев и Пущин направились на Дворцовую площадь. Там тоже было спокойно. Прошлись по Адмиралтейскому бульвару — «всё в ожидании войск». Возвратились домой, потом пошли опять и тут, возле Синего моста, повстречали Якубовича. Он сообщил Рылееву и Пущину, что Московский полк «возмутился», отказался от присяги и теперь находится около сената. Поспешили туда.

Действительно, Михаилу Бестужеву и Щепину-Ростовскому удалось, при ближайшем участии Александра Бестужева, «поднять» и вывести из казарм значительную часть полка. Рылеев нашел его построенным в карре. Пущин тотчас принялся ходить по фасам и заговаривать с солдатами. По дороге на Петровскую площадь к Московскому полку присоединился Оболенский. По его словам, Рылеев где-то добыл «солдатскую суму и перевязь и готовился стать в ряды войск».<sup>277</sup>

Недолго побыв на площади, Рылеев отправился в казармы лейб-гренадеров, чтобы ускорить их приход. На пути ему встретился Корнилович, сказавший, что Сутгоф со своей ротой пошел уже на площадь. Рылеев вернулся. За это время ряды восставших пополнились Гвардейским экипажем. Завидя Николая Бестужева, Рылеев приветствовал его «первым целованием свободы». По свидетельству Бестужева, Рылеев сказал ему: «...Последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы: мы дышали

сю, и я охотно отдаю за них жизнь свою». «Это были последние слова Рыльева, которые мне были сказаны, — добавляет Бестужев. — Остальная развязка нашей политической драмы всем известна...»<sup>278</sup>

Декабристы почти единодушно возлагают ответственность за свое поражение на Трубецкого. Поведение «диктатора» в день 14 декабря его бывшие соратники определяют как измену общему делу. Он не только не возглавил войска, отказавшиеся принести присягу и собравшиеся у памятника Петру, — он, по твердому убеждению участников восстания, избегал показываться им на глаза, попросту скрылся. В тот самый момент, когда стало известно, что Московский полк направился к сенату, Трубецкой, якобы «в большом унынии и страхе», сидел в канцелярии дежурного генерала Главного штаба. В Главный штаб он дважды заходил и раньше. Вообще из его рассказа получается впечатление, что он старался не отдаляться от этого здания. Товарищи Трубецкого по тайному обществу и старые историки расценивали поведение «диктатора» как непростительную трусость, едва ли не предательство. В наше время историки попытались иначе осмыслить эту своеобразную силу притяжения, неуклонно привлекавшую Трубецкого к Главному штабу. «Вопреки обычному рассказу о Трубецком, что он просто не явился на площадь, надо учесть показание Николая, что он видел полковника Трубецкого около здания Главного штаба. Трубецкой, очевидно, наблюдал передвижение и расположение войск, ожидая наступления восставших с Сенатской площади на Зимний дворец, и ушел, когда убедился, что положение приходится признать безнадежным для выполнения намеченного плана восстания; от принесения присяги Николаю он воздержался, но у него нехватало революционного порыва стать во главе войск, пока они не соберутся в достаточной силе, и открыто стать в ряды восставших, чтобы разделить судьбу героев 14 декабря, не ожидая обеспеченного успеха». Такова точка зрения А. Е. Преснякова. Эти же соображения развивает и биограф Трубецкого — Н. Лавров: «Для нас поведение Трубецкого и в частности его сидение «в унынии и страхе» в Главном штабе будет вполне понятно, если мы вспомним, что, по последним отданным им распоряжениям, первая пришедшая на площадь революционная войсковая часть должна была взять дворец. С полной основательностью, думается, можем мы

предположить, что Трубецкой, сидя в штабе, находящемся против дворца, ждал этого решающего всю судьбу революции момента. Но дворец не был занят революционерами. План восстания был сорван. Но не Трубецким, а Рылеевым, Бестужевым, Якубовичем и Булатовым. Рылеев и Якубович не пошли, как им было назначено, в Гвардейский экипаж, а Булатов не пошел в Гренадерский полк. Восстание началось в Московском полку. Бестужевым и Щепину-Ростовскому удалось вывести две роты полка и привести их к сенату. Но вопреки диспозиции, они остались стоять на площади, вместо того чтобы итти на приступ дворца, который в тот момент был вполне для них доступен. Момент был упущен. Николай сумел быстро собрать войска не только для охраны дворца, но и для окружения восставших войск». <sup>270</sup>

На первый взгляд эти доводы кажутся убедительными. Действительно, Якубович еще с утра отказался ехать в казармы Гвардейского экипажа и в течение всего дня держал себя крайне двусмысленно. Булатов также с утра предупредил Рылеева, что «если войска будет мало», то он не примкнет к восставшим. Рылеев освободил его от задания «подымать» лейб-гренадеров и удовлетворился его обещанием дожидаться их у Исаакиевского моста. Александр Бестужев, действительно, забыл о том, что первая пришедшая на площадь войсковая часть должна немедленно итти занимать дворец. Неявка Рылеева в казармы Гвардейского экипажа не могла иметь никакого отрицательного значения на ход дела. Там достаточно энергично действовали Арбузов, Николай Бестужев и другие. К тому же Трубецкой и сам не хотел пускать туда Рылеева. Гораздо существеннее было то, что Гвардейский экипаж пришел на сборное место без своих пушек, патронов и кремней. И все-таки основная доля ответственности за провал тактического плана восстания падает на Трубецкого: он, при наступлении решительного момента борьбы, оставил своих товарищей без нужного руководства, а сами они не имели ни военных способностей, ни боевого опыта, чтобы обойтись без него. До последнего дня всем посвященным в заговор внушалось, что общее руководство восстанием примет на себя Трубецкой. Естественно было ждать появления «диктатора» среди восставших войск, а его приходилось отыскивать. Положим, что Трубецкой выбрал удобный наблюдательный

пункт, как раз на пути от сената к дворцу, но ведь никто же не знал — из тех, кому следовало знать, — где именно находится их главный начальник. Отряд смельчаков, который двинулся бы занимать Зимний дворец, точно так же мог бы оказаться предоставленным самому себе, как и дружина героев, бесплодно, но упорно выстоявшая в течение нескольких часов на площади перед сенатом. Если Трубецкой и колесил вокруг Главного штаба, то он, быть может, не столько выжидал приближения восставших войск, сколько присматривался к тому; куда ветер подует. Рисковать он не стал бы. Зная, что Трубецкой не отважился разделить участь своих товарищей на Петровской площади, трудно сказать, решился ли бы он разделить ее на Дворцовой.

Поскольку ближайшие подручные Трубецкого, Якубович и Булатов, также не выполнили своих обязательств, находя «средства несоразмерными замыслу», оба они в равной мере разделяют с Трубецким его вину перед товарищами. То, что тактический план действий сразу же при своем выполнении утратил всякую четкость, неизбежно привело к растерянности и «совершенному безначалию» в рядах восставших. Возможно, присутствие среди них Трубецкого и не повернуло бы дела в благоприятную сторону, но его отсутствие не могло не привлекать к себе недоуменного и негодующего внимания остальных декабристов.

Что же делал в эти тревожные часы Рылеев?

Он, по свидетельству Розена, «бросался во все казармы, по всем караулам, чтобы набрать больше материальной силы, и возвращался на площадь с пустыми руками...»<sup>280</sup> Роковой исход «несбыточного» предприятия становился неминуемым.

Три картечных залпа по непокорным войскам, три первых пушечных салюта, возвестивших начало нового царствования («Voilà un joli commencement de règne», как выразился Николай), прогремели тогда, когда Рылеева на площади не было. Он искал Трубецкого...

## 2

Подавленный и потрясенный, вернулся Рылеев под вечер домой. Все, случившееся за день, сложилось совсем не так, как он ожидал. Романтика уступила место действительности. Одно дело — пасть с оружием в руках, погиб-

нуть в сплоченном кругу собратьев-единомышленников, а другое — сознать, что борьба проиграна вследствие неподготовленности и нетвердости тех, кто ее затеял. Пушкин и Оболенский передавали И. Д. Якушкину, что Рылеев «был всегда готов служить тайному обществу и словом, и делом, но в решительную минуту он потерялся, конечно, не из опасения за свою жизнь».<sup>281</sup> Это понятно. Он потерялся потому, что ничем уже не мог помочь товарищам, сколько бы ни бегал по казармам и караулам. Он потерялся потому, что понимал свою ответственность перед теми, кто был на площади, ибо чувствовал себя их духовным «диктатором».

Но трагедия этого подлинного идейного вождя «мятежников 14 декабря» заключалась в том, что Рылеев-революционер выкипел в словесном пламени предыдущих дней. По освещенным фонарями вечерним улицам Петербурга домой возвращался морально сломленный человек, поникший под гнетом беспокойных дум о семье и товарищах. Он видел теперь, во что грозит обернуться их участие в восстании. В эти минуты автор «Наливайки» не помышлял ни о славе в потомстве, ни о будущих борцах за свободу.

Дома Рылеев был встречен истосковавшейся и плачущей женой. У столика возле окна, на своем обычном месте, сидел усталый, но возбужденный Каховский. Пришел Штейнгель. Каховский стал излагать ему свой разговор с митрополитом Серафимом, приехавшим увещевать взбунтовавшиеся войска. «...Мы пришли сюда не для пролития крови, но для истребования законного порядка от сената», — передавал Каховский свой ответ митрополиту.

Но кровь пролилась — и не только в рядах мятежников. Каховский рассказывал, как он стрелял в петербургского военного генерал-губернатора Милорадовича и в полковника Стюрлера, как он ранил кинжалом неизвестного ему свитского офицера. И, снова войдя в роль трагического героя, Каховский подал Штейнгелю свой кинжал со словами: «Возьмите этот кинжал на память обо мне и сохраните его».<sup>282</sup>

Рылеев был «в сильном волнении». Не принимая участия в беседе, он поминутно уходил в комнату жены, спешно перебирал свои бумаги, рвал и бросал в огонь все, что могло повредить ему самому и другим. Его грызла тревожная мысль о судьбе своего семейства. Не выходил на



головы и Александр Бестужев: он не вернулся домой, — где он, что с ним?

Тем временем появлялись разные лица. На минуту, с вопросом: «Ну, что?» — заглянул Батенков. Заходил отставной штаб-ротмистр Оржицкий. Ему Рылеев поручил съездить в Киев и сказать Сергею Муравьеву-Апостолу об «измене» Трубецкого и Якубовича. Это было последнее распоряжение Рылеева по тайному обществу.<sup>283</sup>

Часов в восемь на пороге рылеевского кабинета показался Булгарин. Неровные отношения связывали Рылеева с этим грузным, краснощеким «губаном». Мы знаем об их ссоре и примирении; знаем и то, что Рылеева раздражали некоторые «верноподданнические выходки» булгаринской газеты. Рылеев даже говорил ему, — правда, в шутку: «Когда случится революция, мы тебе на Северной Пчеле голову отрубим». И вместе с тем, сознавая, что Булгарин — не «наш», Рылеев не имел оснований сомневаться в искренности его чувств по отношению к себе.

Булгарин принес с собой разные городские слухи и начал было рассказывать о «пяти ранах» Милорадовича, но Рылеев прервал его и вывел в переднюю. «Тебе здесь не место, — сказал он ему. — Ты будешь жив, ступай домой! Я погиб! Прости! Не оставляй жены моей и ребенка». При этом он вручил ему на сохранение папку своих рукописей. В ней были неизданные и черновые думы, стихи на смерть Чернова и многое другое. Булгарин не изменил доверию Рылеева и полностью сберег поэтическое наследие, содержащееся в этой папке.<sup>284</sup>

В те самые часы, когда в квартире Рылеева соратники его обменивались безотрадными впечатлениями пережитого дня, в Зимнем дворце начались первые допросы участников восстания. Среди тех, кто был захвачен на площади, находился поручик лейб-гвардии Гренадерского полка Сутгоф. На вопрос, обращенный к нему генерал-адъютантом Левашовым, «по внушению ли других или по собственному своему убеждению» Сутгоф не присягал государю Николаю Павловичу, арестованный сослался на «сочинителя Рылеева», корнета Одоевского и адъютанта герцога Вюртембергского — Бестужева; они, по словам Сутгофа, уговорили его «всеми мерами держать сторону Константина Павловича».

Левашов задал Сутгофу еще несколько вопросов, касающихся «сочинителя Рылеева», и записал: «Рылеев имеет

жительство у Синего мосту в доме Американской компании, и повидимому у него заговор делался». <sup>285</sup>

Новый император сам принимал деятельное участие в допросах. Сидя в соседней комнате, он выслушивал доклады своих генерал-адъютантов и затем лично опрашивал многих арестованных. В промежутках он писал длинное письмо своему брату Константину.

Ознакомившись с показаниями Сутгофа, Николай вызвал флигель-адъютанта Дурново и приказал ему привести во дворец «живым или мертвым» поэта Рылеева. Затем он снова взял перо и продолжал прерванное письмо: «У нас имеется доказательство, что делом руководил некто Рылеев, статский, у которого происходили тайные собрания, и что много ему подобных состоят членами этой шайки; но я надеюсь, что нам удастся во-время захватить их». <sup>286</sup>

Утомленный происшествиями дня, Рылеев тотчас по уходе посетителей разделся и лег в постель. Было уже поздно, когда Дурново подъехал к дому Российско-Американской компании и, объявив, что прибыл «по приказанию самого государя», потребовал, чтобы его впустили. Его сопровождало шесть солдат Семеновского полка.

Рылеев наскоро оделся. Дурново забрал бумаги, обнаруженные в его кабинете, и предложил ему следовать за ним.

Они вышли и сели в сани. Здание Российско-Американской компании с выгнутыми железными решетками в окнах нижнего этажа навсегда скрылось из глаз Рылеева.

На улицах попадались казачьи разъезды. Город напоминал собою лагерь. Там и сям расставлены были войска. Плавали костры, озаряя жерла орудий, выставленных для охраны победившего самодержавия.

### 3

Рылеев был приведен в генерал-адъютантскую комнату Зимнего дворца. У каждой ее двери стояло по трое часовых. Генерал-адъютанты Толь и Бенкендорф приступили к допросу арестованного.

Видимо, следователи с самого же начала дали понять Рылееву, что им уже многое известно и что только чистосердечное признание может облегчить участь замешанных в восстании. Затем перед ним положили лист бумаги и предложили самому написать свои показания. Рылеев

сразу же увидел, что стать на путь голого отрицания бесполезно и невозможно; лучше быть откровенным не до конца. Положение, в которое попали он и его товарищи, представлялось ему безысходным. Самым тяжелым для него было сознание бесплодности понесенных жертв. Первым побуждением Рылеева было попытаться внушить правительству, что кровопролитие явилось роковой случайностью. Раздражение против Трубецкого слишком возросло, чтобы Рылеев счел нужным его щадить: «Князь Трубецкой должен был принять начальство на Сенатской площади. Он не явился, и, по моему мнению, это главная причина всех беспорядков и убийств, которые в сей несчастный день случились» (курсив мой. — К. П.).

Толь и Бенкендорф уже знали, что перед ними один из главарей заговора. Рылеев признался, что он входил в состав Думы тайного общества. Если бы он больше владел собою в эти минуты, он мог бы не называть имен. Но он назвал: двух Бестужевых, Одоевского, Оболенского, Сутгофа, Каховского, Пущина и Никиту Муравьева. Правда, он постарался тут же убедить своих следователей в том, что правительству нечего бояться: «Общество точно существует. Цель его, по крайней мере в Петербурге, была конституционная монархия. Оно не сильно здесь и состоит из нескольких молодых людей. ...Это общество уже погибло вместе с нами. Опыт показал, что мы, мечтали, полагаясь на таких людей, каков князь Трубецкой. Страшась, чтобы подобные люди не затеяли чего-нибудь подобного на юге, я долгом совести и честного гражданина почитаю объявить, что около Киева в полках существует общество. Трубецкой может пояснить и назвать главных. Надо взять меры, дабы там не вспыхнуло возмущение».

Бенкендорф стал читать показания Рылеева. Большинство названных им лиц уже значилось в показаниях Сутгофа. Никита Муравьев был упомянут в доносе капитана Майбороды, а Трубецкой — в рапорте Дибича. Все эти данные с 12 декабря находились в руках Николая. О существовании Южного общества Рылеев мог бы и не говорить, но и на этот счет правительство уже располагало гораздо более определенными и обстоятельными сведениями. В показаниях Рылеева существенно важным для его следователей было разоблачение руководящей роли Трубецкого на севере и упоминание об участии Пущина в тайном обществе. Бенкендорф заинтересовался, кто такой

Пушкин. Тогда Рылеев приписал к своему показанию: «Иван Иванович Пушкин, коллежский асессор, служит в 1-м департаменте Московского Надворного суда».

Толь в свою очередь ознакомился с показаниями Рылеева и обратил внимание на следующие слова: «Открыв откровенно и решительно, что мне известно, я прошу одной милости: пощадить молодых людей, вовлеченных в общество, и вспомнить, что дух времени — такая сила, пред которою они не в состоянии были устоять». Прочитав это, Толь спросил Рылеева, «не вздор ли затевает» молодежь, не доказывают ли «примеры новейших времен», что причинами революций являются «собственные расчеты»? Рылеев отвечал «весьма холодно»: «Невзирая на то, что вам всех виновных выдал, я вам скажу, что я для счастья России полагаю конституционное правление самым выгоднейшим и остаюсь при сем мнении». Толь возразил, что «с нашим образованием» конституционное правление не вяжется и могло бы вызвать у нас «совершенную анархию».<sup>287</sup>

На этом допрос Рылеева Бенкендорфом и Толем закончился. Оба генерал-адъютанта скрепили его показания своими подписями. Затем состоялось личное свидание вождя Северного общества с неограниченным повелителем Российской империи.

Покуда в соседней комнате Рылеев дописывал свои показания, царь продолжал письмо к брату, пометив новый абзац: «В 11½ вечера»: «...В это мгновение ко мне привели Рылеева. Это — поимка из наиболее важных».<sup>288</sup>

«Маски императора» — так озаглавил П. Е. Щеголев одну из глав своего исследования о Каховском. В этой главе с присущей ему остротой автор набросал выразительную характеристику «царя-сыщика»: «За ничтожнейшими исключениями, все декабристы побывали в кабинете дворца, перед ясными очами своего царя и следователя... Напряженно волнуясь, ждал их в своем кабинете царь и подбирал маски, каждый раз новые для нового лица. Для одних он был грозным монархом, которого оскорбил его же верноподданный; для других — таким же гражданином отечества, как и арестованный, стоявший перед ним; для третьих — старым солдатом, страдающим за честь мундира; для четвертых — монархом, готовым произнести конституционные заветы; для пятых — русским, плачущим над бедствиями отчизны и страстно жаждущим исправления

всех зол. А он на самом деле не был ни тем, ни другим, ни третьим: он просто боялся за свое существование и неутомимо искал всех нитей заговора с тем, чтобы все эти нити с корнем вырвать и успокоиться». <sup>289</sup>

К этой характеристике можно прибавить одно: не только за свое существование боялся Николай, — он трепетал за судьбу самодержавной монархии, считая, что призвание русских царей — всеми силами поддерживать и охранять ее здание. «Революция на пороге России, — сказал он под впечатлением первых допросов деятелей тайного общества, — но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока, божьей милостью, я буду императором». А тем из декабристов, для которых Николай надевал маску царя-реформатора, он говорил с недоумением и горестью: «Зачем вам революция? Я сам вам революция: я сам сделаю все, что вы стремитесь сделать революцией». <sup>290</sup> И это говорилось таким тоном, что многие принимали слова царя за чистую монету и вся их революционная деятельность начинала осознаться ими как жестокая историческая ошибка.

Мы не знаем и не узнаем никогда, о чем говорил Николай с Рылеевым. Мы не знаем, но можем догадаться, в какой из своих многообразных масок появился царь перед ним. Это не была страшная маска разгневанного громовержца, это была обманчивая личина милосердного судии и первого гражданина своего отечества. Показания Рылеева, видимо, произвели благоприятное для него впечатление на царя и определили выбор соответствующей тактики следствия. Запугать Рылеева было трудно, но растрогать и размягчить — легко. Если в мимолетном споре с Толем Рылеев еще оставался самим собой, то после свидания с царем его не стало. Все дальнейшее свидетельствовало о постепенной капитуляции Рылеева-декабриста.

Напротив Зимнего дворца, по ту сторону Невы, куранты Петропавловской крепости сыграли мелодию «God save the King» и пробили двенадцать. Ровно в полночь августейший следователь собственноручно начертил следующее предписание коменданту крепости генералу-отинфантерии Сукину: «Присылаемого Рылеева посадить в Алексеевский рavelин, но не связывая рук; без всякого сообщения с другими; дать ему и бумагу для письма и что будет писать ко мне собственноручно [мне] приносить ежедневно. Николай». <sup>291</sup>

Сумрачный генерал Сукин, старик на деревянной ноге, отрывисто приветствовал Рылеева стереотипной фразой: «Я получил высочайшее повеление содержать вас в крепости» — и передал его плац-майору Подушкину, лысому толстяку с красным от вина лицом. Плац-майор завязал Рылееву «по форме» глаза платком и повел его в камеру. Отныне он стал для тюремного начальства не «сочинителем» и не «отставным подпоручиком» Рылеевым, а преступником № 17 — по месту своего заключения в Алексеевском равелине.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### 1

Отправляя Рылеева в крепость, Николай I позволил ему писать оттуда прямо на его имя. Царь не обманулся в своих ожиданиях. Уже через день, 16 декабря, Рылеев исписал три больших листа бумаги, обстоятельно развивая свои первые показания. В этом письме к императору он упоминал о приезде Пестеля в Петербург и его переговорах с членами Северной Думы, высказывал «догадку», что Пестель «должен быть начальником Южного общества» и что Трубецкой «и там играет важную роль». Повествуя о днях, предшествовавших четырнадцатому декабря, Рылеев вновь утверждал, что Северное общество рассчитывало бескровным путем добиться введения в России «представительного образа правления, свободы книгопечатания, открытого судопроизводства и личной безопасности». В заключение Рылеев просил царя об «одной милости»: быть великодушным к его товарищам, и кончал письмо словами: «Свою судьбу вручаю тебе, государь: я — отец семейства». <sup>202</sup>

Последняя фраза оказалась роковой для Рылеева-декабриста. Николай расчетливо пожелал сразить его своими благодеяниями — и это ему удалось.

18 декабря Рылееву было разрешено переписываться с женой. На первый раз он послал ей коротенькую записочку: «Уведомляю тебя, друг мой, что я здоров. Ради бога, будь покойна. Государь милостив. Положись на бога и молись. Настеньку благословляю. Уведомь меня о своем и ее здоровье. Твой друг К. Рылеев». <sup>203</sup>

Ответ пришел через день: жена сообщала ему, что

вслед за его запиской она получила 2 000 рублей от императора и позволение посылать мужу белье. «Милосердие государя и поступок его с тобою потрясли душу мою...», — писал Рылеев жене 23 декабря. Накануне этого числа, в самый день именин Настеньки, Наталья Михайловна получила еще тысячу рублей — от императрицы Александры Федоровны. Рылеева поражена «состраданием ангелоподобного государя» и «необъяснимыми» щедротами «добродетельнейшей» императрицы. Узнав об этом, Рылеев пишет: «Я мог заблуждаться, могу и вперед, но быть неблагодарным не могу». <sup>204</sup> Эти строки знаменательны: они как бы свидетельствуют о внутренней борьбе, переживаемой Рылеевым. Зная, что письма его читаются посторонними, прежде чем попасть в руки жены, он не может иначе говорить о своих политических взглядах, как о «заблуждениях». Признание, что *заблуждаться он может и впредь*, отнюдь не означает отречения от них. Но верность своим политическим убеждениям борется в нем с чувством личной благодарности.

Тем временем открыл свои заседания в Зимнем дворце «высочайше учрежденный Тайный комитет для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества». 19 декабря Рылеев был доставлен во дворец «с надежным чиновником». Его спрашивали, не имело ли тайное общество каких-либо сношений с иностранными государствами, а также с отдельными членами сената и Государственного совета. Из вопросов Комитета Рылеев мог заключить, что в соучастии с тайным обществом подозревается Мордвинов. Ответы Рылеева ничем не подтвердили этого подозрения. <sup>205</sup>

С 23 декабря Комитет приступил к допросам обвиняемых в помещении коменданта Петропавловской крепости. Первым допрашивался Трубецкой. На следующий день в Комитет был вызван Рылеев и «показал обильный материал». <sup>206</sup> Допросы устные и письменные повторялись с тех пор неоднократно вплоть до середины мая.

В начале апреля Рылеев снова написал царю. На этот раз он решительно заявлял о своей руководящей роли в Северном обществе и открыто заступался за своих товарищей. «Я виновнее их всех; я, с самого вступления моего в Думу Северного общества, упрекал их в недеятельности; я преступною ревностью своею был для них самым гибельным примером, словом, я погубил их; через меня

пролилась невинная кровь. Они, по дружбе своей ко мне и по благородству не скажут сего, но собственная совесть меня в том уверяет. Прошу тебя, государь, прости их... Казни меня одного...»<sup>297</sup>

При всей откровенности своих показаний Рылеев однако упорно умалчивал об одном: о своем личном участии в цареубийственных замыслах и о своем согласии на республику. Чувствовал ли он, что признание в этом может стать главным отягчающим обстоятельством для «силы его вины», или же просто язык не поворачивался быть до конца откровенным перед царем, обезоружившим его своими «милостями», — сказать трудно. Как бы то ни было, если Николай выступал перед Рылеевым в маске, то и сам Рылеев показывался перед ним в полумаске. С самого первого допроса он старался внушать своим следователям, что кровопролитие не входило в планы Северного общества. Но Рылеев принадлежал к числу тех декабристов, о которых один из историков выразился так: они «были слишком горды, чтобы лгать даже и на следствии».<sup>298</sup> Он опасался не столько за свою судьбу, сколько за то, что его могут упрекнуть в малодушии и лжи; он мог умалчивать, но не хотел лгать. Психологически понятно, что ему было тяжело сознаться именно Николаю в своих помыслах о цареубийстве, и все же 24 апреля, когда «высочайше учрежденный Комитет» предъявил Рылееву ряд уличающих его свидетельств других лиц, он «со свойственной ему откровенностью» показал: «13 декабря ввечеру я, действительно, предлагал Каховскому убить ныне царствующего государя и говорил, что это можно исполнить на площади... Поутру того дня, долго обдумывая план нашего предприятия, я находил множество неудобств к счастливому окончанию оного. Более всего страшился я, если ныне царствующий государь не будет схвачен нами, думая, что в таком случае непременно последует междоусобная война. Тут пришло мне на ум, что для избежания междоусобия должно принести его на жертву, и эта мысль была причиною моего злодейского предложения... В заключение, дабы совершенно успокоить себя, я должен сознаться, что после того, как я узнал о намерениях Якубовича и Каховского, мне самому часто приходило на ум, что для прочного введения нового порядка вещей необходимо истребление всей царствующей фамилии. Я полагал, что убиение одного императора не только не произве-



дет никакой пользы, но, напротив, может быть пагубно для самой цели общества, что оно разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев августейшей фамилии, и что все это совокупно неминуемо породит междоусобие и все ужасы народной революции. С истреблением же всей императорской фамилии, я думал, что поневоле все партии должны будут соединиться или, по крайней мере, их легче можно будет успокоить. Но сего преступного мнения, сколько могу припомнить, я никому не открывал, да и сам наконец решительно обратился к прежней мысли своей, что участь царствующего дома, а равно и то, какой образ правления ввести в России, в праве только решить Великий Собор, что постоянно и старался внушать всем известным мне членам». <sup>299</sup> Последней оговоркой Рылеев безуспешно старался смягчить впечатление от только что сделанного показания.

Итак, главное признание, которого ожидал от Рылеева Комитет, сделано. С этого дня основной следственный материал «об отставном подпоручике Рылееве» уже собран. Остается дополнить этот материал очными ставками. Начиная с первых чисел мая Рылеев выдерживает ряд тягостных очных ставок: с Трубецким, Каховским, Александром Бестужевым, Завалишиным, Торсоном, Щепиным-Ростовским, Арбузовым. «Вид Рылеева сделал на меня печальное впечатление, — вспоминал впоследствии Трубецкой, — он был бледен чрезвычайно и очень похудел: вероятно, мой вид сделал на него подобное же впечатление... По соглашению предмета, по которому была у нас очная ставка, князь А. Н. Голицын вступил с Рылеевым и со мной в частный разговор и продолжал его некоторое время в таком тоне, как будто мы были в гостинной, даже с приятным видом и удыбкой, так что, вопреки всем дотоле бывшим убеждениям, пришла мне мысль, что, вероятно, князю Голицыну известно, что дело наше не так худо кончится; что религиозный человек, каким он издавна почитался, не мог бы так весело разговаривать и почти шутить с людьми, обреченными смерти. Разговор князя Голицына касался различных предположений Рылеева, Пестеля, моих относительно временного правления, в случае, если б попытка наша удалась». <sup>300</sup>

Рылеев, впрямую с Трубецкому, ничуть не обольщался насчет суровости ожидающего их наказания. Продолжая переписываться с женой, он старается заблаговременно

устроить хозяйственные дела семьи и осторожно подготавливает Наталью Михайловну к долгой, если не вечной, разлуке.

«Ты пишешь, мой друг: *распоряжайся — мне ничего не нужно*. Как жестоко сказано! Неужели ты можешь думать, что я могу существовать без тебя? Где бы судьба ни привела тебе быть, я всюду следую с тобою. Нет, одна смерть может разорвать священную связь супружества. У нас есть дочь; мы должны вместе разделять участь, постигшую нас, и общим попечением стараться о будущей ее судьбе — вот все, чем я могу себя утешать в моем несчастье; иначе я не переживу; ты знаешь мои *чувствования*». <sup>301</sup> Читая эти строки жены, вспомнил ли Рылеев воспетую им подругу Войнаровского?

...Тяжко было ей  
Не разделять со мной страданье.  
Она могла, она умела  
Гражданкой и супругой быть...

Как ни радостно было видеть, что образы любимых им героинь супружеского долга оживают в образе его собственной жены, Рылеев заранее не соглашался на то, чтобы она разделяла с ним его участь.

Иногда в письмах Натальи Михайловны попадалось несколько слов, написанных нетвердым детским почерком: «Любезный папинька, цалую вашу ручку; приезжайте поскорее, я по вас соскучилась; поедemте к бабиньке». <sup>302</sup> Настенька долгое время думала, что отец ее уехал в Москву.

Сердце щемило при виде этих детских каракулек...

Таковыми же горько-отрадными были и некоторые другие впечатления казематной жизни.

С наступлением весны заключенным были разрешены прогулки. Во внутреннем треугольном дворе Алексеевского равелина находился маленький сад, куда по очереди и не каждый день водили гулять арестантов. Часы прогулок были строго распределены. Очередь Рылеева приходилась вечером.

Однажды, когда Рылеев шел по коридору, дверь в пятнадцатый номер, где сидел Николай Бестужев, оказалась открытой: тюремный служитель выносил в эту минуту из камеры столовую посуду. «Мы увидели друг друга, —

вспоминает Бестужев, — этого довольно было, чтоб вытолкнуть ефрейтора, броситься друг другу на шею и поцеловаться после столь долгой разлуки. Такой случай был эпохой в Алексеевском равелине, где тайна и молчание, где подслушиванье и надзор не отступают ни на минуту от несчастных жертв, заживо туда похороненных...»<sup>303</sup>

В другой раз, гуляя по саду, Рылеев сорвал несколько сочных кленовых листьев. Ему пришла мысль подать о себе весть через посредство этих листьев заключенному в том же Алексеевском равелине Оболенскому. Переписка между арестантами была строго-настрого запрещена. Все же некоторые декабристы, благодаря сочувствовавшим их несчастью сторожам, изредка обменивались записочками. Так, еще в январе, узнав о снятии кандалов с Оболенского, Рылеев послал ему привет в стихах. Оболенский не мог ему ответить: у него не было ни бумаги, ни чернил, ни пера. С тех пор прошло несколько томительных месяцев, и Оболенский ничего не получал от Рылеева. Но зато как велика была его радость, когда он снова увидел почерк поэта! Вот как рассказывает об этом сам Оболенский: «Раз добрый наш сторож приносит два кленовых листа и осторожно кладет в глубину комнаты, в дальний угол, куда не проникает глаз часового. Он уходит. Я спешу к заветному углу, подымаю листья и читаю:

Мне тошно здесь, как на чужбине.  
Когда я сброшу жизнь мою?  
Кто даст крыле мне голубине,  
Да полечу и почию.  
Весь мир, как смрадная могила!  
Душа из тела рвется вон.  
Творец! Ты мне прибежище и сила,  
Вонми мой вопль, услышь мой стон:  
Принякни на мое моление, —  
Вонми смиренню души,  
Пошли друзьям моим спасенье,  
А мне даруй грехов прощенье  
И дух от тела разрешни.

Кто поймет сочувствие душ, то невидимое соприкосновение, которое внезапно объемлет душу, когда нечто родное, близкое коснется ее, тот поймет и то, что я почувствовал при чтении этих строк. То, что мыслил, чувствовал Кондратий Федорович, сделалось моим, его болезнь сделалась моею, его уныние усвоилось мне, его вопиющий голос вполне отразился в моей душе... У меня была тол-

стая игла и несколько клочков серой оберточной бумаги. Я накальывал долго, в возможно-сжатой речи, все то, что пришлось под непокорное орудие моего письма, и, потрудившись около двух дней, успокоился душой и передал свои строки тому же доброму Никите Нефедьеву. Ответ не замедлил...»

Рылеев прислал Оболенскому, записку, из которой видно, насколько отраднo было для него ободряющее дружеское слово: «...Давно ли ты, любезный друг, так мыслишь; скажи мне, чужое ли это или твое? Ежели это река жизни изливается из души твоей, то чаще ею животвори твоего друга. Чужое ли оно или твое, но оно уже мое, так как и твое, если чужое...»<sup>304</sup> Видимо, письмо Оболенского носило отвлеченный характер, и Рылеев воспринял его как цитату из какого-нибудь религиозно-нравственного сочинения.

Вслед за запиской вновь появились кленовые листья со стихами:

О, милый друг, как вятен голос твой,  
Как утешителен и сердцу сладок!

На этот раз Рылеев прислал довольно большое стихотворение, окрашенное, как и первое, в религиозно-мистические тона. Состояние душевной подавленности делает Рылеева доступным настроениям религиозного всепрощения и отречения от всего земного. Эти настроения поддерживаются беседами с посещавшим декабристов священником Петром Мысловским. Но знаменательно, что такие настроения сочетаются в последних стихах Рылеева с мотивами исповедничества и мученичества. Едва ли не прав современный исследователь творчества поэта, «угадывающий в этих мотивах «пассивное сопротивление мучителям и готовность умереть за свои убеждения»:»<sup>305</sup>

И плоть и кровь преграды вам поставит,  
Вас будут гнать и предавать,  
Осмевать и дерзостью бесславить,  
Торжественно вас будут убивать.  
Но тщетный страх не должен вас тревожить,  
И страшны ль те, кто властен жизнь отнять  
И этим зла вам причинить не может?

К концу мая 1826 года следствие над декабристами закончилось. 1 июня Николай подписал указ о назначении Верховного уголовного суда, которому преданы были 121 человек. Более семидесяти членов Государственного совета, синода, сената и особо назначенных чиновников составляли Верховный уголовный суд. Фактически верховным судьей декабристов был сам император, до последнего дня и до мельчайших подробностей вникавший в ход дела. Все остальные судьи в большей или меньшей степени являлись лишь послушными исполнителями предначертаний царя. Ближайшим же и главным его подручным в суде над декабристами был Сперанский.

Деятели тайного общества прочили Сперанского, наряду с Мордвиновым и Ермоловым, в члены временного правительства. В какой мере был посвящен Сперанский в их планы — неизвестно. Если верить Батенкову, то расчеты на Сперанского не были лишены оснований. Следственный материал, однако, не заключал никаких веских улик против него. Но нет дыма без огня, и «тьма подозрения» легла на этого популярного в оппозиционных кругах государственного деятеля.

В одном из своих исторических этюдов Щеголев осветил роль Сперанского в Верховном уголовном суде. Он, по словам историка, «разработал до последней ниточки всю процессуальную сторону дела, набросал программу всех действий суда, определил все направление деятельности суда как по форме, так и по существу. Это он подвел юридический фундамент под это дело, собрав все прецеденты и все подходящие пункты и статьи из старых указов и законов». Его царственный повелитель знал, что делал, когда поручил Сперанскому всю черную работу в этом судопроизводстве: он понимал, «что при распределении вины, при назначении наказаний, Сперанский при всем желании быть мягким, несомненно, усугубит строгость, ибо малейшее снисхождение с его стороны было бы истолковано как свидетельство о сочувственном отношении Сперанского к декабристам, а вся дальнейшая жизненная и служебная карьера Сперанского возможна была только под условием решительно доказанного отсутствия каких-либо отношений и сношений его с мятежниками».<sup>306</sup> И Сперанский педантически-добросовестно выполнил воз-

ложенную на него задачу, и только дочь слышала по ночам его глухие рыдания...

6 июня Николай писал цесаревичу Константину:

«...В четверг (3 июня. — К. П.) начался суд, со всей добавочной обрядностью. Заседания идут без перерыва с 10 часов утра до 3 пополудни; несмотря на это, я еще не знаю, к какому приблизительно числу это может кончиться. Затем последует казнь — ужасный день, о котором я не могу думать без содрогания. Предполагаю произвести ее на эспланаде крепости». <sup>307</sup>

Через несколько дней после открытия заседаний Верховного уголовного суда Рылеев был отведен в то же помещение, где снимала допросы следственная комиссия. На этот раз другие, незнакомые лица предъявили Рылееву его же собственные показания и задали три вопроса: его ли рукою подписаны эти бумаги, добровольно ли подписаны и были ли даны ему очные ставки? На утвердительный ответ последовало предложение: «Вот подписка, заготовленная в соответствующем смысле относительно поставленных трех вопросных пунктов, прочтите и подпишите». Рылеев подписал.

Никто из подсудимых не подозревал, что означала эта формальность. На вопрос заключенных только отвечали: «Государю угодно проверить беспристрастие действий комитета». <sup>308</sup>

Прошло два-три дня, и Рылеева снова вызвали в комендантский дом. Там ожидали его жена и дочь.

Давно уже добивался Рылеев свидания с женой, давно безуспешно просила о том же Наталья Михайловна. Эту высшую «милость» царь приберегал до того времени, когда закончится следствие. Наконец дежурный генерал Потапов уведомил Наталью Михайловну Рылееву о том, что ей дозволено свидание с мужем.

Как всегда в таких случаях, горька была радость встречи. Трудно было наговориться, особенно в присутствии хромоногого Сукина. Рылеев был «сильно расстроен». Три четверти часа пролетели, как «сон или мечта». Тем временем на козлах коляски, ожидавшей мать и дочь Рылеевых, «кучер Петр... громко рыдал и приговаривал, как это водится в деревнях по умершем». <sup>309</sup>

Хотя заседания суда и протекали в тайне от подсудимых, смутные сведения об ожидающих их карах как-то проникли сквозь толщу стен Алексеевского рavelина. Воз-

можно, что слух об этом занес к Рылееву священник Мысловский. Николай Бестужев свидетельствует, будто, узнав «о действиях Верховного уголовного суда», Рылеев разосла всем своим товарищам записку, начинающуюся такими словами: «Красные кафтаны (то есть сенаторы) горячатся и присудили нам смертную казнь; но за нас бог, государь и благомыслящие люди». Вряд ли Рылеев мог писать ко всем узникам, но записку подобного же содержания получил от него и Трубецкой.<sup>810</sup>

«История должна признать, что Верховный уголовный суд не судил, а осудил декабристов, обреченных уже предварительно на жертву», — так охарактеризовал деятельность суда историк николаевского царствования Шильдер.<sup>811</sup> Подсудимые только однажды (8—9 июня) видели членов ревизионной комиссии, отбиравшей у них подписку в точности и добровольности их показаний. Перед полным составом суда декабристы предстали тогда, когда судебное разбирательство — если можно его так назвать — уже было закончено.

В первых числах июля Верховный уголовный суд вынес приговор. Тридцать шесть человек были приговорены к смерти, остальные — к разным видам наказаний. Из всех членов суда только один подал свой голос против смертной казни. Это был тот, кому Рылеев недаром посвятил свою оду «Гражданское мужество», это был Мордвинов.

9 июля царь получил «всеподданнейший доклад» суда с приложенной к нему «Росписью государственным преступникам, ...осужденным к разным казням и наказаниям». Суд разделил всех лиц, привлеченных к ответственности «по делу о тайных злоумышленных обществах», на одиннадцать разрядов. Пять человек было поставлено *вне разрядов* и присуждено к смертной казни четвертованием: полковник Пестель, подпоручик Рылеев, подполковник Сергей Муравьев-Апостол, подпоручик Бестужев-Рюмин и поручик Каховский. Преступления Рылеева были определены следующим образом: «Умышлял на цареубийство; назначал к совершению одного лица; умышлял на лишение свободы, на изгнание и на истребление императорской фамилии и приуговаривал к тому средства; усилил деятельность Северного общества; управлял оным, приуговаривал способы к бунту, составлял планы, заставлял сочинить манифест о разрушении правительства; сам сочинял и распространял возмутительные песни и стихи и принимал

членов; приуговаривая главные средства к мятежу и начальствовал в оных; возбуждал к мятежу нижних чинов чрез их начальников посредством разных обольщений и во время мятежа сам приходил на площадь». <sup>312</sup>

На следующий день, указом Верховному уголовному суду, император заменил смертную казнь преступникам первого разряда вечной или двадцатипятилетней каторжной работой, а также «немного убавил степень наказания» лицам, отнесенным к некоторым другим разрядам. О пяти главных преступниках в этом указе написано так: «Наконец участь преступников, ...кой по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов и вне сравнения с другими, предаю решению Верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится». Так Николай, по собственным словам, «отстранял от себя всякий смертный приговор». <sup>313</sup>

Император продолжал лицемерить и скрывать подлинное выражение своего лица под маской гадливости к ремеслу палача. Только что был подписан им упомянутый указ о «пощадах», как начальник Главного штаба барон И. И. Дибич послал председателю Верховного уголовного суда князю П. В. Лопухину следующее разъяснение относительно участи пяти внеградных преступников: «На случай сомнения о виде их казни, какая сим судом преступникам определена быть может, государь император повелеть мне соизволил предварить вашу светлость, что его величество никак не соизволяет не токмо на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлением свойственную, ни даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую смертную казнь, с пролитием крови сопряженную». <sup>314</sup>

После подобного добавления к указу сомневаться в монаршей воле насчет «вида казни» не приходилось...

Утром 12 июля заключенный в Кронверкской куртине Розен увидел сквозь частую решетку в окне своей камеры, как на крепостном валу плотники то подымали, то опускали какие-то два столба. Потом они ушли, оставив обтесанные бревна на валу. <sup>315</sup>

В тот же день все декабристы, распределенные по разрядам, были собраны в комендантском доме. Около часу открылось заседание Верховного уголовного суда.

Первыми были введены в залу пять государственных преступников, поставленных вне разрядов. В небольшой



длинной комнате было душно. Июльское солнце палило в стекла наглухо закрытых окон. Напротив окон, за столом в виде подковы, покрытым красным сукном, расположились члены суда: в середине — духовные, направо — военные, налево — гражданские. Перед столом возвышались зеркало и налож. Никогда, быть может, зеркало правосудия не было столь искаженным, как в этот раз. Декабристы даже не знали, что их уже судят. И вот, оказывается, их собрали только затем, чтобы они выслушали сентенцию.

Белокурый щеголеватый чиновник, приняв из рук обер-прокурора сената соответствующие листы «Росписи», разложил их на налож и приступил к чтению. Звонким голосом, подчеркивая запятые и точки, он огласил «главные виды преступлений» каждого из пяти декабристов, приговоренных к четвертованию. Затем прочитал решение суда о «смягчении» этого первоначального приговора: «Верховный уголовный суд, по выслушании высочайшего именного указа в 10 день июля сему суду данного, положили: поелику XIII-юю статьею сего высочайшего указа его императорское величество всемилостивейше соизволил участь преступников, в оном непоименованных, кон по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов и вне сравнения с другими, предать решению Верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится, то, сообразуясь с высокоименным милосердием, в сем деле явленным смягчением казней и наказаний, прочим преступникам определенных, Верховный уголовный суд по высочайше предоставленной ему власти приговорили: вместо мучительной смертной казни четвертованием, Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михаилу Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому приговором суда определенной, — сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить».<sup>316</sup>

В тесной зале суда, где все двери и окна охранялись караульными и откуда для пяти избранников был отныне только один выход — на место казни, с особенной отчетливостью прозвучало последнее слово — *по-ве-сить!*

Под любопытными взглядами членов суда, испытующе вперивших в осужденных свои лорнеты и зрительные трубки, Рылеев выслушал приговор спокойно. Ни один мускул в лице его не дрогнул.

Из зала суда Рылеев был отведен не в Алексеевский рavelин, а в Кронверкскую куртину и помещен на несколько часов в каземате № 14.

Заутра казнь...

Вникавший в мельчайшие подробности предстоящего исполнения сентенции над декабристами, император потрудился собственноручно написать барону Дибичу и подсказать ему час казни: «Я считаю в 4 часа утра; так чтобы от 3 до 4 часов могла кончиться обедня и их можно было бы причастить».<sup>317</sup>

Когда Рылеев узнал, что жить ему остается менее суток, у него мелькнула мысль просить о свидании с женой. Но если прошлая встреча была так тяжела, то каково же будет отрываться друг от друга перед вечной разлукой! Рылеев почувствовал, что ему нужно до конца владеть самим собою. Отказываясь от последнего прощания с женой, он щадил не только ее, но и себя.

В семь часов вечера пришел священник исповедывать приговоренных к смерти. По его уходе тюремные служители принесли каждому саван и кандалы. В Кронверкской куртине «номера» были отделены друг от друга дощатыми перегородками, и начальство следило за тем, чтобы узники не переговаривались между собою. Несмотря на это, Сергей Муравьев-Апостол продолжал через перегородку убеждать своего друга Бестужева-Рюмина «не предаваться отчаянию, а встретить смерть с твердостью, не унижая себя перед толпой, которая будет окружать его, встретить смерть как мученику за правое дело России, утомленной деспотизмом, и в последнюю минуту иметь в памяти справедливый приговор потомства».<sup>318</sup>

Куранты на крепостных часах сыграли обычную мелодию и пробили двенадцать. Наступило 13 июля.

В последний раз Рылеев писал жене:

«Бог и государь решили участь мою: я должен умереть и умереть смертью позорною. Да будет его святая воля! Мой милый друг, предайся и ты воле всемогущего, и он утешит тебя. За душу мою молись богу. Он услышит твои молитвы. Не ропщи ни на него, ни на государя: это будет и безрассудно и грешно. Нам ли постигнуть неисповедимые суды непостижимого? Я ни разу не возроптал во все время моего заключения и за то дух святой дивно

утешал меня. Подивись, мой друг, и в сию самую минуту, когда я занят только тобою и нашею малюткою, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе. О, милый друг, как спасительно быть христианином! Благодарю моего создателя, что он меня просветил и что я умираю во Христе. Это дивное спокойствие порукою, что творец не оставит ни тебя, ни нашей малютки. Ради бога, не предавайся отчаянию, ищи утешения в религии. Я просил нашего священника посещать тебя. Слушай советов его и поручи ему молиться о душе моей. Отдай ему одну из золотых табакерок в знак признательности моей или, лучше сказать, на память, потому что возблагодарить его может только один бог за то благодеяние, которое он оказал мне своими беседами. Ты не оставайся здесь долго, а старайся кончить скорее дела свои и отправься к почтеннейшей матушке. Проси ее, чтобы она простила меня; равно всех родных своих проси о том же. Катерине Ивановне и детям ее кланяйся и скажи, чтобы они не роптали на меня за М.(ихайла) П.(етрови-ча)\* — не я его вовлек в общую беду. Он сам это засвидетельствует. Я хотел было просить свидания с тобою, но раздумал, чтоб не расстроить себя. Молю за тебя и Настеньку и за бедную сестру бога и буду всю ночь молиться. С рассветом будет у меня священник, мой друг и благодетель, и опять причастит. Настеньку благословляю мысленно нерукотворным образом спасителя и поручаю всех вас святому покровительству живого бога. Прошу тебя, более всего заботься о воспитании ее. Я желал бы, чтобы она была воспитана при тебе. Старайся перелить в нее свои христианские чувства — и она будет счастлива, несмотря ни на какие превратности в жизни, и когда будет иметь мужа, то осчастливит и его, как ты, мой милый, мой добрый и неоцененный друг, счастливила меня в продолжении восьми лет. Могу ли, мой друг, благодарить тебя словами: они не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за все. Почтеннейшей Прасковье Ивановне\*\* моя душевная, искренняя, предсмертная благодарность».

Рылеев прервал письмо. Оно перешло уже за третью страницу.

...Звук отпираемого замка вывел Рылеева из его раз-

\* М. П. Малютин, родственник Рылеевых, замешанный в восстании 14 декабря 1825 года.

\*\* П. И. Устинова, друг семьи Рылеевых.

мышлений. Вошел плац-майор Подушкин с фейерверкером Соколовым и объявил, что через полчаса надо итти. Пока Рылееву надевали на ноги кандалы, он торопливо приписал к своему письму: «Прощай! Велят одеваться. Да будет его святая воля. Твой истинный друг К. Рылеев».

Затем он прибавил: «У меня осталось здесь 530 р. Может быть, отдадут тебе».

Он сложил письмо и надписал: «Наталье Михайловне Рылеевой». В последний раз написал имя жены. Но тут рука его слегка дрогнула, и большое чернильное пятно расплозлось по бумаге...<sup>319</sup>

Фейерверкер Соколов смотрел на Рылеева с удивлением: идущий на смерть казался совершенно спокойным. Отломил кусочек булки, запил водою, словно хотел подкрепить свои физические силы для предстоящего испытания. Простился со своими тюремщиками. Благословил на все четыре стороны — тех, кого оставлял здесь: жену, дочь, друзей, Россию...

Потом сказал: «Я готов итти!»

Он прошел по коридору, тяжело бряцая цепями и громко обращаясь к запертым дверям тюремных камер: «Простите, простите, братья!»<sup>320</sup>

Звуд павловских гренадеров сопровождал пятерых осужденных в крепостную церковь. Там для них была отслужена обедня.

...Дробь барабанов раздавалась в разных частях города. Наряд от каждого полка должен был присутствовать при исполнении приговора. Жителям о месте и часе казни не объявляли, но смутные слухи о ней ходили среди населения. На барабанный бой ко рву Петропавловской крепости собралась негустая толпа. Из тех, кого знал Рылеев, тут были Дельвиг и Греч.

Сначала была произведена экзекуция над теми декабристами, которым предстояла ссылка на каторгу или на поселение. Над их головами ломали шпаги, с военных срывали эполеты, знаки отличия и мундиры. На всех осужденных надевали полосатые халаты. Все подвергавшиеся экзекуции были спокойны. Некоторые обменивались шутками, видя друг друга в таком странном наряде и, быть может, намеренно рисуясь своим самообладанием перед лицом палачей. За исполнением сентенции наблюдали петербургский военный генерал-губернатор Голенищев-Кутузов и генерал-адъютанты Бенкендорф и Чернышов.

Когда гражданская казнь закончилась, из крепости вывели пятерых. Впереди шел Каховский, за ним Сергей Муравьев-Апостол с Бестужевым-Рюминым, позади Рылеев с Пестелем. Их сопровождал священник Мысловский.

В утренней мгле мрачным призраком выступали столбы с перекладной. Виселица... На четырех кострах, разведенных поблизости, догорали разноформенные мундиры, чернели ордена и шпаги. Тех, кто носил их, здесь уже не было: их увели обратно в крепость.

Подходя к месту казни, все пятеро были «очень спокойны, только очень серьезны, точно обдумывали какое-то важное дело». «Положите мне руку на сердце, — сказал Рылеев священнику, — и посмотрите, бьется ли оно сильнее прежнего».

Осужденным снова прочли приговор. Они приблизились друг к другу и поцеловались, прощаясь навеки. Затем повернулись спинами и пожали друг другу скрученные назад руки. Потом поднялись на скамейки. Исполнители казни нахлобучили им на головы колпаки, закрывавшие все лицо, и туго затянули веревки на шеях.

Но произошло неожиданное и страшное...

В ту самую минуту, как скамейки были выбиты из-под ног повешенных, веревки у троих оборвались, и они рухнули в яму, вырытую под виселицей, продавив доски помоста «тяжестью своих тел и оков». Эти трое были: Рылеев, Каховский и Бестужев-Рюмин.

Окровавленные, в свалившихся колпаках, бледные от боли и ужаса, они смотрели из ямы. Над ними «вертелись на веревках в предсмертных конвульсиях» два несчастных их товарища. Но в этот миг они, живые, были несчастнее тех.

Глухой ропот пробежал в толпе зрителей; послышался шопот и в рядах солдат: «Видно, бог не хочет их казни». Красный от ярости, Голенищев-Кутузов неистовым голосом закричал палачам: «Вешайте, вешайте их снова, скорее!»

Но запасных веревок под руками не было, и казнь замедлилась, пока исправляли помост и посылали за новыми веревками.

Бестужев-Рюмин так сильно ушибся, что не мог идти. Пришлось вести его под руки навстречу второй смерти.

Пятый час утра был уже на исходе. Мерный бой барабанов отсчитывал последние минуты страдальцев.

Войска, присутствовавшие при казни, и народ — там, за оном — расходились в молчании.

...Бывший поручик Финляндского полка Розен, ныне приговоренный к лишению чинов и дворянства и к ссылке в каторжную работу на десять лет, был помещен после экзекуции в 14-й номер Кронверкской куртины. На его вопрос, кто до него содержался в этом номере, ему сказали, что здесь провел свои последние часы Рылеев. «Я вступил туда, как в место освященное, — рассказывает Розен в своих записках, — молился за него, за жену его, за дочь Настеньку... Из оловянной кружки пил я не допитую им воду»<sup>321</sup>, — пил с благоговением, словно эта оловянная кружка была источником *воды живой*.

Император еще накануне уехал в Царское Село и там ожидал известия о казни. 13 июля утром он вышел в парк, подошел к озеру и, нервный и возбужденный, стал бросать в воду платок, заставляя свою собаку доставать его оттуда. В это время прибежал камер-лакей и что-то сказал царю. Николай поспешными шагами направился во дворец.

Фельдъегерь, примчавшийся из Петербурга, вручил императору донесение Голенищева-Кутузова: «Экзекуция кончилась с должною тишиной и порядком».<sup>322</sup>

## ЭПИЛОГ

День, когда смерть роковой петлей сдавила горло Рылеева, стал днем зарождения рылеевской легенды. Возникнув из обычной противоречивости рассказов очевидцев, с разными подробностями излагавших обстоятельства казни, она развилась и утвердилась, благодаря стремлению духовных наследников Рылеева канонизировать в его лице образ «вольного славянина» и безусловно стойкого революционера.

Декабристы запомнили Рылеева таким, каким они видели его на собраниях тайного общества, — таким, каким он был в незабываемые преддекабрьские дни, когда рвался в битву и увлекал других за собою. Им казалось, что иным, сложившим оружие, он и быть не мог. Отсюда — то романтическое освещение, в котором под пером декабристов выступает поведение Рылеева на следствии, в тюрьме и на месте казни.

«Рылеев старался перед Комитетом выставить общество и дела оного гораздо важнее, нежели они были в самом деле, — пишет, например, Николай Бестужев. — Он хотел придать весу всем нашим поступкам и для того часто делал такие показания, о таких вещах, которые никогда не существовали». Однако, в действительности, Рылеев доказывал своим следователям, что общество ничтожно: «Оно не сильно здесь и состоит из нескольких молодых людей». И он не кривил душой, когда говорил: «...Это общество уже погибло вместе с нами!»<sup>323</sup>

Декабрист Цебриков рассказывает в своих воспоминаниях о Кронверкской куртине, как однажды он разобрал на принесенной ему оловянной тарелке нацарапанные гвоздем «последние стихи Рылеева»:

Тюрьма мне в честь, не в укоризну,  
За дело правое я в ней,  
И мне ль стыдиться сих цепей,  
Когда ношу их за отчизну.

Биографы Рылеева справедливо усомнились в достоверности этого четверостишия, до того его «внутренний смысл» не соответствует «тогдашнему настроению Рылеева и всем его письмам и стихам, написанным в крепости»<sup>324</sup>. Ни в одном из них мы не встречаем ничего похожего на переживания воспетых им узников: Хмельницкого, Наливайки, Войнаровского и Воынского.

Рассказывая о казни Рылеева, Николай Бестужев упоминает о том, что «по неловкости палача» его друг вынужден был дважды вытерпеть приготовления к смерти, причем «с таким же равнодушием, как прежде, сказал: им мало нашей казни — им надобно еще тиранство». Иначе звучат последние слова Рылеева в передаче брата Николая Бестужева — Михаила. Екатерина Ивановна Трубецкая и Александра Григорьевна Муравьева, по приезде в Сибирь, будто бы «рассказывали, как достоверное, сделавшееся известным через молодого адъютанта Кутузова, что из трех сорвавшихся поднялся на ноги весь окровавленный Рылеев и, обратившись к Кутузову, сказал: «Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется: вы видите — мы умираем в мучениях». Когда же нечестовый возглас Кутузова: «Вешайте их скорее снова...» — возмутил спокойный предсмертный дух Рылеева, этот свободный, необузданный дух передового заговорщика вспыхнул прежнюю неукротимостью и вылился в следующем ответе: — Подлый опричник тирана! Дай же палачу твои аксельбанты, чтоб нам не умирать в третий раз»<sup>325</sup>. Если Михаил Бестужев точно изложил рассказ Трубецкой и Муравьевой, то непонятно, почему Николай Бестужев им не воспользовался: ведь он не мог его не знать.

Говорил ли Рылеев что-либо у подножия виселицы в ожидании вторичной казни — вопрос открытый. Фразы, приведенные братьями Бестужевыми, театрально эффектны, но психологически маловероятны в устах Рылеева. К тому же существует свидетельство очевидца казни о том, что Рылеев не проронил ни слова.<sup>326</sup>

В сознании декабристов, оставшихся в живых, образ Рылеева сливался с образом его героев — ратников и муче-



ников Свободы. Этот образ неотступно стоял у них перед глазами, вливая в души узников мужество и силу. Недаром Кюхельбекер в стихотворении «Тень Рылеева», написанном в стенах Шлиссельбургской крепости в 1827 году, произносит от лица казненного собрата следующие бодрящие строки:

Блажен и славен мой удел.  
Свободу русскому народу  
Могучим гласом я воспел,  
Воспел и умер за свободу!  
Счастливец, я запечатлел  
Любовь к земле родимой кровью...  
И ты, я знаю, пламенел  
К отчизне чистою любовью.  
Грядущее твоим очам  
Разоблачу я в утешенье...  
Поверь, не жертвовал ты снам:  
Надеждам будет исполненье!

С этими словами Рылеев «бестелесною рукой» раздвигает стены темницы, и перед взорами его заключенного товарища предстает видение России будущего, где царят «свобода, счастье и покой».

Над укреплением рылеевской легенды немало потрудились непосредственные преемники декабристов — Герцен и Огарев. Оба они принадлежали, по словам самого Герцена, к тому поколению, которое было пробуждено к общественной жизни выстрелами пушек на Сенатской площади. Запретные тетрадки с образцами русской политической лирики преддекабрьской поры были для Герцена и Огарева азбукой и молитвенником. Впоследствии, вспоминая о далеких годах «горячих первых упований», Огарев писал:

Везде шептались; тетради  
Ходили в списках по рукам,  
Мы, дети, с робостью во взгляде,  
Звучащий стих, свободы ради,  
Таясь, твердили по ночам.  
Бунт, вспыхнув, замер. Казнь проснулась...  
Вот пять повешенных людей...  
В нас сердце молча содрогнулось,  
Но мысль живая встрепенулась,  
И путь означен жизни всей.

На этот путь Огарев и его друг Герцен вступали рука об руку. И Герцен от чистого сердца мог бы повторить то, что сказал Огарев:

Рылеев мне был первым светом.  
Отец! по духу мне родной —  
Твое название в мире этом  
Мне стало доблестным заветом  
И путеводною звездой!

В годы, когда русская печать стыдливо молчала о государственном преступнике Рылееве, Герцен деятельно собирал литературное наследие поэта-декабриста и посредством своей Вольной русской типографии нарушал запрет, лежавший на его творчестве. Герцену и Огареву первым удалось «вырвать из забвенья» поэзию Рылеева. Благодаря им и «Войнаровский», и «Думы», и некоторые неизданные произведения поэта появились в зарубежных изданиях. Считая себя идейным наследником «фаланги героев» 14 декабря, Герцен демонстративно заявлял в предисловии к первой книжке своей «Полярной Звезды» 1855 года: «Русское периодическое издание, исключительно посвященное вопросу русского освобождения и распространению в России свободного образа мыслей, принимает это название, чтобы показать непрерывность предания, преемственность труда, внутреннюю связь и кровное родство».

Непреклонным борцом за свободу, стойким до конца, умирающим с вызовом на устах, представлялся Рылеев Герцену. В своем негодующем разборе донесения Следственной комиссии Герцен писал: «Поэт с замечательным талантом, которого развитие прекратила казнь, но которого имя всегда останется в русской литературе, Рылеев был один из самых искренних и деятельных членов тайного общества. Ответ его о 14-м декабре: «Честь этого дня принадлежит мне» Комиссия передала так: «Я признаю себя главным виновником происшествий 14 декабря».<sup>327</sup> Герцен не сомневался, что это — заведомое искажение гордого признания Рылеева. Однако обращение к документам процесса показывает, что на сей раз официальная редакция донесения ближе к показаниям Рылеева, чем фраза, приписанная ему Герценом.

Великий поборник русского свободного слова внес свой вклад в рылеевскую легенду. И это глубоко знаменательно: к тому обязывали «внутренняя связь и кровное родство». Знаменательно и то, что именно Герцен закрепляет эту легенду обнародованием воспоминаний Николая Бестужева. В те годы это было необходимо. О декабристах

нужно было писать только так. Нужна была легенда, проникнутая революционизирующей сущностью.<sup>328</sup>

Лишь позднейшее поколение русских революционеров смогло установить правильную историческую перспективу в оценке движения декабристов. В 1912 году, по случаю столетия со дня рождения Герцена, Ленин писал: «Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной Воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой, революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах».<sup>329</sup>

Ленин с изумительной четкостью определил место декабристов в истории русского революционного движения. Драгоценный фактический материал для раскрытия основного положения Ленина — страшной отчужденности декабристов от народа — дают документы следственного дела, впервые обнародованные после Великой Октябрьской Социалистической революции.

«Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа». Глубокая справедливость этого утверждения Ленина становится в особенности разительной на примере Рылеева. Автор агитационных песен, казалось бы, так близко к сердцу принимавший нужды и горести крепостного крестьянства, Рылеев скорее и легче других декабристов мог бы найти общий язык с народом. Но вождь Северного общества страшился народа и не искал союза с ним. Вспомним признание Александра Бестужева относительно агитационных песен, сочиненных им вместе с Рылеевым: «Сначала мы было имели намерение распустить их в народе, но после одумались. Мы более всего боялись народной революции, ибо она не может быть не

кровавопролитна и не долговременна; а подобные песни могли бы оную приблизить». Правда, несмотря на это, агитационные стихи Рылеева просочились если не в народную толщу, то в среду кронштадтских матросов, видимо, перехвативших их со слов офицеров. О боязни «народной революции» говорит в своих показаниях и Николай Бестужев, рассказывая, что тайное общество старалось подготовить людей, способных «направить буйное стремление черни, которая не знает сама, чего она хочет». <sup>330</sup> При этом общество явно опасалось, как бы переворот не «начался с низших сословий», а потому и избегало вести агитацию в народе. Лишь при известии о смерти Александра I Рылеев и Николай Бестужев попытались было воздействовать на умы солдат вымышленным слухом об отмене крепостного права и сокращении срока военной службы, якобы обещанными в завещании царя. Однако в последующие дни декабристы не развили серьезной агитации в войсках, упустив из виду, что солдатам в сущности все равно — Константин или Николай вступит на престол. А вот будет или нет отменено крепостное рабство, будет или нет сокращен срок военной службы — это русскому солдату было далеко не безразлично.

Не сумев привлечь на свою сторону народные массы, опасаясь «бурного стремления черни», декабристы тем самым обрекли на неудачу то дело, которому они служили. Восстание 14 декабря не переросло в революцию. Против самодержавия поднялось «ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа». «Но их дело не пропало», несмотря на разгром восстания. Важно было начало. Вот почему «лучшие люди из дворян помогли разбудить народ». <sup>331</sup>

Одним из таких лучших людей и был поэт-декабрист, поэт-гражданин Кондратий Рылеев.

1945—1946 гг.



## ПРИМЕЧАНИЯ

Некоторые наиболее часто цитирующиеся источники обозначаются в примечаниях сокращенно:

*Б. П.* — К. Рылеев, Полное собрание стихотворений, Л., 1934 («Библиотека поэта», большая серия)

*В. Д.* — Восстание декабристов, Материалы, г. I—IV, М.—Л., 1925—1927.

*Маслов* — В. И. Маслов, Литературная деятельность К. Ф. Рылеева, Киев, 1912.

*Н. Бестужев* — Николай Бестужев, Воспоминание о Рылееве («Воспоминания Бестужевых», М., 1931).

*Пушкин*, Акад. изд., т. XIII — Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, Переписка, 1815—1827, изд. Академии Наук СССР, 1937.

*П. С. С.* — К. Ф. Рылеев, Полное собрание сочинений, Редакция, вступительная статья и комментарии А. Г. Цейтлина, М.—Л., 1934.

<sup>1</sup> «Русская Старина», т. VI, 1872, ноябрь, стр. 603.

<sup>2</sup> *Маслов*, приложения, стр. 116.

<sup>3</sup> *С. Н. Глинка*, Записки, СПб, 1895, стр. 33—34, 55—57, 72—75; „La Muraille parlante ou tableau de ce qu'on a écrit et dessiné sur la muraille du jardin du Corps des cadets gentilshommes,“ St-Petersbourg, 1790.

<sup>4</sup> «Русский Вестник», 1869, кн. 3, стр. 231—232.

<sup>5</sup> *Н. И. Греч*, Записки о моей жизни, М.—Л., 1930, стр. 442.

<sup>6</sup> *Н. С. Лесков*, Кадетский монастырь — «Полное собрание сочинений», т. II, СПб, 1897, стр. 75—81.

<sup>7</sup> Письмо без даты (1811 г.?) — *П. С. С.*, стр. 427.

<sup>8</sup> *П. С. С.*, стр. 428—431.

<sup>9</sup> *К. Ф. Рылеев*, Полное собрание сочинений, т. II, М., 1907 («Библиотека декабристов», вып. 3), стр. 96—97.

<sup>10</sup> *Маслов*, приложения, стр. 77—85.

<sup>11</sup> «Русский Архив», 1873, вып. 3, стлб. 455—456.

<sup>12</sup> Письмо от 21 сентября 1814 г. из Дрездена. — *П. С. С.*, стр. 434.

<sup>13</sup> Письмо от 6 марта 1815 г. из Несвижа. — *П. С. С.*, стр. 435—436.

<sup>14</sup> Письмо к матери, без даты (1815 г.). — *П. С. С.*, стр. 437.

<sup>15</sup> *Лев Цветаев*, Панорама Парижа или описание сего города и его достопамятностей в нынешнем их состоянии, изд. 2-е, М., 1822, стр. 15.

<sup>16</sup> Письма из Парижа. — П. С. С., стр. 372—385; см. также Ф. Тимирязев, Страницы прошлого — «Русский Архив», 1884, вып. 1, стр. 172 (о посещении Рылевым гадалки Ленорман).

<sup>17</sup> А. В. Никитенко, Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был», Записки и дневник, т. I, СПб., 1905, стр. 70; Афанасий Щекатов, Словарь географический Российского государства, ч. IV, отд. I, М., 1805, стлб. 943—946 (статья «Острогжск»).

<sup>18</sup> А. В. Никитенко, Моя повесть о самом себе..., стр. 66—67.

<sup>19</sup> Там же, стр. 84.

<sup>20</sup> Там же, стр. 70; «Роспись российским книгам для чтения» из библиотеки Александра Смирдина, систематическим порядком расположенная», СПб., 1828, стр. 158.

<sup>21</sup> П. С. С., стр. 438—439.

<sup>22</sup> П. С. С., стр. 440—442.

<sup>23</sup> П. С. С., стр. 760—761.

<sup>24</sup> Письма к матери от 31 января и 7 апреля 1818 г. — П. С. С., стр. 444, 446.

<sup>25</sup> Нестор Котляревский, Рылеев, СПб., 1908, стр. 30.

<sup>26</sup> Пушкин, Дневник (Запись под 2 апреля 1834 г.).

<sup>27</sup> Ф. Н. Глинка, К. Ф. Рылеев — «Русская Старина», 1871, г. III, стр. 245.

<sup>28</sup> А. С. Шишков, Записки, мнения и переписка, т. I, Берлин, 1870, стр. 478—479.

<sup>29</sup> В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, СПб., 1909, стр. 129—130 (доклад В. Н. Каразина министру внутренних дел Кочубею).

<sup>30</sup> Пушкин, Noël (Ура, в Россию скачет...).

<sup>31</sup> Письмо А. А. Бестужева к Николаю I — «Из писем и показаний декабристов», СПб., 1906, стр. 36.

<sup>32</sup> И. Д. Якушкин, Записки, М., 1908, стр. 15.

<sup>33</sup> «Из писем и показаний декабристов», стр. 14—15.

<sup>34</sup> Запись под 25 сентября 1820 г. — «Архив братьев Тургеневых», вып. 5, Пг., 1921, стр. 241.

<sup>35</sup> В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, стр. 149.

<sup>36</sup> Ф. Ф. Вигель, Записки, ч. VI, М., 1892, стр. 17.

<sup>37</sup> «Остафьевский Архив», т. I, СПб., 1899, стр. 281.

<sup>38</sup> П. А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. I, СПб., 1885, стр. 16.

<sup>39</sup> П. С. С., стр. 454—455.

<sup>40</sup> Н. Бестужев, стр. 68—69.

<sup>41</sup> П. С. С., стр. 494—495.

<sup>42</sup> П. С. С., стр. 456.

<sup>43</sup> Пушкин, письмо к В. Л. Давыдову 1821 г., — Акад. изд., т. XIII, стр. 22—24; Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. I, СПб., 1888, стр. 86.

<sup>44</sup> «Сборник биографий кавалергардов», т. III, СПб., 1906, стр. 198.

<sup>45</sup> Письмо к Ф. В. Булгарину от 20 июня 1821 г. — П. С. С., стр. 457.

<sup>46</sup> Там же.

<sup>47</sup> Письмо к нему же от 8 августа 1821 г. — П. С. С., стр. 458—459.

- <sup>48</sup> Н. Лавров, Диктатор 14-го декабря.— «Бунт декабристов», Л., 1926, стр. 140.
- <sup>49</sup> Устав Союза Благоденствия, см. в приложениях к книге А. Н. Пыпина, «Общественное движение в России при Александре I», изд. 3-е, СПб., 1900, стр. 547—576.
- <sup>50</sup> Н. И. Тургенев, Россия и русские, т. I, гл. VI.
- <sup>51</sup> Рылеев, СПб., 1908, стр. 47.
- <sup>52</sup> Запись под 26 августа 1821 г.—«Архив братьев Тургеневых», вып. 5, Пг., 1921, стр. 279.
- <sup>53</sup> Факсимильное воспроизведение этого счета см. в П. С. С., между стр. 300 и 301.
- <sup>54</sup> Н. Бестужев, стр. 70.
- <sup>55</sup> Н. Бестужев, стр. 69—70.
- <sup>56</sup> Свидетельство Н. И. Лорера.— «Русское Богатство», 1904, кн. III, стр. 68.
- <sup>57</sup> Письмо В. И. Штейнгеля к Николаю I.— «Из писем и печатаний декабристов», СПб., 1906, стр. 67.
- <sup>58</sup> Воспоминания о Карамзине.
- <sup>59</sup> «История Государства Российского», т. IX, СПб., 1821, стр. 58—59, 68.
- <sup>60</sup> «Русский Инвалид», 17 января 1821 г., № 14, стр. 55—56
- <sup>61</sup> «История Государства Российского», т. IX, стр. 407.
- <sup>62</sup> «Памяти декабристов», вып. I, Л., 1926, стр. 30.
- <sup>63</sup> См. предисловие к отдельному изданию «Дум» 1825 г.
- <sup>64</sup> Письмо от 11 сентября 1822 г.— П. С. С., стр. 467.
- <sup>65</sup> См. А. Н. Сиротинин, Рылеев и Немцевич— «Русский Архив», 1898, кн. I, стр. 70—71.
- <sup>66</sup> Акад. изд., т. XIII, стр. 175.
- <sup>67</sup> См. предисловие к отдельному изданию «Дум» 1825 г.
- <sup>68</sup> «Труды Общества Любителей Российской Словесности», ч. XV, 1821 (речь Гнедича была также выпущена отдельным оттиском);
- <sup>69</sup> См. письмо Пушкина к Гнедичу от 23 февраля 1825 г.: «Я жду от вас эпической поэмы. Тень Святослава скитается не воспекая, писали вы мне когда-то. А Владимир? а Метислав? а Донской? а Ермак? а Пожарской? История народа принадлежит поэту» — Акад. изд., т. XIII, стр. 145.
- <sup>70</sup> «Остафьевский Архив», т. II, СПб., 1899, стр. 270: «Русская Старина», 1888, ноябрь, стр. 312; «Сын Отечества», 1823, № 3, стр. 113; «Полярная Звезда» на 1823 г., стр. 29. О «Думах» Рылеева см. Маслов, стр. 163—250; А. Г. Цейтлин, Творческий путь Рылеева— «Бунт декабристов», Л., 1926, стр. 241—262; комментарии к П. С. С., стр. 569—612, и Б. П., стр. 398—451.
- <sup>71</sup> А. И. Кошелёв, Записки, Берлин, 1884, стр. 13.
- <sup>72</sup> Письмо Пушкина к П. А. Вяземскому— Акад. изд., т. XIII, стр. 91.
- <sup>73</sup> Ср. Н. И. Тургенев. Россия и русские, т. I, гл. VI.
- <sup>74</sup> Гр. Н. Н. Мордвинова, Записки— «Русский Архив», 1883, вып. I, стр. 194.
- <sup>75</sup> Об отношении Н. С. Мордвинова к Российско-Американской компании, см. Д. И. Завалишин, Записки декабриста, СПб., 1906, стр. 131. Сведения о деятельности Рылеева в Российско-Американской компании крайне скудны. «Не прошло и двух лет со времени вступления его в должность,— рассказывает Е. П. Оболенский,— правление Компаний выразило ему свою благодарность подарком еженовой

шубы, оцененной в то время в 700 руб. Из множества дел, которыми он тогда был озабочен, помню, что в особенности его тревожила вынужденная, в силу трактата с Северо-Американским Союзом, передача северо-американцам основанной нами в Калифорнии колонии Росс, которая в то время начала уже процветать и принести Компании существенные выгоды и могла бы нам служить твердой опорной точкой для участия в богатых золотых приисках, столь прославившихся впоследствии». — «Деятельный век», кн. I, стр. 315.

<sup>76</sup> Гр. Н. Н. Мордвинова, Записки, стр. 184.

<sup>77</sup> «Летописи Государственного Литературного музея», кн. III. Декабристы, М., 1938, стр. 69.

<sup>78</sup> «Сын Отечества», 1823, ч. LXXXIII, стр. 174—175.

<sup>79</sup> Акад. изд., т. XIII, стр. 87.

<sup>80</sup> «Полярная Звезда» на 1823 год, стр. 41—42.

<sup>81</sup> Акад. изд., т. XIII, стр. 56.

<sup>82</sup> «Русская Старина», 1888, ноябрь, стр. 319.

<sup>83</sup> Письмо от 3 октября 1823 г. — П. С. С., стр. 472—474.

<sup>84</sup> «Благонамеренный», 1823, № 21.

<sup>85</sup> «Полярная Звезда» на 1823 г., стр. 18.

<sup>86</sup> «Старина и Новизна», кн. VIII, М., 1904, стр. 30.

<sup>87</sup> «Полярная Звезда» на 1824 г., стр. 10.

<sup>88</sup> «Русская Старина», 1888, ноябрь, стр. 325—327.

<sup>89</sup> Акад. изд., т. XIII, стр. 84—85. Сводку высказываний современников о трех книжках «Полярной Звезды» 1823, 1824 и 1825 гг. см. Маслов, стр. 346—371.

<sup>90</sup> См. письмо Пушкина к П. А. Катенину от 19 июля 1822 г.: «Ты перевел Сида; поздравляю тебя и старого моего Корнеля. Сид кажется мне лучшею его трагедиею. Скажи: имел ли ты похвальную смелость оставить пощечину рыцарских веков на жеманной сцене 19-го столетия? Я слышал, что она неприлична, смешна, ridicule Ridicule! Пощечина, данная рукою гишпанского рыцаря воину, поседевшему под шлемом! Ridicule! Боже мой, она должна произвести более ужаса, чем чаша Атреева». — Акад. изд., т. XIII, стр. 41.

<sup>91</sup> «Летописи Государственного Литературного музея», кн. III. Декабристы, М., 1938, стр. 282—283.

<sup>92</sup> См. П. С. С., стр. 386—398.

<sup>93</sup> Пушкин радуется тому, что «английская словесность начинает иметь влияние на русскую»: оно будет «полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной». — Акад. изд., т. XIII, стр. 40.

<sup>94</sup> «Остафьевский Архив», т. I, СПб., 1899, стр. 327; «Сын Отечества», 1822, ч. 82, № 49.

<sup>95</sup> «Воспоминания Бестужевых», М.—Л., 1931, стр. 319.

<sup>96</sup> «Остафьевский Архив», т. II, СПб., 1899, стр. 170—171.

<sup>97</sup> «Старина и Новизна», кн. VIII, М., 1904, стр. 31; «Северный Архив», 1823, № 11, июнь, стр. 376.

<sup>98</sup> «Деятельный век», кн. I, М., 1872, стр. 368—369.

<sup>99</sup> В. И. Штейнфельд, Записки — «Исторический Вестник», т. LXXX, 1900, июнь, стр. 833.

<sup>100</sup> Письмо от 10 марта 1825 г. — П. С. С., стр. 490, и Пушкин, Акад. изд., т. XIII, стр. 150.

<sup>101</sup> Н. Бестужев, стр. 78.

<sup>102</sup> П. С. С., стр. 413; «Русская Старина», 1911, кн. 6, стр. 594.

<sup>103</sup> О «Войнаровском», см. Маслов, стр. 250—322; А. Г. Цейт-



лин, Творческий путь Рылеева — «Бунт декабристов», Л., 1926, стр. 262—276; комментарии к П. С. С., стр. 612—621, и к Б. П., стр. 452—462.

<sup>104</sup> План и черновые наброски к поэме «Наливайко» см. в П. С. С., стр. 243—254, 637—644, и в Б. П., стр. 242—254, 462—471.

<sup>106</sup> Письмо к А. А. Бестужеву от 24 марта 1825 г. — Акад. изд., т. XIII, стр. 155.

<sup>108</sup> И. И. Пущин, Записки о Пушкине, СПб., 1907, стр. 45.

<sup>107</sup> Об обстоятельствах, при которых Пущин покинул военную службу, рассказывает в своих воспоминаниях о нем Е. И. Якушкин. Воспоминания его помещены в приложениях к «Запискам И. И. Пущина о Пушкине». См. стр. 87—88.

<sup>108</sup> Показание П. И. Пестеля — Ср. Н. Павлов-Сильванский, Декабрист Пестель перед Верховным Уголовным судом, Ростов-на-Дону, стр. 75—76.

<sup>109</sup> Н. Дружинин, Декабрист Никита Муравьев, М., 1933, стр. 135.

<sup>110</sup> В. Д., т. I, стр. 230.

<sup>111</sup> Показания Рылеева. — В. Д., т. I, стр. 159.

<sup>112</sup> Показания Рылеева. — В. Д., т. I, стр. 177.

<sup>113</sup> В показаниях Рылеева относительно времени его вступления в тайное общество встречаются противоречия. В письме к Николаю I от 16 декабря 1825 г. Рылеев пишет: «Я был принят в общество тому назад около двух лет Иваном Ивановичем Пушным, который в то время служил вместе со мною в Санкт-петербургской Уголовной Палате» — В. Д., т. I, стр. 153. Таким образом время своего вступления в Северное общество Рылеев относит приблизительно к декабрю 1823 г. Однако на допросе, состоявшемся 24 апреля 1826 г., он показал: «В общество принят я в начале 1823 года» — В. Д., т. I, стр. 174. Это сообщение расходится не только с первым показанием Рылеева, но и со свидетельством И. И. Пущина о том, что он познакомился с Рылеевым по определению своем на службу в Петербургскую уголовную палату, — следовательно, после 5 июня 1823 г. «Узнав его хорошо в короткое время, — пишет Пущин, — принял членом в общество» — В. Д., т. II, стр. 210. Поскольку никаких данных о работе Рылеева в тайном обществе до осени 1823 г. не имеется, первое его показание, близкое к показанию Пущина, заслуживает большего доверия.

<sup>114</sup> Показания Рылеева. — В. Д., т. I, стр. 157—158, 166.

<sup>115</sup> Показание С. П. Трубецкого — В. Д., т. I, стр. 34.

<sup>116</sup> Показание М. Ф. Митькова — В. Д., т. III, стр. 207.

<sup>117</sup> Изложение разговора Рылеева с Пестелем см. в показаниях Рылеева — В. Д., т. I, стр. 178—179.

<sup>118</sup> См. запись в Кишиневском дневнике Пушкина под 9 апреля 1821 г. и заметку 1822—1823 гг. «Только революционная голова...»

<sup>119</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. I, стр. 174.

<sup>120</sup> Ср. Н. Павлов-Сильванский, Декабрист Пестель перед Верховным Уголовным судом, Ростов-на-Дону, сто. 20.

<sup>121</sup> Н. Дружинин, Декабрист Никита Муравьев, М., 1933, стр. 138.

<sup>122</sup> А. Е. Розен. Записки декабриста, СПб., 1907, стр. 100.

<sup>123</sup> Показания Трубецкого — В. Д., т. I, стр. 8—9.

<sup>124</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. I, стр. 156; «Русский Ве-

«Вестник», 1869, кн. 3, стр. 235 (там же Д. И. Кротов упоминает об экземпляре сочинений Бенстама, испещренном пометками и замечаниями Рылеева).

<sup>125</sup> П. С. С., стр. 412.

<sup>126</sup> П. С. С., стр. 416—417.

<sup>127</sup> В. Д., т. I, стр. 444; П. С. С., стр. 417—418.

<sup>128</sup> П. С. С., стр. 414: «Судьба России. 1. Распри в Новгороде. Рюрик. 2. Владимир. Введение христианства. Уделы. 3. Нашествие Батюга. 4. Иоанн III. Уничтожение уделов. 5. Петр Великий. 6. Век Александра».

<sup>129</sup> Песня Ф. Н. Глинки, насколько мне известно, не издана. Несколько лет тому назад я видел ее черновой автограф в руках одного частного собирателя рукописей.

<sup>130</sup> Н. И. Греч, Записки о моей жизни, М.—Л., 1930, стр. 517.

<sup>131</sup> Ср. статью С. Н. Чернова «Из истории солдатских настроений в начале 20-х годов» — «Бунт декабристов», Л., 1926, стр. 56—128.

<sup>132</sup> См. показания А. А. Бестужева — В. Д., т. I, стр. 458.

<sup>133</sup> Показания С. И. Муравьева-Апостола — В. Д., т. IV, стр. 289.

<sup>134</sup> Показания А. А. Бестужева — В. Д., т. I, стр. 457.

<sup>135</sup> «Исторический Вестник», т. LXXX, 1900, июнь, стр. 833—834.

<sup>136</sup> См. «Записки о моей жизни» Н. И. Греча, стр. 448—449.

О неосторожности Рылеева в разговорах говорит в своих воспоминаниях о нем Н. Бестужев: «...сердце его было слишком открыто, слишком доверчиво. Он во всяком человеке видел благонамеренность, не подозревал обмана и, обманутый, не переставал верить. Опытность ни к чему для него не служила. Он все видел в радужные очки своей прекрасной души. Одна только скромность и застенчивость спасали его».

Если человек не доволен был правительством или злословия власти, Рылеев думал, что этот человек либерал и хочет блага отечества. Это было причиной многих его ошибок на политическом поприще» — Н. Бестужев, стр. 76.

<sup>137</sup> Никитенко, т. I, стр. 126—128.

<sup>138</sup> Маслов, стр. 102.

<sup>139</sup> «Воспоминание о К. Ф. Рылееве» — «Деятельный век», кн. 1, М., 1872, стр. 315.

<sup>140</sup> «Воспоминания Бестужевых», М., 1931, стр. 47, 71—75.

В рассказе Н. Бестужева имеются противоречия хронологического порядка. Упоминание об отсутствии из Петербурга Н. М. Рылеевой заставляет отнести роман поэта с полковой К. к первой половине 1825 г.: Рылеев вернулся из Подгорного в Петербург в середине декабря 1824 года, жсна же его — в конце мая 1825 года. Если это так, то Рылеев никак не мог «по обязанности» заниматься судебным делом госпожи К., ибо оставил службу в Петербургской уголовной палате еще в марте 1824 года. Отделить действительные факты от вымышленных подробностей в рассказе Н. Бестужева трудно. Однако невозможно «решительно вычеркнуть из биографии Рылеева» загадочные инициалы Т. С. К., как предлагает П. Корелин, устанавливающий по архивным данным «более чем приятельские» отношения поэта с Е. И. Малютиной («Былое», 1925, № 5, стр. 44). Категорическое утверждение П. Корелина: «Рассказ Н. А. Бестужева нужно... заменить ссылкой на Малютину» неубедительно.

М. К. Азадовский справедливо считает, что «если бы в данном случае был сплошной вымысел, едва ли бы это обстоятельство осталось без опровержения со стороны других декабристов. Ведь «Воспоминание» было написано и читалось в среде достаточно близкой Рылееву. Здесь были и Оболенский, и Пущин, и Одоевский. Когда рассказ Н. Бестужева появился в печати... был еще жив ряд декабристов. Обычно декабристы не оставляли без замечаний того, что они считали неверным или ошибочным» — «Воспоминания Бестужевых», стр. 47—48.

<sup>141</sup> «Былое», 1925, № 5, стр. 44; «Летописи Государственного Литературного музея», кн. III, Декабристы, М., 1938, стр. 487.

<sup>142</sup> «Памяти декабристов», вып. I, Л., 1926, стр. 48, 68—69.

<sup>143</sup> Письма О. М. Сомова к Рылееву от 11 и 25 ноября 1824 г. — «Сочинения и переписка Рылеева», СПб., 1872, стр. 340—342.

<sup>144</sup> Письмо Рылеева к жене от 14 декабря 1824 г. — П. С. С., стр. 476; А. И. Кошелев, Записки, Берлин, 1884, стр. 13.

<sup>145</sup> Печатается по подлиннику из собрания Государственного Архива Древних Актов.

<sup>146</sup> «Памяти декабристов», вып. I, Л., 1926, стр. 70; П. С. С., стр. 477; A. Mickiewicz. Les Slaves, Paris, 1849, т. III, р. 289. Впоследствии (1833 г.) Мицкевич посвятил А. Бестужеву и Рылееву несколько сочувственных стихотворных строк:

Рылеев, которого братски я принял в объятия,  
Жестокою казнью казнен по цареву велению.  
Бестужев, который как друг мне протягивал руку,  
Тот воин, которому жребий поэта дарован,  
В сибирский рудник, обреченный на долгую муку,  
С поляками вместе, он сослан и к тачке прикован.

(«Дорога в Россию», приложение к третьей части «Дзядов», посвящение «Друзьям в России» — Адам Мицкевич, Избранные произведения, М.—Л., 1929, стр. 246.)

<sup>147</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. I, стр. 177. Рылеев называет в числе присутствовавших и М. Ф. Митькова, но, повидимому, это ошибка, так как его тогда не было в Петербурге.

<sup>148</sup> Н. М. Дружинин, Декабрист Никита Муравьев, М., 1933, стр. 165.

<sup>149</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. I, стр. 179.

<sup>150</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. III, стр. 235.

<sup>151</sup> В. Д., т. I, стр. 446; В. Д., т. III, стр. 235, 261; В. Д., т. III, стр. 228.

<sup>152</sup> Д. И. Завалишин, Записки декабриста, СПб., 1906, ч. I, стр. 132.

<sup>153</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. III, стр. 235—236; показания Завалишина — там же, стр. 282.

<sup>154</sup> Ср. показания Завалишина — В. Д., т. III, стр. 243, 282.

<sup>155</sup> Показания Завалишина — В. Д., т. III, стр. 371—372.

<sup>156</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. III, стр. 259; показания А. Бестужева — В. Д., т. III, стр. 262.

<sup>157</sup> Показания Завалишина — В. Д., т. III, стр. 372.

<sup>158</sup> Показания Завалишина — В. Д., т. III, стр. 284.

<sup>159</sup> Показания Завалишина — В. Д., т. III, стр. 284; показания Арбузова и братьев Беляевых — В. Д., т. III, стр. 236.

- <sup>160</sup> Показания Завалишина — В. Д., т. III, стр. 284.  
<sup>161</sup> Там же.  
<sup>162</sup> Завалишин, Записки декабриста, стр. 130.  
<sup>163</sup> Там же, стр. 141—142.  
<sup>164</sup> Там же, стр. 142; показания Рылеева — В. Д., т. III, стр. 235.  
<sup>165</sup> Завалишин, Записки декабриста, стр. 137.  
<sup>166</sup> Показания Завалишина — В. Д., т. III, стр. 306.  
<sup>167</sup> Показания Завалишина — В. Д., т. III, стр. 258, 260.  
<sup>168</sup> Письмо от 20 июля 1825 г. — В. Д., т. III, стр. 250.  
<sup>169</sup> Показания Н. Бестужева — В. Д., т. II, стр. 73, 80—81.  
<sup>170</sup> Там же, стр. 74.  
<sup>171</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. I, стр. 182—183.  
<sup>172</sup> Ср. Греч, Записки о моей жизни, стр. 460.  
<sup>173</sup> В. Д., т. I, стр. 343.  
<sup>174</sup> Щеголев, Декабристы, М.—Л., 1926, стр. 172.  
<sup>175</sup> Там же, стр. 170.  
<sup>176</sup> Письмо Каховского к генерал-адъютанту Левашеву — В. Д., т. I, стр. 372.  
<sup>177</sup> Ср. Щеголев, Декабристы, стр. 164.  
<sup>178</sup> «Войнаровский».  
<sup>179</sup> Щеголев, Декабристы, стр. 163—164.  
<sup>180</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. I, стр. 186.  
<sup>181</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. I, стр. 181—182.  
<sup>182</sup> Материалы очной ставки между Рылеевым и Каховским — В. Д., т. I, стр. 366; показания Рылеева — там же, стр. 187.  
<sup>183</sup> Показания Каховского — В. Д., т. I, стр. 363—364.  
<sup>184</sup> О «русских заплатах» Рылеева см. воспоминания М. А. Бестужева — «Воспоминания Бестужевых», стр. 129—130.  
<sup>185</sup> Письмо Дельвига к Пушкину от 28 сентября 1824 г. — Пушкин, Акад. изд., т. XIII, стр. 110.  
<sup>186</sup> «Воспоминания Бестужевых», стр. 130.  
<sup>187</sup> Акад. изд., т. XIII; стр. 135.  
<sup>188</sup> Письмо к Пушкину от 12 февраля 1825 г. — там же, стр. 141—142; П. С. С., стр. 483.  
<sup>189</sup> Письмо А. Бестужева к Пушкину от 9 марта 1825 г. — Пушкин, Акад. изд., т. XIII, стр. 149.  
<sup>190</sup> Никитенко, ч. I, стр. 169; «Звенья», кн. VI, М.—Л., 1936, стр. 121—122; «Русская Старина», т. LX, 1888, ноябрь, стр. 321—322; И. Медведева, Ранний Боратынский — вступительная статья к «Полному собранию стихотворений» Боратынского, т. I, Л., 1936, стр. LXIX—LXX.  
<sup>191</sup> Боратынскому принадлежит следующий экспромт о свободе сказанный на одном из ужинов в петербургском дружеском кругу:

С неба чистая,  
 Золотистая  
 К нам слетела ты.  
 Все прекрасное,  
 Все опасное  
 Нам пропела ты.

- <sup>192</sup> Пушкин, Акад. изд., т. XIII, стр. 149—150.  
<sup>193</sup> Письмо от 5—7 января 1825 г. — Там же, стр. 133; П. С. С., стр. 479.

- <sup>194</sup> Письмо к Рылеву от 25 января 1825 г. — Пушкин, Акад. изд., т. XIII, стр. 134.
- <sup>195</sup> Письмо А. Бестужева к Пушкину от 9 марта 1825 г. — там же, стр. 148—150.
- <sup>196</sup> Там же, стр. 150; П. С. С., стр. 489.
- <sup>197</sup> Письмо к Бестужеву от 24 марта 1825 г. — Пушкин, Акад. изд., т. XIII, стр. 155; письма к Вяземскому от 4 ноября 1823 г. и к А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823 г. — там же, стр. 73, 80.
- <sup>198</sup> Там же, стр. 173; П. С. С., стр. 495.
- <sup>199</sup> Письмо Рылева к Пушкину от конца апреля 1825 г. — Пушкин, Акад. изд., т. XIII, стр. 168—169; П. С. С., стр. 493—494.
- <sup>200</sup> «Воспоминания Бестужевых», стр. 130, 338.
- <sup>201</sup> «Полярная Звезда» на 1825 г., стр. 7.
- <sup>202</sup> Письмо к Ф. В. Булгарину от 7 сентября 1823 г. — П. С. С., стр. 469.
- <sup>203</sup> См. письмо Рылева к нему же между 12 и 26 марта 1825 г. — П. С. С., стр. 488.
- <sup>204</sup> «Северная Пчела», 1825, № 37.
- <sup>205</sup> «Летописи Государственного Литературного музея», кн. III. Декабристы, М., 1938, стр. 487.
- <sup>206</sup> «Воспоминания Бестужевых», стр. 65.
- <sup>207</sup> А. Е. Розен, Записки декабриста, стр. 146.
- <sup>208</sup> Письмо В. И. Штейнгеля к Николаю I — «Из писем и показаний декабристов», СПб., 1906., стр. 67; «Московский Телеграф», 1825, ч. II, стр. 328; «Сын Отечества», 1825, № 10, стр. 197—198.
- <sup>209</sup> Письмо к Л. С. Пушкину от 22 апреля 1825 г. — Акад. изд., т. XIII, стр. 163; письмо к П. А. Вяземскому от 10 августа 1825 г. — там же, стр. 204; «Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива» — «Русский Архив», 1866, вып. 3, столб. 475.
- <sup>210</sup> Письма к Л. С. Пушкину от 4 сентября 1822 г., 1—10 января и 30 января 1823 г. — Пушкин, Акад. изд., т. XIII, стр. 46, 54, 56.
- <sup>211</sup> Письмо к А. А. Бестужеву от 12 января 1824 г. — там же, стр. 84; письмо к Л. С. Пушкину, январь—начало февраля 1824 г. — там же, стр. 86; письмо к Рылеву от 25 января 1825 г. — там же, стр. 134; письмо к Л. С. Пушкину от конца января — начала февраля 1825 г. — там же, стр. 143; письмо к П. А. Вяземскому от марта 1823 г. — там же, стр. 59; письмо А. А. Бестужева к Пушкину от 9 марта 1825 г. — там же, стр. 149; письмо Пушкина к А. А. Бестужеву от 24 марта 1825 г. — там же, стр. 155.
- <sup>212</sup> Письмо И. И. Пушина к Пушкину от 12 марта 1825 г. — там же, стр. 151; письма Рылева к Пушкину от 10 марта и 25 марта 1825 г. — там же, стр. 150 и 157; П. С. С., стр. 489—490.
- <sup>213</sup> Письмо Рылева к Пушкину от 12 мая 1825 г. — Пушкин, Акад. изд., т. XIII, стр. 173; П. С. С., стр. 494.
- <sup>214</sup> «Воспоминания Бестужевых», стр. 78; письмо Рылева к Пушкину от первой половины июня 1825 г. — Пушкин, Акад. изд., т. XIII, стр. 182—183; П. С. С., стр. 495.
- <sup>215</sup> Письмо от первой половины мая 1825 г. — Пушкин, Акад. изд., т. XIII, стр. 174.
- <sup>216</sup> Письмо от второй половины мая 1825 г. — там же, стр. 175—176.

- <sup>217</sup> Письма к В. А. Жуковскому от двадцатых чисел апреля и к П. А. Вяземскому от 25 мая 1825 г. — там же, стр. 167, 184.
- <sup>218</sup> К письму Пушкина сделана приписка рукою его брата: «Лев Пушкин просит прощенья в том, что письмо распечатано; не взглянув на конверт, он думал, что оно к нему» — там же, стр. 184.
- <sup>219</sup> Письмо от 10 марта 1825 г. — там же, стр. 150; П. С. С., стр. 489.
- <sup>220</sup> «Полярная Звезда» на 1825 г., стр. 5—6.
- <sup>221</sup> Письмо от конца мая — начала июня 1825 г. — Пушкин, Акад. изд., т. XIII, стр. 177—180.
- <sup>222</sup> Письмо от первой половины июня 1825 г. — там же, стр. 183; П. С. С., стр. 495—496.
- <sup>223</sup> П. С. С., стр. 497; Пушкин, Акад. изд., т. XIII, стр. 241.
- <sup>224</sup> Комментарии А. Г. Дейглина к статье «Несколько мыслей о поэзии» — П. С. С., стр. 698.
- <sup>225</sup> «Сын Отечества», 1825 г., № 22, стр. 145—154; П. С. С., стр. 308—313; Б. П., стр. 371—375.
- <sup>226</sup> Письмо от 9 декабря 1824 г. — П. С. С., стр. 474.
- <sup>227</sup> «Памяти декабристов», вып. I, Л., 1926, стр. 52.
- <sup>228</sup> «Деятельный век», кн. I, стр. 334.
- <sup>229</sup> «Общественные движения в России в первую половину XIX в.», СПб., 1905, т. I, стр. 294.
- <sup>230</sup> М. В. Довнар-Запольский, Мемуары декабристов, Киев, 1906, стр. 165.
- <sup>231</sup> «Деятельный век», кн. I, стр. 319.
- <sup>232</sup> Там же, стр. 319. О дуэли Чернова с Новосильцовым см. П. С. С., стр. 313—315 (записка о дуэли, составленная Рылеевым); «Деятельный век», кн. I, СПб., 1872, стр. 333—337 (бумага, собранная П. И. Бартевым); С. Н. Шубинский, Дуэль Новосильцова с Черновым — «Исторический Вестник», т. LXXXIV, 1901, май, стр. 591—602; Д. И. Завалишин, Записки декабриста, СПб., 1906, стр. 95—97; Н. И. Шенин, Воспоминания — «Русский Архив», 1880, кн. III, стр. 319—321; Д. И. Завалишин, Сергей Павлович Шипов — «Древняя и новая Россия», 1878, т. I, апрель, стр. 363—365 (к большинству подробностей, содержащихся в рассказе Завалишина, не следует относиться с доверием); комментарии к П. С. С., стр. 650—657, и к Б. П., стр. 393—397.
- <sup>233</sup> Ср. показания А. А. Бестужева — В. Д., т. I, стр. 435; «Деятельный век», кн. I, стр. 321—322.
- <sup>234</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. I, стр. 179—180.
- <sup>235</sup> Показания Завалишина — В. Д., т. III, стр. 373.
- <sup>236</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. I, стр. 182.
- <sup>237</sup> Н. Бестужев, стр. 80—81.
- <sup>238</sup> А. Е. Пресняков, 14 декабря 1825 года, М.—Л., 1926, стр. 64.
- <sup>239</sup> В. Д., т. I, стр. 245.
- <sup>240</sup> Н. Бестужев, стр. 81; показания Н. Бестужева — В. Д., т. II, стр. 84.
- <sup>241</sup> В. Д., т. I, стр. 245.
- <sup>242</sup> Показания Каховского — В. Д., т. I, стр. 375; показания М. Бестужева — там же, стр. 488.
- <sup>243</sup> Кн. С. П. Грубецкой, Записки, Лейпциг, 1874, стр. 5.
- <sup>244</sup> Н. Бестужев, стр. 82; А. Е. Розен, Записки декабриста, СПб., 1907, стр. 56—57.

- <sup>245</sup> Показания Оболенского — В. Д., т. I, стр. 246; показания Рылеева — там же, стр. 183.
- <sup>246</sup> Показания Оболенского — В. Д., т. I, стр. 246.
- <sup>247</sup> Показания Трубецкого — В. Д., т. I, стр. 65—66.
- <sup>248</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. I, стр. 185.
- <sup>249</sup> Полное название книги установлено по справочнику «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина, систематическим порядком расположенная», СПб., 1828, стр. 187.
- <sup>250</sup> Розен, Записки декабриста, стр. 62.
- <sup>251</sup> Н. Бестужев, стр. 82.
- <sup>252</sup> В. Д., т. I, стр. 285.
- <sup>253</sup> Розен, Записки декабриста, стр. 63.
- <sup>254</sup> «14 декабря 1825 года», М.—Л., 1926, стр. 98.
- <sup>255</sup> Материалы очной ставки А. И. Одоевского с В. И. Штейнгелем — В. Д., т. II, стр. 264; Всеподданнейший доклад Высочайше учрежденной комиссии для изысканий о злоумышленных обществах — «Декабристы, Тайные общества в России», изд. В. М. Саблина, М., 1906, стр. 51.
- <sup>256</sup> Всеподданнейший доклад..., стр. 47; показания Каховского и материалы очной ставки Каховского с В. И. Штейнгелем — В. Д., т. I, стр. 345—346, 369.
- <sup>257</sup> Ср. показания Рылеева — В. Д., т. III, стр. 235.
- <sup>258</sup> Я. И. Ростовцев, Отрывок из моей жизни 1825 и 1826 годов — «Русский Архив», 1873, вып. I, стлб. 459—473; показания Оболенского — В. Д., т. I, стр. 235.
- <sup>259</sup> «Русский Архив», 1873, вып. I, стлб. 487—488.
- <sup>260</sup> Н. Бестужев, стр. 82—83.
- <sup>261</sup> «Общественные движения в России в первую половину XIX века», т. I, СПб., 1905, стр. 438.
- <sup>262</sup> Показания Штейнгеля — В. Д., т. I, стр. 492.
- <sup>263</sup> Н. Бестужев, стр. 84.
- <sup>264</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. I, стр. 188; показания Оболенского — там же, стр. 248; показания Каховского — там же, стр. 347. Каховский передает слова Рылеева несколько иначе: «Я знаю твое самоотвержение; ты можешь быть полезнее, чем на площади: истреби императора».
- <sup>265</sup> Показания Трубецкого — В. Д., т. I, стр. 19, 70.
- <sup>266</sup> Всеподданнейший доклад..., стр. 48.
- <sup>267</sup> «14 декабря 1825 года» — «Воспоминания Бестужевых», стр. 138—139.
- <sup>268</sup> Н. Бестужев, стр. 84; В. Д., т. I, стр. 452.
- <sup>269</sup> И. И. Пушкин сохранил в своих бумагах автограф этого стихотворения и говорил Е. И. Якушкину, что оно написано в декабре 1825 года. — См. «Деятельный век», кн. I, стр. 354. Н. Бестужев свидетельствует, что стихи эти были написаны Рылеевым «в последнее время для юношества высшего сословия русского» — Н. Бестужев, стр. 79. В показаниях Рылеева Следственной комиссии содержится упоминание о том, что им были даны Матвеем Муравьеву-Апостолу два стихотворения: песня «Ах, тошно мне в родной стороне», «которую при сем представляю под № А., да стихи под № В.» — В. Д., т. I, стр. 176. Как явствует из бумаг Следственной комиссии, вторым стихотворением был «Гражданин» — В. П., стр. 397. Это свидетельство, если принять его на веру, заставляет катировать оба стихотворения 1824 годом. Однако в данном случае

мы имеем перед собою почти очевидную попытку скрыть истину. Несомненно, о тех самых стихотворениях, которые были вручены Рылеевым М. Муравьеву-Апостолу, упоминает в своих показаниях его брат С. Муравьев-Апостол: «две народные песни, одна — относящаяся к состоянию крестьян, на голос: Скучно мне на чужой стороне, другая — возмутительная, на голос подблюдных, ...были присланы мне братом, получившим их в Петербурге. Наверное не знаю, чьего они сочинения, а слышал, кажется, что они сочинения Рылеева» (курсив мой. — К. П.) — В. Д., т. IV, стр. 289. Показания Рылеева и С. Муравьева-Апостола сходятся в одном: в том, что М. Муравьев получил от Рылеева тексты двух стихотворений, но под определение «возмутительной» песни «на голос подблюдных» «Гражданин» никак не подходит. Видимо, Рылеев сознательно пытался утаить от своих следователей существование написанной им (и, вероятно, врученной М. Муравьеву) песни «Кузнец». Учитывая занятую Рылеевым на следствии позицию отрицания своих царубийственных замыслов это умолчание о песне «Кузнец» понятно. Таким образом показания Рылеева не позволяют отказаться от традиционной датировки стихотворения «Гражданин» декабрем 1825 года.

<sup>270</sup> Показания Оболенского — В. Д., т. I, стр. 267.

<sup>271</sup> Ср. М. В. Довнар-Запольский, Мемуары декабристов, Киев, 1906, стр. 238.

<sup>272</sup> «14 декабря 1825 и император Николай», Лондон, 1858, стр. 197; «Записки Николая I о вступлении его на престол» — «Междоусарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи», М.—Л., 1926, стр. 21.

<sup>273</sup> Показания Трубедкого — В. Д., т. I, стр. 71; показания Пушина — В. Д., т. II, стр. 212.

<sup>274</sup> Н. Бестужев, стр. 85—86.

<sup>275</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. I, стр. 165.

<sup>276</sup> Показания Трубедкого — В. Д., т. I, стр. 38.

<sup>277</sup> Показания Пушина — В. Д., т. II, стр. 212; «Деятельный век», кн. I, стр. 325.

<sup>278</sup> Н. Бестужев, стр. 86.

<sup>279</sup> А. Е. Пресняков, 14 декабря 1825 года, стр. 109—110, Н. Лавров, Диктатор 14-го декабря — «Бунт декабристов», стр. 206.

<sup>280</sup> Розен, Записки декабриста, стр. 70.

<sup>281</sup> И. Д. Якушкин, Четырнадцатое декабря — «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», М., 1931, стр. 170.

<sup>282</sup> Показания Каховского — В. Д., т. I, стр. 339; Материалы очной ставки Каховского со Штейнгелем — В. Д., т. I, стр. 356.

<sup>283</sup> Показания Рылеева — В. Д., т. I, стр. 164, 188; М. В. Довнар-Запольский, Мемуары декабристов, стр. 176.

<sup>284</sup> Греч, Записки о моей жизни, стр. 454, 694; показания Каховского — В. Д., т. I, стр. 358; Б. П., стр. V—VII.

<sup>285</sup> В. Д., т. II, стр. 122—123.

<sup>286</sup> «Вестник Общества Ревнителей Истории», вып. I, П., 1914, стр. 53; «Междоусарствие 1825 года и восстание декабристов...», стр. 145.

<sup>287</sup> В. Д., т. I, стр. 152—153.

<sup>288</sup> «Междоусарствие 1825 года и восстание декабристов...», стр. 145.

<sup>289</sup> П. Е. Щеголев, Декабристы, М.—Л., 1926, стр. 200—201.



- <sup>200</sup> Н. К. Шильдер, Император Николай Первый, т. I, СПб., 1903, стр. 315; Д. И. Завалишин, Записки декабриста, стр. 146.
- <sup>201</sup> Факсимиле собственноручного предписания Николая I коменданту Петропавловской крепости Сукину см. в «Летописях Государственного Литературного музея», кн. III, Декабристы, М., 1938, между стр. 48 и 49.
- <sup>202</sup> В. Д., т. I, стр. 153—155; П. С. С., стр. 497—500.
- <sup>203</sup> П. С. С., стр. 500.
- <sup>204</sup> Там же, стр. 500—501, 816—817.
- <sup>205</sup> В. Д., т. I, стр. 155.
- <sup>206</sup> П. С. С., стр. 830.
- <sup>207</sup> П. С. С., стр. 517. Здесь письмо датировано: «около 21 июня 1826». Но первые строки письма явно свидетельствуют о том, что оно написано после голения и причастия. Поскольку сохранилось прошение Рылеева на имя председателя Следственной комиссии о допущении его к исповеди, датированное 4 апреля 1826 г., настоящее письмо к Николаю I правильнее также относить к первой половине апреля.
- <sup>208</sup> М. В. Довнар-Запольский, Мемуары декабристов, стр. IX.
- <sup>209</sup> В. Д., т. I, стр. 188—189.
- <sup>210</sup> Трубецкой, Записки, Лейпциг, 1874, стр. 66—67.
- <sup>211</sup> Письмо Н. М. Рылеевой к мужу от 18 мая 1826 г. — Рылеев, Сочинения и переписка, СПб., 1872, стр. 317—318.
- <sup>212</sup> Там же, стр. 318.
- <sup>213</sup> Н. Бестужев, стр. 87, 89.
- <sup>214</sup> «Деятнадцатый век», кн. I, стр. 326—328.
- <sup>215</sup> А. Цейтлин, К. Ф. Рылеев, к 150-летию со дня рождения. М., 1945, стр. 30.
- <sup>216</sup> Император Николай I и М. М. Сперанский в Верховном суде над декабристами — «Декабристы», М.—Л., 1926, стр. 284—286.
- <sup>217</sup> Н. К. Шильдер, Император Николай Первый, стр. 438, 543.
- <sup>218</sup> Там же.
- <sup>219</sup> П. С. С., стр. 515; «Русский Вестник», 1869, кн. 3, стр. 243.
- <sup>220</sup> Н. Бестужев, стр. 87; Трубецкой, Записки, стр. 68.
- <sup>221</sup> «Император Николай Первый», стр. 441.
- <sup>222</sup> «Декабристы, Тайные общества в России», М., 1906, стр. 78.
- <sup>223</sup> Там же, стр. 114—115. Письмо Николая I к императрице Марии Федоровне от 10 июля 1826 г. — «Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов...», стр. 207.
- <sup>224</sup> П. Е. Щеголев, Декабристы, стр. 227.
- <sup>225</sup> Розен. Записки декабриста, стр. 95.
- <sup>226</sup> «Декабристы, Тайные общества в России», стр. 107.
- <sup>227</sup> П. Е. Щеголев, Декабристы, стр. 290.
- <sup>228</sup> Н. Р. Цебриков, Воспоминания о Кронверкской куртине — «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. I, М., 1931, стр. 260.
- <sup>229</sup> П. С. С., стр. 518—519; там же, между стр. 516 и 517, факсимиле подлинника.
- <sup>230</sup> О последних минутах пребывания Рылеева в крепости см. Е. П. Оболенский, Воспоминания о Рылееве — «Деятнадцатый век», кн. I, стр. 329—332 (Ср. «Общественные движения в России в первую половину XIX в.», т. I, СПб., 1905, стр. 254—256); Розен, Записки декабриста, стр. 101.
- <sup>231</sup> Розен, Записки декабриста, стр. 99.

<sup>322</sup> Пушкин, Дневник (Запись под 6 марта 1833 г.); Щеголев, Декабристы, стр. 292.

<sup>323</sup> Н. Бестужев, стр. 87; В. Д., т. I, стр. 152.

<sup>324</sup> «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. I, стр. 255—277.

<sup>325</sup> Н. Бестужев, стр. 89; «Воспоминания Бестужевых», стр. 101.

<sup>326</sup> И. Д. Якушкин, Записки, М., 1905, стр. 111. Свидетельство протоиерея П. Н. Мысловского.

<sup>327</sup> «14 декабря 1825 и император Николай», Лондон, 1858, стр. 247; В. Д., т. I, стр. 185.

<sup>328</sup> Подробнее о рылеевской легенде см. в работе Августы Авербух «Образ Рылеева в легендарно-поэтической традиции» (Историко-литературные опыты, Труды кабинета русской литературы при Педагогическом факультете Иркутского государственного университета, под ред. проф. М. К. Азадовского, Иркутск, 1930).

<sup>329</sup> Памяти Герцена — «Сочинения», Изд. 3-е, т. XV, стр. 468—469.

<sup>330</sup> В. Д., т. I, стр. 457—458; Н. Бестужев, стр. 79; В. Д., т. II, стр. 71—72.

<sup>331</sup> В. И. Ленин, Роль сословий и классов в освободительном движении — «Сочинения», Изд. 3-е, т. XVI, стр. 575.

9 р. 25 к.

8

КВСТ. №	7522
№	2
Дата	21.12.50
Передано	

